

Annotation

Книга «Козленок в молоке» написана Юрием Поляковым и относится к жанру современной русской литературы. Главный герой — молодой человек, который влюблён и из-за этого уверен в своей всемогущности. Он решает сделать из случайного знакомого настоящего гения литературы, хотя тот ещё не написал ни одной строчки. В основе сюжета — пари героя, в котором он берет на себя задачу превратить человека в знаменитого писателя при условии, что никто, кроме них, не будет знать об этой истории.

В начале повествования главный герой сталкивается с проблемой того, как пробиться в литературной среде, где присутствует сильная внутренняя конкуренция и национальные предубеждения. Он знает, насколько сложно новичку продвигаться, особенно если он принадлежит к другой этнической группе. Эта ситуация становится одним из центральных конфликтов книги, так как главный герой понимает, что талант не всегда достаточно оценён.

Для реализации пари герой начинает работать с молодым человеком по имени Виктор, который пока не проявил себя как писатель. Процесс создания литературного произведения и продвижения этого человека по карьерной лестнице становится основным движущим событием. В ходе развития сюжета происходят различные события, связанные с творческими поисками, взаимодействием с литературной системой, а также сопротивлением со стороны тех, кто не хочет изменений или успеха «чужака».

Кроме внешних испытаний, герой сталкивается с внутренними трудностями: ему приходится принимать решения, связанные с этикой и честностью, так как ситуация требует умения лавировать между правдой и обманом. Необходимость быть осторожным и бдительным связана с тем, что в литературной сфере действуют различные недоброжелатели и люди, готовые пойти на хитрость, чтобы сохранить влияние и контроль.

Главный конфликт книги связан с борьбой между талантливым, но неизвестным автором и устоявшимися патриархальными и шовинистскими взглядами системы. По мере развития сюжета герой понимает, что добиться признания и успеха можно только через

постоянное преодоление препятствий и умение сотрудничать с разными людьми, включая тех, кто изначально настроен против.

В финале истории подчеркивается важность выбора между честностью и приспособленчеством, а также цена, которую приходится заплатить за попытку изменить устоявшийся порядок. Основной результат связан с пониманием того, что литературная карьера и творческое признание зависят не только от таланта, но и от способности вести борьбу с внешними и внутренними барьерами.

- [Козленок в молоке](#)

- [1. Пролог на небесах](#)
- [2. В начале было пиво](#)
- [3. Спор книгопродавца с поэтом](#)
- [4. Простодушный](#)
- [5. Покинутый мужчина](#)
- [6. В поисках утраченного Витька](#)
- [7. Огонь, вода и фаллопиевы трубы](#)
- [8. С кем вы, подмастерья культуры?](#)
- [9. Первый бал Витька Акашина](#)
- [10. Вранье без романа](#)
- [11](#)
- [12. За зипунами](#)
- [13. Как сделать верлибр](#)
- [14. Бабушка русской поэзии](#)
- [15. В круге восьмом](#)
- [16. В ожидании Витька](#)
- [17. Ночь поэзии](#)
- [18. Бостон – город хлебный](#)
- [19. Катастрофа в ночном эфире](#)
- [20](#)
- [21. Страх и трепет](#)
- [22](#)
- [23. Гости съезжались на дачу.](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26. Гроздья славы](#)
- [27. Униженный и отстраненный](#)

- [28. Конец литературы](#)
 - [29. Изнасилование надежды](#)
 - [30. Почему я отказался от премии](#)
 - [31. Эпилог на небесах](#)
 - [32](#)
 - [Найдена рукопись! \(Послесловие издателя\)](#)
 - [Как я варил «Козленка в молоке»](#)
-

Козленок в молоке

1. Пролог на небесах

1. Пролог на небесах

«Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, тяжело волокущий по воздуху свое мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке...» «Разнотравье» – плохо. В траве... Да, просто в траве! Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова. (Неплохо сказано! Надо бы запомнить.) Пошли дальше. «В иллюминаторе виднелась земля, такая крошечная, что, казалось, отсюда, сверху, можно одним плевком накрыть средний европейский город». Тоже ничего – образно. Но с физиологическим оттенком. Это меня всегда смущает. Попробуйте роденовский «Поцелуй» представить себе в виде интенсивного обмена двух организмов выделениями слюнных желез – стошнит!..

Стюардесса подкатила к моему креслу уставленную бутылками тележку и великодушно предложила на выбор: лимонад – даром, алкоголь – за валюту. От нее прямо-таки разило парфюмерией. Помимо этого, девушка тщательно демонстрировала свою вызубренную в школе стюардесс улыбку, которую, очевидно, перед сном она вынимает изо рта и кладет в стакан с водой, как пенсионер – вставную челюсть. Это тоже надо бы запомнить. Профессия литератора очень напоминает первобытное собирательство. Вырвал корешок, надкусил. Горько – сплюнул и выбросил, вкусно – сунул в торбочку и дальше побрел.

Вот о каких пустяках я думал, даже не подозревая, что он уже рядом и собирается меня убить или в лучшем случае изувечить...

Я взял сто «Смирновской» и порцию оливочек, фаршированных анчоусами, – на закуску. Долгое время я полагал, что анчоусы – это нечто вызывающе растительное, но оказалось – просто рыбки, наподобие килек. Я заплатил пять долларов, получив вместо сдачи все ту же вставную улыбку. Ерунда! Такие расходы я теперь мог себе позволить, потому что возвращался из Катаньи с гонораром, которого мне должно хватить на полгода скромной жизни.

Собственно говоря, эти полгода я собирался провести за письменным столом, чтобы наконец закончить повесть о партийном функционере, оказавшемся жутким вампиром и по ночам пробиравшемся в сектор учета своего райкома, чтобы, контактируя с фотографиями, наклеенными на учетные карточки, пить биоэнергию из ничего не подозревавших рядовых коммунистов. Улетая на Сицилию, я остановился на том, что, лакомясь одной привлекательной кандидаткой в члены КПСС, он – по фотографии – влюбился в нее без памяти и, чтобы познакомиться поближе, пришел ей персональное дело... Что случится дальше, я представлял себе очень смутно, а заканчивать вещь нужно срочно, иначе будет совсем поздно: все издательства просто завалены беллетризованными поношениями предшествующего режима, ибо это единственное, чем сегодня может прокормиться честный, но не упорствующий в своих принципах писатель. Время, когда можно было заработать на пионерских приветствиях, безвозвратно ушло, а написать нечто стоящее или, как я выражаюсь, «главненькое» мне не удалось и уже никогда, наверное, не удастся... Но жить-то надо!

Если же быть совсем откровенным, то повесть у меня застопорилась задолго до того, как я улетел на Сицилию, на этот дурацкий день рождения, вылившийся в конференцию по обмену опытом между отечественными и итальянскими мафиози. Ведь с повестью – как с женщиной: если ты, обнимая ее, думаешь о другой, разрыв – просто вопрос свободного времени. Сочиняя эту чепуху, я чувствовал себя мерзавцем, который изменяет своей невинной, как свежий гигиенический тампон, невесте с привокзальной цыганкой. И вот однажды, проснувшись утром, я почувствовал, что ненавижу все: сюжет, героев, пишущую машинку, себя... Я ненавижу эту мерзкую, задышливую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желаний для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное, базисное свинство бытия: осуществить мечту можно только за счет тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за жизнь. Замкнутый круг. И разорвать его невозможно. Почти... Тех, кому это удалось, можно сосчитать по пальцам. Костожогов, к примеру... Впрочем, пример неудачный: жизнь его в конце концов все-таки сожрала, схарчила, схрумкала. И не подавилась, скотина! Нет, мир стоит не на слонах, не

на китах и даже не на быках. Мир стоит на трех огромных свиньях, грязных, смердящих и прожорливых...

Единственный раз в жизни у меня был шанс разорвать этот проклятый круг, но я воспользовался им, как дуралей, который по счастливой случайности выпустил джинна из бутылки (именно из бутылки!), а на громовой призыв: «Спрашивай чего хочешь!» – спросил: «Который час?»

Итак, повесть о вампире застопорилась. Я целыми днями маялся на диване, пытаясь вдохновиться чтением разной там нобелевской и бейкеровской графомании, – начинаешь возмущаться: мол, они и писать-то не умеют, а им еще и премий понадавали! Это иногда помогает вернуться (в знак протеста) к письменному столу и, стуча по клавишам, мстить, мстить, мстить. Но на сей раз даже чтение тошнотворного Сартра не помогло. Иногда я вставал, подходил к пишущей машинке, постыдно износившейся от многолетней моей литературной халтуры, тыкал в какую-нибудь букву и испытывал отчетливое желание расколотить эту клавишную шмару о стену моего кабинета, служившего одновременно спальней, столовой и гостиной. Муки творческого бесплодия дополнялись еще и тем, что денег – а я держу их в прикроватной тумбочке – становилось все меньше и меньше. Я даже уже не заглядывал в тумбочку, а просто, приоткрыв дверцу, нашаривал рукой несколько бумажек и спускался в магазин, чтобы купить чего-нибудь пожрать, – чаще всего пельмени – их просто нужно высыпать в кипящую воду и не упустить момент, иначе они развариваются до лохматого бульона, в каковом, если верить науке, некогда и зародилась жизнь. Впрочем, сам я считаю, что жизнь – это всего-навсего экскремент Абсолютного Духа.

Наступил день, когда, пошарив рукой в тумбочке, я обнаружил там полное отсутствие надежд на очередную пачку пельменей. Тогда я подошел к столу, ткнул пальцем в клавишу и, не совладав с собой, метнул машинку в стену, оставив там самый глубокий след за все годы моего пребывания в этой квартире. Интересно, что удар пришелся точно в коричневое пятно на обоях, похожее по форме на Апеннинский полуостров с Сицилией и появившееся на стене давно, очень давно, еще до моего бегства в Семиюртинск. Удар пришелся, между прочим, как раз в то место, где, по всем географическим приметам, должен находиться город Катанья. Теряя металлические и пластмассовые

фрагменты, машинка рухнула на пол, и тут же по батарейным трубам донесся возмущенный стук нижнего соседа, парализованного старичка. У него действует только правая рука, и он энергично пользуется ею, чтобы выразить свое негодование, если в моей квартире раздается шум. Интересно, что, когда у меня бывала Ужасная Дама, кричавшая во время предварительных ласк так, словно ей без наркоза удаляли аппендикс, лукавый паралитик никогда не колотил по трубам отопления.

Таким вот образом я остался не только без денег, но и без средств производства. Конечно, эпиграммушечки можно было сочинять и без машинки, на память, но спрос на них после прокатившихся по Москве террористических разборок упал до нуля, и я снова оказался в такой же безвыходной ситуации, как после моего жалкого возвращения из Семиюртинска. Лежа на диване без жратвы и работы, я, как это и водится меж людьми интеллигентных профессий, начал предаваться суицидальным размышлениям, то есть воображал, как, не успев повиснуть в петле, буду вызволен оттуда почтальоном, который вдруг принесет мне солидный денежный перевод за мою давнюю «Историю шинного завода», ни с того ни с сего вдруг переизданную благородным, как Робин Гуд, «новым русским», насобиравшим у пьянчуг мешок ваучеров и приватизировавшим это дымное предприятие.

Иногда я выходил на балкон подышать воздухом и высматривал местечко на газоне, которое после падения с седьмого этажа гарантировало бы мне жизнь и возможность слабо махнуть рукой в сторону примчавшейся к месту трагедии съемочной группы «Экспресс-новостей». Но в конце концов я решил остановиться на пищевом спирте «Royal». От него, как писали в газетах, ежедневно в городе помирало несколько человек. Это было заманчиво: если из трех миллионов активно пьющих москвичей в день погибает всего несколько бедолаг, то я получал гораздо больше шансов выжить, нежели при падении с седьмого этажа даже в заранее облюбованное место. Но чтобы осуществить этот мягкосуицидальный план, нужно было купить бутылку спирта. А денег-то как раз не было!

И тут я вспомнил про акции АО ДДД! Я вложил в них почти все сбережения. Эту глупость я совершил после возвращения из теплоходного круиза Москва – Астрахань, устроенного горячим

поклонником моих эпиграммушечек – торговцем квартирами по кличке «Недвижимец». Он придумал замечательную вещь: находил одинокого нуждающегося пенсионера или пенсионерку, обещал солидное ежемесячное вспомоществование, а те в знак ответной признательности должны были завещать ему свою жилплощадь. В общем, ничего особенного, фантастически доходного, но бизнес тем не менее процветал, потому что благодетельствованные старички после заключения контракта помирали с какой-то несвойственной даже их преклонному возрасту расторопностью и квартиры поступали в полное распоряжение Недвижимца. Как ему удавалось регулировать смертность своих клиентов – загадка, но, думаю, дело связано с тем, что, помимо квартир, он еще приторговывал просроченными американскими пилюлями от головной боли, каковыми бесплатно снабжал своих пенсионеров. А как известно, самые головокружительные открытия происходят на стыке наук!

И вот однажды, почувствовав себя необратимо богатым, Недвижимец закупил целый теплоход, приглашал певцов, артистов, телезвезд. Меня же, грешного, выписали для того, чтобы в перерывах между эстрадными номерами я читал мои эпиграммушечки:

Налоги – несущественны, Политика – былье, Когда срываешь с женщины Французское белье!

Там, на теплоходе, я познакомился с одним хмырем, который умел имитировать голоса разных знаменитостей, но его взяли только для того, чтобы он говорил голосом Недвижимцевой тещи одну лишь фразу: «Дура я коломенская...» – что вызывало феерический восторг хозяина. Голосом тещи он овладел настолько, что Недвижимец начал на него даже по-родственному покрикивать, а потом и поколачивать. В результате парень не выдержал и сошел на берег в Нижнем Новгороде. Но перед тем как сбежать, он посоветовал мне вложить деньги в акции АО ДДД. «Деньги должны работать, а не мы...» – молвил он на прощание, прикрывая здоровенный чернильный синяк под глазом – награду за подражание. И я послушал этого идиота, чтоб ему всю оставшуюся жизнь подражать реву довоенного унитаза: АО ДДД оглушительно лопнуло, снова сделав меня нищим. Но об этом как-нибудь потом...

Когда я совсем уже отчаялся и стал поглядывать на многочисленных столичных нищих с полупрофессиональным

интересом, вдруг позвонил Недвижимец. У него были серьезные неприятности со здоровьем: с похмелья, по ошибке, он принял американскую пилюлю от головной боли, к счастью, только одну – это его и спасло. На радостях Недвижимец решил отметить свой день рождения на Сицилии, куда и звал меня, обещая хороший гонорар. Замирая от счастья, я выдержал паузу и тут же согласился.

В Катанье я практически ничего не делал, шатался по городу, пил дешевое итальянское винишко, купил себе на меркато, проще говоря, на толкучке, пиджак и несколько хороших рубашек. Выступить мне пришлось один только раз во время прощального обеда, накрытого персон на сто в роскошном загородном ресторане под старинным акведуком. Наши мафиози, слетевшиеся отовсюду, чтобы поздравить новорожденного, громко ржали над моими эпиграммушечками. Но итальянские коллеги только улыбались для приличия, хотя переводил им доктор филологических наук из МГУ, лучший знаток Габриэля Д'Аннунцио, специально привезенный по такому случаю. Причем за перевод дюжины эпиграммушечек, признался он, пьяно плача на моем плече, ему заплатили в несколько раз больше, чем за всего Д'Аннунцио, которого он, бедняга, переводил двадцать пять лет! Из итальянцев оценил мое творчество только директор библиотеки Катаньского университета. Он подошел ко мне и через жалобно всхлипывающего переводчика сообщил, что как раз готовит антологию современной российской поэзии и обязательно включит меня в нее, поставив между Евтушенко и Пушкиным. После такого заявления каждый итальянский мафиози счел своим долгом пожать мне руку, ибо директор библиотеки, как оказалось, и был крестным отцом. Растроганный таким признанием со стороны местной элиты, Недвижимец заплатил мне в полтора раза больше, чем обещал, и я обрадованно смекнул, что смогу купить еще и новую машинку, электрическую. Кроме того, мой расщедрившийся наниматель вручил мне обратный билет бизнес-класса, а сам остался еще на недельку, чтобы ознакомиться с тонкостями решения жилищного вопроса на Сицилии. Его гости разлетелись кто в Штаты, а кто на Канары. Переводчик Д'Аннунцио, протрезвев, устроился ложкомоем в тот самый ресторан под акведуком. Вот почему в Москву я возвращался, одиноко прихлебывая из пластмассового стаканчика «Смирновскую» и заедая ее оливочками, фаршированными анчоусами.

Я снова поглядел в иллюминатор и принялся старательно думать, с чем еще можно сравнить видневшуюся далеко внизу землю. Но безрезультатно... Наверное, я даже чуть-чуть вздремнул: в голове воцарилась нежная многозначительная невнятица. Очнулся я оттого, что кто-то грубо взял меня за плечо. Я открыл глаза и увидел его. В нацеленном на меня взгляде было столько ненависти, что ее вполне могло хватить на геноцид какого-нибудь малого народа...

– Здравствуй, сволочь! – произнес он. – Вот мы и встретились. Теперь тебе точно конец.

Он стоял около моего кресла и смотрел на меня так, как, наверное, мясник с ярко выраженными садистскими наклонностями смотрит на юного, еще ничего не знающего о бараньих отбивных ягненка. Он почти не изменился: у него было все то же усеянное веснушками круглое лицо, румянец во всю щеку, рыжие, завивающиеся на лбу колечками волосы и большие голубые глаза. Только смотрели они на меня не с прежней простодушной доверчивостью, а с холодной враждебностью. И одет он был тоже не как прежде: вместо экзотического, придуманного мной наряда гения, вышедшего из таежной деревни Щимыти, на нем красовался отличный двубортный костюм, переливающийся, как нефтяное пятно на воде. Хорош был и дорогой галстук цвета кинжального удара.

– Не узнал, что ли? – спросил он, скривив губы в беспощадной усмешке.

– Узнал, – прошептал я. – Чего ты хочешь?

– Хочу набить тебе морду!

– И только?

– Только для начала, потом я тебя просто убью!

– А за что?

– Ты меня об этом спрашиваешь?

– Тебя...

– Сам знаешь, котяра! Франкельштерн стоптанный!

Пассажиры заинтересованно посмотрели на нас.

– Франкенштейн, – автоматически поправил я.

– Хватит меня учить! Научил уже один раз... На весь мир чуть не опозорил!

– Я хотел как лучше! – Мне удалось придать своему голосу неправдоподобную искренность.

– А получилось как всегда! Не вари козла! Я для тебя всю жизнь был кроликом Павлова...

– Собакой... – снова поправил я и похолодел.

– Вот-вот – собакой! Я всегда это чувствовал! Пойдем выйдем! – Он схватил меня за шиворот.

Пассажиры уже перешептывались, вникая в драматургию назревающего мордобоя.

– Это самолет – тут нельзя драться... – возразил я.

– А кто тебе сказал, что мы будем драться? Я просто откручу тебе голову! Очень тихо... Пошли!

– Все равно нельзя: можно нарушить балансировку центрирующей оси крылоподъемной конструкции! – выпалил я первую пришедшую в голову чепуховину.

– Не глупее некоторых. Сам знаю. Я тебя в аэропорту приблю. Готовься!

И тут в воздухе снова запахло парфюмерией. Я давно заметил: насколько мужчины, носящие униформу, привержены к крепким напиткам, настолько женщины, находящиеся при исполнении, склонны к крепким духам. (Хорошее наблюдение. Запомнить!)

– Освободите проход! – потребовала стюардесса, подкрепляя свои слова суровой вставной улыбкой. – Сейчас вам будет предложена горячая пицца.

– Что ж, я с человеком поговорить не имею права? – спросил он, предусмотрительно отпустив мой ворот и даже по-приятельски взъерошив мне волосы на затылке. – Я, может, старого друга встретил. Восемь лет не виделись! Я, может, его обнять хочу!

– Люди поедят – тогда обобнимайтесь! – отрезала бортпроводница.

Он посмотрел на меня с многообещающей ненавистью, повернулся, и его широченная спина двинулась по салону самолета, точно поршень. Перед тем как скрыться за занавеской, отделявшей бизнес-класс от экономического, он обернулся и показал мне огромный кулак, суливший, по меньшей мере, обильное кровотечение и множественные переломы. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. За все приходится платить. Рано или поздно придуманная и выпущенная в мир тварь задушит своего

Франкенштейна, а Галатея наставит Пигмалиону рога. Собственно, с этих чертовых маральных рогов все и началось...

Стюардесса вынула из металлического ящика на колесиках пластмассовый поднос с сиротской аэрофлотовской снедью и поставила передо мной на откидной столик:

– Приятного аппетита! Пива не желаете?

– Что? Нет... Нет-нет! – вздрогнул я всем телом.

2. В начале было пиво

2. В начале было пиво

Нет, не с маральих рогов – все началось с пива! Я очень хорошо помню тот день. Год тоже легко вспомнить: шли первые месяцы горбачевской перестройки, когда слов было уже много, а пива еще мало, и если в писательский клуб завозили свежее «Жигулевское», то за столиками делалось шумно и свободомысленно. Да и время наступило замечательное: нашему доверчивому народу уже дали в ручонку погремушку гласности, но пока еще не отняли от материнской груди социализма. Впрочем, нет! Началось это чуть раньше, как раз накануне гласности. Ну конечно, как можно перепутать? Ведь и гласность хренова началась именно с этой истории, с моей давней непростительной глупости.

Дело было так. Стас Жгутович, Арнольд и я сидели в Дубовом зале Дома литераторов и пили пиво с раками, которые в ту пору, если говорить о Москве, водились только здесь да еще иногда в Доме журналистов. Арнольд все время порывался выставить на стол бутылку настойки из маральих рогов. Ибо она, как, смеясь в бороду, объяснял он, – лучшее средство от рогов супружеских.

И вообще у них в Сибири такую настойку зовут «амораловкой» – за ее неодолимо возбуждающее действие. А недавно, например, пробную партию «амораловки» закупили совсем уж почти невозмутимые финны и просто с ума посходили. Арнольд, почуяв выгоду, начал хлопотать об организации производственного кооператива – их как раз только-только разрешили постановлением ЦК КПСС.

– Взъерошимся, мужики! – предложил Арнольд, заманчиво подмигивая.

Но мы, сосредоточившись на пиве, разрешили ему выставить только литровую банку соленых рыжиков, которые идут с «Жигулевским» еще лучше раков. Деморализовав нас рыжиками, он наконец сделал то, от чего мы удерживали его весь вечер: начал нам рассказывать сюжет своего нового романа. Подробностей я, конечно, уже не помню, но суть такова: один таежный охотник по имени

Альберт выслеживает и убивает самку рыси, чтобы сшить шапку любимой женщине. И тут-то начинается самое главное. Лишившись подруги, самец принимается мстить за свое порушенное звериное счастье и преследует охотника аж до самого Красноярска, где и загрызает его насмерть возле мехового ателье, куда Альберт пришел, чтобы получить уже готовую шапку. Мстительного самца отстреливает случившийся поблизости милиционер. Он вместе с шапкой приносит страшное известие любимой погибшего промысловика. И остаются на свете две одинокие, лишившиеся своих мужчин самки – одна в виде женщины, другая в виде шапки...

– Ну как? – спросил Арнольд, заранее скромно потупив глаза.

– Говно! – выпалил я, чтобы опередить какую-нибудь чудовищную бестактность со стороны Жгутовича и не слишком огорчить самолюбивого провинциального автора.

– За что ж вы здесь, в Москве, так Сибирь не любите? – задумчиво поинтересовался Арнольд.

– Ты Мелвилла хоть читал? – тяжелым от пива голосом спросил Стас.

– Не довелось.

– Когда доведется, обрати внимание: у него там кит за мужиками гоняется... «Моби Дик».

– Так то ж кит!

– А у Распутина медведь тоже одного мужика выслеживает, – добавил я.

– Так то ж медведь, – не сдавался Арнольд, – у меня-то – рысь! А про шапку у них там есть?

– Про шапку у них там нет, – покачал головой Жгутович, – но на аллюзиях далеко не уедешь!

Арнольд затих, видимо, прикидывая, далеко ли можно уехать на аллюзиях, а главное, соображая, что это такое – аллюзия. Спорить со Стасом он даже и не пытался, потому что Жгутович был человеком угнетающе начитанным, да и работал в букинистическом магазине «Книжная находка», что на Лубянке, рядом с памятником первопечатнику Ивану Федорову. Стаса знала вся литературная Москва, так как он помогал писателям в обстановке жестокого книжного дефицита доставать редкие и идеологически неоднозначные издания. Он бы мог озолотиться на этом деле, но у него была одна

пагубная и неизлечимая болезнь. По сравнению с ней наследственный алкоголизм с запоями и галлюцинациями – всего лишь легкое недомогание. Он писал стихи. Отвратительные, как утренний остаток макияжа на лице нелюбимой женщины. По этой печальной, но уважительной причине книги писателям он доставал задаром, рассчитывая, что они в знак ответной признательности порекомендуют его произведения в какой-нибудь популярный журнал. Однако чаще всего, получив искомую книгу, вероломный писатель в ответ на просьбу «поддержать» начинал морщить лоб и, полистав Стасовы стихи, бормотал что-то про пока не обретенный еще автором консенсус между экзистенцией и поэтическим инобытием логоса... В переводе на обычный язык это означало следующее: хоть ты, Стасик, и хороший парень, но твое плохо прорифмованное дерьмо порекомендовать куда-нибудь очень сложно, разве что ты достанешь мне собрание сочинений Арцыбашева. А когда, достав наконец Арцыбашева, да еще комплект романов Ренье в придачу, Жгутович заводил речь о том, что стихов у него набралось уже на три сборника, а поэт без книги – как Париж без Сены, ему начинали бормотать что-то о судьбе как формообразующем факторе творчества...

Так бы Стас и мучился до пенсии, но однажды случилось невероятное: какой-то бомжеватого вида мужичок приволок в магазин здоровенный том «Масонской энциклопедии», изданной перед самой революцией. Это была немыслимая удача, ну, как если б сегодня кто-нибудь нетрезвый притащил вам мешок платиносодержащих радиодеталей и попросил за это пятьдесят долларов. Мужик опасливо запросил пятьдесят рублей. Стас великодушно заплатил за «Масонскую энциклопедию» червонец из собственного кармана, и доходяга был счастлив, ибо пребывал в том специфическом состоянии, когда за стакан портвейна можно продать себя на галеры. Конечно, Жгутович сразу понял, что наступил его звездный час и что теперь или никогда он станет наконец автором книги стихов, без которой поэт – как Лондон без Темзы. Слух о «Масонской энциклопедии» разнесся по литературной Москве с эпидемической скоростью. К магазину возле памятника Ивану Федорову потянулись, как волхвы к Христу-младенцу, писатели: всем хотелось завладеть уникальной энциклопедией и проникнуть в тайну великого закулисья, в тайну, по сравнению с которой марксизм – детская сказка про Шалтая-Болтая.

Но их ожидало суровое встречное предложение: Стас, как вы уже, наверное, догадались, решительно требовал в качестве вознаграждения издать его собственную книжку и не торопился расставаться с «Масонской энциклопедией», дожидаясь надежного соискателя, безотказного, как автомат Калашникова. Ошибиться Жгутувич не имел права. Это теперь, когда хрупкий скелет нации хрустнул в объятиях капитализма, ты можешь прийти, заплатить, и твоя книга, состоящая, допустим, из альковных прозвищ, какими одаривали тебя женщины, будет мгновенно издана. Но тогда... Тогда на каждого, кто приходил в издательство с рукописью, смотрели так, точно это был маньяк, сбжавший из психушки вместе со своей историей болезни, каковую теперь и просит опубликовать, да еще собирается получить за это гонорар.

А чтобы до конца стало ясно, сквозь какие тернии приходилось продирается стихотворной строке на пути от первой гримасы вдохновения на лице поэта до пахнущего свежей типографской краской сигнального экземпляра, я должен рассказать, как была издана моя первая и единственная книжка. Случилось это только благодаря тому, что, разведясь в один прекрасный день с женой и разменяв нашу общую жилплощадь, я стал обладателем однокомнатной квартирki на улице Командарма Тятиня (ныне 2-я Вздьбленская) в панельном доме, построенном в семидесятые годы. Эти облупившиеся белые многоэтажки в центре Москвы напоминают мне сломанные холодильники, завезенные дачниками в лес и там брошенные... (Неплохо. Запомнить!)

Почему я развелся с женой, вопрос неясный, пожалуй, даже более неясный, чем вопрос, почему я на ней женился. Она была миловидной, пухленькой дамой, неплохо готовила, изъяснялась на литературные темы и изнурялась аэробикой. По вечерам мы лежали в постели и, прежде чем заняться любовью, читали: я – стихи какого-нибудь просочившегося на журнальные страницы мерзавца, она – «Здоровье». Сигналом к переходу от чтения к уныло-вазелиновому интиму обыкновенно служило нажатие кнопки ночника. Заметив, что моя рука потянулась к выключателю, она поворачивала ко мне свое густо смазанное ночным кремом лицо и говорила: «Подожди, милый, я дочитаю страницу!..» По утрам жена ходила на стадион (он был виден из нашего окна) и для поддержания фигуры делала несколько кругов

по гаревой дорожке. И вот однажды, прихлебывая кофе и наблюдая через стекло, как она движется по терракотовому ободку зеленого поля, я неожиданно подумал о ней как об искусственном спутнике, который может в любой момент сорваться со своей орбиты и навсегда исчезнуть в вечной космической мерзлоте.

Через два месяца мы развелись. К этому времени я еще не опубликовал ни одного своего стихотворения и на жизнь зарабатывал тем, что, во-первых, служил корреспондентом в многотиражке «За образцовый рейс» 4-го автокомбината, а во-вторых, тем, что писал стихотворные пионерские приветствия и юбилейные истории фабрик и заводов. По сему поводу, уже собирая мои вещи, жена заметила, что это чисто русская традиция: нестреляющая Царь-пушка, незвонящий Царь-колокол и непечатающиеся поэты...

Получив после размена в полное свое распоряжение однокомнатную квартиру, я поначалу и не сообразил, что таким образом обеспечил себе литературное будущее. Я просто наслаждался полузабытым счастьем безотчетного одиночества. Девушки у меня, конечно, бывали, но не так уж часто, ибо свобода настраивает мужчину на философский лад и делает гурманом. Измена в браке – это нечто профилактическое. Если б адюльтер входил в ежеквартальную медицинскую диспансеризацию, думаю, большинство мужей бросили бы заниматься этой чепухой...

Жизнь моя изменилась внезапно. Однажды я притащил к себе домой критика Закусонского. Притащил в буквальном смысле слова, ибо в этот день он получил авансы за положительную рецензию, а также за два упоминания в обзорной статье – и поэтому был просто не в состоянии добраться до дома. Пробудившись утром, Закусонский обполз мою квартиру оловянным взглядом и полувопросительно простонал, так как на полноценный вопрос сил не было:

– Где я?

– У меня.

– А разве ты один живешь? – удивился он.

Мне показалось, что это эмоциональное усилие будет стоить ему жизни, и я достал из холодильника бутылку пива.

– Теперь вот один...

– Невероятно! – задохнулся он то ли от изумления, то ли от спасительного глотка.

– Что – невероятно?

– Ты живешь один и еще ни разу нигде не печатался?

– Ни разу.

– Невероятно...

Через несколько дней ко мне подошел толстенный поэт, работавший в молодежном журнале.

– Ну ты не прав! – укорил он меня, хлопая по плечу, хотя до этого никогда со мной даже не здоровался. – Неси срочно! Штук пять. Одно – за Советскую власть. Остальные можешь за...

И он ввернул расхожее матерное словцо, обозначающее примерно то же, что в его собственных стихах, неплохих, кстати говоря, обозначало словосочетание «мохнатая роза любви». Несколько дней я мучительно составлял подборку, а потом, специально купив для машинки свежую ленту, тщательно перепечатывал стихи, комкая и бросая в корзину листы, даже если в них была одна-единственная опечатка... Он принял меня в своем заваленном рукописями кабинете, взял мою подборку и не глядя сунул в братскую усыпальницу пыльных манускриптов.

– Жди! – сказал он.

Ждать пришлось недолго. Вскоре он заявился ко мне с длинноногой юной поэтессой, годившейся ему в дочери. Стоя рядом, они напоминали персонажей сказки «Пузырь и соломинка». Мы выпили, поговорили немного о поэзии, а потом он стал, по-рачьи вращая глазами, показывать мне на дверь моей собственной квартиры. На всякий случай я оставил на кухонном столе склянку сердечных капель и ушел в ночь, каковую и провел на лавочке зала ожидания Ярославского вокзала. Воротившись утром, я нашел валокордин нетронутым, зато из холодильника бесследно исчезли килограмм вареной колбасы и фрукты. С тех пор он стал появляться у меня довольно часто, и благодаря этому я в сжатые сроки достаточно близко смог познакомиться с цветом молодой женской поэзии. Должен заметить, среди всех этих девиц были не только длинноногие, но также и литературно небезнадежные особы. Некоторые из них по протоптанной дорожке потом не раз заглядывали ко мне и без него, объясняя, что после этого пузыря им хочется чего-то мужского – как по форме, так и по содержанию.

Мои стихи он напечатал ровно через год, а критик Закусонский, тоже однажды затащивший ко мне какую-то очкастую грымзу в спущенных чулках, тиснул в «Литературном еженедельнике» теплую рецензию под названием «И половодье чувств...». К тому времени ко мне уже захаживали несколько сотрудников толстых журналов, заместитель заведующего отделом центральной газеты, три радиокорреспондента и звукооператор с телевидения. Пришлось составить жесткий график, передружиться со всеми бомжами и постовыми милиционерами Ярославского вокзала, но зато мои стихи периодически появлялись в печати, звучали по радио, а однажды я даже возник на телеэкране в передаче «Рабочий полдень», где среди станков читал свои произведения рабочим завода «Электролит», тосковавшим об испорченном обеденном перерыве.

Наконец случилось то, что должно было случиться: мне позвонил важный человек из солидного издательства и сказал довольно хмуро, что хотел бы посмотреть рукопись моих стихотворений и если она удовлетворяет тем высоким требованиям, которые предъявляет издательство к своим авторам, то, вероятно, можно будет попытаться подумать о перспективе издания книги. Замирая от счастья, я спросил, когда можно привезти рукопись. «Я сам приеду», – был ответ.

Он приехал в тот же вечер в сопровождении трех совершенно пьяных девиц легкого поведения, которые начали раздевать его, даже не дождавшись моего ухода. Увидев, как я заторопился к двери, он дружески махнул мне волосатой рукой и великодушно пригласил: «Вали к нам до кучи!» Но я, забормотав что-то про внезапно заболевшую бабушку, отклонил приглашение, ибо барахтаться гольшом в куча-мала с незнакомыми девицами и пузатым полупознакомым дядей – это никакой не групповой секс, а самый настоящий разврат!

С появившейся перспективой издания книги график посещения моей несчастной квартиры стал настолько жестким, что мне иной раз приходилось снимать койку у старушки в доме напротив, потому что спать на вокзальных лавках жестко, и к тому же я стал простужаться от сквозняков. Кроме этого, вышло постановление о борьбе с бомжами и прогульщиками. И в результате меня однажды забрали в милицию, но отпустили после того, как я объяснил начальнику отделения, что являюсь поэтом, а в доказательство спел песню на стихи Есенина. Я

даже не мог пригласить к себе домой Анку, и, чтобы совпасть в желаниях, приходилось тащиться к ней на дачу в Перепискино.

Но вот вышла моя книжка. Я вдохнул свежий запах типографской краски. Прочитал ее от начала до конца сперва очень быстро, а потом еще раз, очень медленно, и понял, что стихи мои не то чтобы плохи, нет, они даже по-своему хороши, однако устраивать из квартиры общегородской бордель, снимать койку у старушки только ради того, чтобы увидеть их набранными и сброшюрованными в тонкую книжицу, не стоит. Конечно, искусство всегда требует жертв, но только гении и кретины приносят ему человеческие жертвы. (Неприменно запомнить!) Не будучи первым и не желая стать вторым, я объявил всем посетителям, что лавочка закрывается, и перевез пожитки от старушки назад в свою квартиру, которая за два года настолько пропахла потом сладострастия и прочими сопутствующими ароматами, что срочно пришлось делать ремонт. На это ушел почти весь гонорар за книжку.

Кстати, мне всегда казалось, что, если у меня выйдет книжка, моя жизнь совершенно изменится – я даже по улицам начну ходить по-другому, а прохожие станут смотреть на меня совсем иначе... Ничего подобного. Никто даже не заметил. И только критик Закусонский, встретив меня в ЦДЛ и радостно боднув головой в плечо, поздравил с выходом сборника, но заломил за рецензию такую несусветную цену, что я, потратившись перед этим на ремонт, вынужден был отказаться.

Еще вдруг позвонил Костожогов. Я как раз лежал под одеялом и с нетерпением ждал, когда Анка выйдет из ванной.

– Поздравляю! – сказал Костожогов.

– Вам понравилось? – встрепенулся я.

– Вы – человек способный. Я вам уже это говорил. Но ведь первая книга – это всего лишь повод подумать, стоит ли писать дальше.

– Спасибо, я подумаю...

В это время из ванной вышла Анка. Она всегда превращала свой выход в маленькое эротическое представление, а в тот день изображала как будто бы японку и, плотно обернувшись большим полотенцем, шла ко мне, по-восточному семеня ножками. На середине комнаты тяжелое махровое «кимono» вдруг распалось и обрушилось на пол...

– Нет, в самом деле, в книге есть несколько вполне профессиональных стихотворений, – продолжал Костожогов, – но профессионализм в литературе – то же самое, что хорошее пищеварение. Весь вопрос – для чего! Помните, я говорил вам о трех путях? Похоже, вы об этом даже не думали. О выборе вы еще и не размышляли...

– Простите, что вы сказали? – переспросил я.

Анка уже забралась под одеяло и отвлекала меня от разговора самым изощренным образом.

– Вы заняты? – смутился Костожогов.

– Чуть-чуть, – ответил я, изнывая. – Я вам перезвоню...

– Мне некуда перезванивать. Лучше приезжайте ко мне как-нибудь в Цаплино. Поговорим. Почтаете стихи моим ученикам. Дети – замечательные критики! Адрес вы мой не потеряли?

– Нет, – соврал я.

– Приезжайте! Буду ждать.

И Костожогов повесил трубку. А Анка вдруг выбралась из-под одеяла и стала молча одеваться.

– Ты куда?

– Надоело, – ответила она.

Но я ее умолил – и Анка осталась. Окончательно мы поссорились месяца через два.

Больше по поводу книжки мне никто не звонил, хотя телефон не умолкал: мои благодетели, оставшись без квартиры, требовали, убеждали, даже угрожали... Они просили меня принести стихи, уверяя, будто без них взыскательный советский читатель просто не находит себе места, а литературный процесс неумолимо оскудевает, но я вежливо отнекивался, ссылаясь на глубокий творческий кризис и на не очень удачные попытки перейти со стихов на прозу. Причины были уважительные, и несколько дней мой телефон молчал. Но потом на меня вышел заведующий отделом прозы толстого журнала и решительно объявил, что не успокоится, пока не получит от меня повесть или в крайнем случае рассказ! Тогда я позвонил на АТС и попросил отключить на время мой телефон.

– Не положено! – ответили мне. – Вот если б вы не оплатили межгород – тогда другое дело.

– Девушка, я вас прошу!

– И не просите!

– А вам кто-нибудь говорил, что у вас голос, как у Софи Лорен?

– Не-ет! – потеплел голос.

Вообще-то я слукавил: тембр у нее был не как у Софи Лорен, а как у нашей отечественной актрисы, всегда дублирующей эту кинозвезду. Но телефон она, подбрав, отключила. Тогда издатели, страстно желая меня опубликовать, стали звонить в дверь, даже присылали телеграммы, но в конце концов все-таки успокоились, а следом за ними потерял ко мне интерес и взыскательный советский читатель. Но пора вернуться в ресторан Дома литераторов к пиву и рыжикам...

3. Спор книгопродавца с поэтом

3. Спор книгопродавца с поэтом

Мы тихо допивали пиво и доедали рыжики. Официантка уже четыре раза уносила с нашего стола пустые бутылки. Дело шло к вечеру. Зал ресторана постепенно наполнялся. Пришел и в ожидании клиентов, как часовщик-починщик, занял свое место в уголке критик Закусонский. Если прежде, увидев меня, он вскакивал, подбегал, обвивался руками вокруг моей шеи и, ласково боднув лбом в плечо, говорил: «Ну, здорово, старый!» – то теперь лишь приветствовал усталым полузакрытием глаз.

Следом возник поэт Одуев. Сегодня он был не со своей обычной подружкой-телевизионщицей Стеллой, а с какой-то длинноногой малолеткой. Пристально оглядев зал и дружески кивнув мне, он заказал ей мороженое и стал читать, громко завывая, стихи, а она смотрела на него с тем слепым обожанием, с которым смотрела бы, наверное, меломанка на свинью, запевшую голосом Паваротти.

В окружении стайки западных журналистов явился поужинать прозаик Чурменяев, автор знаменитого романа «Женщина в кресле», где описывается, как некая дама, раскоряченная в гинекологическом кресле, пытается найти в себе Бога. Этот роман он сочинил лет десять назад, будучи еще сущим юношей. Замысел, как сам автор рассказывал в одном из интервью (я слышал по радио «Свобода»), пришел ему в голову, когда он вдруг вообразил себе Настасью Филипповну на приеме у гинеколога. Закончив роман, Чурменяев тут же с оказией отправил его в нью-йоркское издательство. Среди интеллектуальной части золотой молодежи это называлось тогда «рискнуть отцовским партбилетом». Отец его был крупным руководителем среднего звена и к тому же сыном классика детской литературы. Однако ничего не случилось: благополучно миновав бдительную таможду, сначала в одну, а потом и в обратную сторону, рукопись воротилась назад с кисло-сладкими замечаниями по поводу несомненного таланта автора и еще более несомненной ненужности этого произведения взыскательному американскому читателю. Чурменяев озлился, но не отчаялся: пользуясь любой тайной оказией, он рассылал рукопись

романа в разные страны, но с тем же результатом. Так продолжалось несколько лет. И вот как-то раз один тертый диссидент по фамилии Пыльношлемов, общеизвестный несколькими грамотно организованными скандалами, посоветовал Чурменяеву вложить в папку с рукописью сотню-другую незадекларированных долларов. Это помогло: первый же таможенник зеленые, конечно, конфисковал, а с ними и рукопись. Автора срочно вызвали в Союз писателей, мгновенно выдали ему писательский билет (обычно этот процесс занимает у молодого литератора от пяти до двадцати лет жизни), а через неделю Чурменяева с треском исключили из Союза писателей в назидание всем прочим, предпочитающим западных книгоиздателей отечественным. Заодно сняли с должности и Чурменяева-старшего, дабы руководители среднего звена серьезнее относились к воспитанию подрастающего в их спецквартирах молодого поколения...

Так Чурменяев-младший однажды проснулся знаменитым и упоительно гонимым. Полосы западных газет пестрели заголовками: «Опять – 1937!», «Новая жертва Бабьего Яра?», «Чурменяев против КГБ»... Все издательства, которые когда-то отклонили роман «Женщина в кресле», тут же завалили автора телеграммами с предложениями самых выгодных контрактов. Его книга вышла почти одновременно в двадцати семи странах, а обозреватель влиятельнейшего американского еженедельника «Book magazine» назвал свою рецензию «Чурменяев – Достоевский сегодня». Зацеписто, конечно, но других русских писателей он просто не знал. В КГБ сформировали специальную оперативную группу под кодовым названием «Гинеколог» исключительно для контроля за писателем Чурменяевым. Во главе группы поставили генерал-лейтенанта, знавшего папашу проштрафившегося литератора по совместной охоте.

С тех пор автор знаменитого романа всюду появлялся в окружении западных журналистов, а на почтительном расстоянии от них следовали сотрудники КГБ из «наружки». Генерал-лейтенант и Чурменяев-старший продолжали ездить вместе на охоту и по ночам у костра, наевшись медвежьего шашлыка, обсуждали, как ловчее вернуть блудного сына в лоно советской литературы. Когда благодаря мне началась гласность и слежку за Чурменяевым прекратили, к нему подошел человек в штатском и, представившись заместителем начальника оперативной группы, смущенно попросил для личного

состава надписать несколько экземпляров романа, только-только переизданного «Посевом». Но не буду забегать вперед...

Итак, мы допили пиво, и я предложил заказать еще несколько бутылок, но денег у нас со Стасом больше не было.

– М-да... – сказал Арнольд, выгребая из карманов последнюю мелочь. – Сволочи вы тут в Москве-то!

– Почему сволочи? – вяло полюбопытствовал я.

– Все соки из России выпили...

– А что ж, Москва не Россия, по-твоему? – заступился за столицу Стас.

– Нет, не Россия. Москва – желвак на здоровом теле нации, – отозвался Арнольд, тяжело вздохнув.

Он уже несколько раз пробовал перебраться в столицу, печатал объявления в разделе «Междугородный обмен», даже фиктивно женился, но девица деньги-то взяла, а потом выяснилось, что она и сама лимитчица, прописанная в городе Орле. Пришлось разводиться...

– Москва – джунгли, – продолжал Арнольд, – другое дело – тайга! Я, мужики, когда белке в глаз попадаю, ощущаю то же самое, если рифму хорошую нахожу...

Мы со Стасом деликатно переглянулись: Арнольд работал корреспондентом в газете «Красноярский зверовод» и белок, судя по всему, видел только в клетках.

– А бывалоча, – не унимался Арнольд, – сидишь у костерка, полешки-то потрескивают, искорки в небо сигают, а на душе так хорошо, так стихоносно... И строчки даже не сочиняются, а всплывают из сердца, как жуки-плавунцы из придонной травки. Я хоть и прозу пишу, а вот тоже недавно сочинил. Сейчас... обождите... Ага...

Арнольд профессионально помертвел лицом, вспоминая строчки. Стас и я снова переглянулись и безмолвно договорились не повторять той ошибки, которую давеча допустили с сюжетом Арнольдова романа. Если поэт, неважно – столичный или провинциальный, прочтет за столом хотя бы одну свою строчку, он уже не остановится, пока не вывалит вам на голову весь накопившийся в его душе стихотворный мусор. Такие поползновения нужно давить в зародыше.

– Ага, вот-вот... – Лицо Арнольда начало угрожающе оживать.

– А вот я, – Стас резко перехватил инициативу, – когда гляжу на пыльные ряды книг в магазине, чувствую себя мальчишкой, вознамерившимся ублажить ненасытное лоно Астарты...

– Кого? – огорченно переспросил Арнольд, еще надеясь, что почитать ему все-таки дадут.

– Та-ак, баба одна... – пояснил высокомерный Стас. – Нам страшно не повезло: мы живем в эпоху перенасыщенного культурного раствора. Тут недавно ко мне в магазин Любин-Любченко заходил – рассказывал. Это его теория. Чтоб ты, Арнольд, понял, получается эдакая двойная уха!

– Как не понять! – закивал Арнольд.

– Мы с вами жертвы набитых книжных полок, – вздохнул Жгутович, видимо вспомнив о своем не изданном до сих пор сборнике.

– Жертвы, – согласился Арнольд. – У меня об этом в романе тоже есть...

– Я даже не представляю, – не уступал Стас, – что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!

– Я вот недавно написал! – не унимался и Арнольд.

– Ничего писать не надо, – подыграл я Жгутовичу. – Текст не имеет никакого значения.

– Абсолютно никакого, – согласился Арнольд. – Я вам сейчас об этом рассказ прочитаю!

– Что значит – не имеет значения? – не понял Стас.

– А то и значит: можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать... – развил я эту внезапно пришедшую мне в голову мысль.

– Цитировать? – переспросил Стас.

– Да, цитировать! – не отступал я, ибо пиво в больших количествах делает человека удивительно упрямым.

– Нонсенс!

– Чего? – не понял Арнольд.

– Вы, конечно, можете меня спросить, – все более воодушевляясь, продолжал я, – почему у классиков все-таки есть тексты? Отвечаю: потому, что они были в плену профессиональных условностей: портной должен шить, столяр – строгать, писатель – писать! Допустим, ты не читал Шекспира, а это, в сущности, равносильно тому, как если б он ничего не написал. Но ведь Шекспир все равно гений!

– Все равно, – согласился Арнольд.

– Софистика! – ухмыльнулся Стас.

– Чего? – не понял Арнольд.

– Нет, не софистика, – настырно возразил я. – Софистика – обман ума, рассыпающийся при первом столкновении с действительностью. А я могу доказать свои слова на практике. Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя!

– Нонсенс! – замахал руками Стас.

– Чего? – снова переспросил Арнольд.

– Фигня! – уточнил Жгутович.

– Ах, фигня! – возмутился я, и кровь с пивом бросились мне в голову. – Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!

Несмотря на решительную интонацию, все это было сказано мной, конечно же, в риторическом порыве и с оттенком явного алкогольного романтизма. Но Стас рассудил иначе.

– На что спорим? – деловито усмехаясь, спросил он.

– В каком смысле? – не понял я.

– В прямом. Ты предлагаешь спорить? Я готов. На что спорим? Или ты испугался?

– На что угодно! – ответил я, заводясь.

– И этот твой дебил не напишет ни строчки? – издевательски уточнил Жгутович.

– Он вообще может быть неграмотным! – небрежно бросил я.

– Нонсенс! – сказал Арнольд.

– Хорошо. Если ты проиграешь, а это неизбежно, то я буду по первому звонку в любое время пользоваться твоей квартирой! Идет? – оживился Жгутович.

Тут я должен снова сделать пояснительное отступление. Дело в том, что Стас по натуре бабник-тихушник, а книжная пыль к тому же, как я где-то прочел, чрезвычайно стимулирует женолюбие. В Италии, например, ослабшим мужчинам врачи даже рекомендуют чаще бывать в библиотеке. Однако Стасу очень не повезло с женой: она у него из кубанских казачек – ревнива до умоисступления и не только лазает по карманам, но еще ежевечерне тщательнейше осматривает его одежду в

поисках приставших дамских волос и даже обнюхивает на предмет внебрачных запахов. Однажды она до полусмерти отходила Стаса чугунной сковородкой за то, что от его майки тянуло «Диором». И только потом, отходив и немного отойдя, вспомнила, как сама же и побрызгалась этими духами, когда заезжала к подружке за выкройками. Кроме всего, жена звонит ему на работу через каждый час – проверяет, а в девятнадцать ноль-ноль неукоснительно встречает его на пороге магазина с полными сумками продуктов, каковые он и тащит на себе домой – в Теплый Стан.

Ясное дело, Стас не мог себе позволить даже самые невинные мужские удовольствия, а в тот памятный вечер он оказался в ресторане нашего клуба только потому, что после обеда должен был ехать на курсы повышения квалификации продавцов-букинистов, но занятия отменили из-за болезни лектора, о чем, естественно, он жену в известность не поставил. Но такие подарки судьба подкидывала ему нечасто. Сам он свою жизнь называл добродетелью строгого режима. А ведь в нем, как в каждом мужчине, тоже кипели страсти: он влюблялся в своих постоянных покупательниц, ужасно страдал от бесперспективности, и постепенно на его лице установилось выражение застоявшейся невостребованности, которое часто путают с признаком пытливого ума. Свое сексуальное неудовлетворение Стас сублимировал в творчество, но за мелькнувший в его стихах «ласкающий пепельный локон», абсолютно вымышленный, он был жестоко избит кофеваркой. От более лютой расправы Стаса спасло то, что его жена лет десять назад, сдуру, покрасилась в какой-то пепельно-пегий цвет, о чем и вспомнила, занеся кофеварку для решающего удара... Методом жестоких проб и роковых ошибок Стас нащупал безопасную для жизни тематику. Обычно его стихи и поэмы назывались крайне филологично: «Перечитывая третью главу „Кентерберийских рассказов“, или „Модильяни пьет абсент в „Ротонде“, или „Смерть Альбера Камю в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года“. Но надо ли объяснять, что Жгутувич мечтал о большем? Вот почему моя однокомнатная квартира, расположенная в пяти минутах бега от букинистического магазина «Книжная находка», была единственным выходом из того кошмара, в котором он влачил свои половозрелые годы.

– Значит, ты будешь пользоваться моей квартирой? – игриво переспросил я.

– В любое время и в любых целях! – уточнил Стас.

– Молоток! – Арнольд хлопнул Жгутовича по плечу.

– Идет, – согласился я и сделал многозначительную паузу. – Но если ты проиграешь, то я буду в любое время пользоваться твоей «Масонской энциклопедией»!

– В каком смысле? – затомился алчный Стас.

– В прямом. Ты мне ее просто отдашь!

– Молоток! – Арнольд хлопнул меня по плечу.

На мгновение Жгутович замер, и на лице его живо отобразилась схватка скрытого сладострастия с явным честолюбием, но довольно скоро честолюбие пискнуло и подняло вверх свои крысиные лапки.

– Идет! – кивнул он. – Тем более что ты все равно не выиграешь!

– Подумай! – усмехнулся я и решил его помучить. – Ты теряешь единственный шанс. Если ты отдашь мне энциклопедию, книгу тебе никто не издаст, и взыскательный читатель никогда не сможет насладиться твоей поэмой «Иван Тургенев читает Полине Виардо фрагменты романа „Дым“».

– Романа «Новь», – обиженно поправил Стас. – Ты всегда был Терситом по натуре...

– А кто такой Терсит? – вмешался Арнольд.

– Так, мужик один, – объяснил Стас и добавил: – Я подумал. Ты никогда не выиграешь! – И он протянул мне руку.

Я протянул свою. Нет, это было не рукопожатие, а схватка двух лукавств.

– Разбей! – приказал я Арнольду.

Тот сначала решительно занес руку, но вдруг заколебался:

– Не-ет, так не пойдет...

– Почему?

– А вы мне объясните, что значит – первый встречный?

– Как – что? – пожал я плечами. – Мы выходим на улицу, останавливаем первого встречного и предлагаем ему принять участие в нашем эксперименте, – растолковал я.

– А если он отказывается? – уточнил Арнольд.

– Тогда мы останавливаем другого.

– А если и он отказывается?

– Тогда третьего – и так до тех пор, пока кто-нибудь не согласится.
– Но ведь тогда это будет не первый встречный! – логично заметил Арнольд.

– Не придирайся к словам! – заступился за меня Стас, которому уже не терпелось поразвратничать на моей жилплощади.

– Ладно, – смирился Арнольд, – в конце концов, вы спорите, а не я. Вам и расхлебывать.

– Что? – не понял я.

– Подумайте сами: а если первым встречным окажется, допустим, Франсуаза Саган? По ящику сказали: она как раз сейчас в Москве...

– Хорошо, – согласился я. – Известных людей мы отмечаем как класс!

– А если первым встречным окажется твой друган, с которым ты заранее все обшляпил? – спросил Арнольд и глянул на меня с чалдонской хитрой улыбкой.

– Ваши необоснованные подозрения мне странны! – ответил я, и, хотя у меня не было никаких жульнических планов (у меня вообще не было планов), щеки мои затеплились, как у всякого порядочного человека, заподозренного в свинстве.

– В самом деле, – насупился Стас, – я хотел бы гарантий.

– Мое честное слово для тебя не гарантия? – фальшиво, несмотря на всю чистоту своих намерений, возмутился я.

– Писатель, дающий честное слово, то же самое, что проститутка, которая клянется своей невинностью! – отрезал Жгутович.

– Как сказал! – воскликнул Арнольд, и его лицо напряглось в запоминающем усилии.

– Что ж, в таком случае наше пари расстраивается, – облегченно констатировал я.

– Вы, мужики, не расстраивайтесь, – успокоил Арнольд, глянув на часы. – Прямо сейчас должен прийти Витек, племян нашего редакционного шофера. Я ему от дяди привез рыжиков, – он кивнул на пустую банку, – и бутылку «амораловки», – он показал глазами на свой рюкзачок.

– Кем он работает? – подозрительно поинтересовался Стас.

– Чальщиком.

– А что это? – продолжал допытываться Жгутович.

– Так, мужик с чалками, – ответил злопамятный охотовед.

– Образование? – не обратив на это внимания, спросил обладатель «Масонской энциклопедии».

– Ну какое образование у чальщика? Незаконченное...

– Конкретнее! – потребовал Жгутович.

– Из ПТУ за двойки выгнали...

– Очень хорошо!

– Вот вы Витька и заделайте знаменитым писателем. Он дядьке письма присылает с такими ошибками, что вся редакция гогочет. Вот вам и чистота эксперимента. А из первого встречного тебе любой дурак гения сконструит!

– Идет! – обрадовался Стас и буквально вцепился в мою руку.

Я нехотя сжал его вспотевшую от предчувствия удачи ладонь, а Арнольд, крякнув, разбил наш заклад. Отмечая заключенное пари, мы допили остатки пива и закусили по-братски последним рыжиком из дядиной банки. Арнольд пошел встречать будущую знаменитость: по его прикидкам Витек должен был уже подъехать.

– У тебя диван или кровать? – задумчиво жуя гриб, спросил Стас.

– Диван-кровать, – буркнул я, мысленно ругая себя за это дурацкое пари.

4. Простодушный

4. Простодушный

Через несколько минут он уже сидел за нашим столиком – здоровенный кудряво-конопатый парень, не знающий, куда деть свои огромные красные ручки. На нем были синие портки, которые сшившие их в городе Можайске люди почему-то поименовали джинсами, и байковая клетчатая рубаша с залохматившимися манжетами. А его башмаки, грубые строительные бахилы, удивляли взгляд бело-серыми разводами, похожими на те, что остаются на черной школьной доске, если стереть написанное мелом с помощью грязной тряпки. Зато лицо парня светилось добродушной безмятежностью: вероятно, из всех проклятых вопросов бытия его беспокоил только один – как дотянуть от аванса до полочки. И то, видимо, не очень... Я еще раз пожалел о заключенном пари.

Когда Арнольд подвел его к нашему столику, он, ужасно робея и запинаясь, представился: «Витёк». Не «Витя», не «Виктор», не «Витька», а именно – Витек. Чувствовалось, что малый впервые оказался в таком значительном месте и, чтобы не оплошать, контролирует каждое свое движение, мучительно призывая на помощь смутные образцы хороших манер, виденные в каких-нибудь фильмах про благородную жизнь, где роли столбовых дворян исполняют томные внуки аптекарей и огородников. Когда мы пригласили его присесть за наш столик, он ответил нам коротким поклоном, которым в этих самых кинокартинах обычно заканчивают переговоры о месте поединка, секундантах и прочих дуэльных подробностях.

– Грибки-то мы с ребятами того... – виновато сообщил Арнольд, показывая пустую банку.

– Да ладно уж, – кивнул Витек и улыбнулся.

– Давайте за встречу! – предложил Стас.

– Надюха! – Я ухватил за кружевной передничек пробегающую мимо официантку.

И тут я снова должен сделать отступление. (Между прочим, их будет впредь довольно много, поэтому читатель, любящий прямоезжие сюжеты, может сразу отложить это сочинение.)

Надюхе, самой молодой официантке в ресторане, было лет двадцать пять, и она обладала всеми тремя основными признаками женской привлекательности: большими глазами, большой грудью и большим задом. При этом фигура ее оставалась достаточно стройной, а волосы радовали взор аккуратной парикмахерской курчавостью. Судя по тому, что в течение нескольких лет она частенько появлялась на работе с тщательно запудренным синяком под глазом, Надюха была девушка замужняя. Правда, в последние несколько месяцев никаких брачных отметин на лице не наблюдалось, и это наводило на мысль, что ее супружество распалось. Более того: в карих Надюхиных глазах возникло то загадочно-задумчивое выражение, которое всегда выдает томящуюся в одиночестве женщину. Не путать с насмешливо-призывным взглядом женщины, томящейся в браке! От прочих официанток она отличалась еще и тем, что обслуживала быстро, грубила вполсилы, а обсчитывала очень умеренно, не жалуясь при этом, что детское пальтишко в магазине стоит чуть не половину ее официантской зарплаты. Детей, кстати, у нее не было.

– Мальчики, – вздохнула она, глядя не на нас, а на кусочек свежего неба, видневшийся сквозь приоткрытое витражное окно, – пиво кончилось. Последний портвейн взял Закусонский. Остались шампанское и коньяк – очень дорогой!

Человеку, начавшему свою алкогольную биографию после гайдаровских реформ и с малолетства привыкшему к изобилию веселящего зелья везде и в любое время суток, эта возникшая у нас проблема может показаться надуманной. Но напомним, что описываемые события происходят как раз накануне спровоцированных мной, дураком, реформ, и мы, воспитанные справедливой, но суровой социалистической действительностью в духе жесткой борьбы за каждый децилитр алкоголя, восприняли эту весть спокойно. Коньяк, даже безумно дорогой, в условиях разразившейся антиалкогольной кампании – это просто подарок судьбы. В конце концов расплатиться можно и завтра, оставив в залог на крайний случай часы или писательский билет. И чтобы закрыть тему, выскажу соображение, давно не дающее мне покоя. Перестройка лишила нас главного – жизненной цели. Создавая массу препон и преград перед пьющим человеком, социализм имитировал, пусть неумело, цель, а значит, и смысл жизни. Капитализм с его ломящимися от горячительных

напитков витринами оставил нас один на один с леденящей онтологической бессмысленностью бытия. И нет ему за это прощения!

– Будем пить, что есть, – бодро сказал я Надюхе.

– Деньги, пожалуйста, вперед! – попросила она, продолжая рассматривать кусочек неба в окне.

– Надежда, ты же меня знаешь! – неуклюже возмутился я.

– Знаю, поэтому деньги, пожалуйста, вперед...

– Вперед так вперед! Будем скидываться. – И я полез в боковой карман с таким видом, будто у меня там филиал Госбанка.

Это была известная ресторанный уловка: ты задерживаешь руку в кармане, а ничего не подозревающий новичок вынимает деньги, после чего можно сообщить, что забыл бумажник в пальто, давая ему возможность потратиться. Сведущие в секретах застольного мастерства, Стас и Арнольд сделали то же самое. Так мы некоторое время и сидели, точно три мафиози: каждый сунулся в карман за стволом, но начать пальбу первым никто не решается...

– Будем платить-то? – нетерпеливо спросила Надюха.

Мы вопросительно посмотрели на Витька.

– А у меня шуршиков уже неделю нет! – простодушно ответил он, совсем не смутившись тем, что наше знакомство начинается с прямого вымогательства. – Меня же со стройки уволили...

– Ну мужик пошел! – возмутилась Надюха. – В ресторан без денег идет, к бабе без...

Произнося все это, она почему-то глядела именно на Витька, хотя и мы тоже были «без».

– Без гладиолуса! – подсказал Витек, ухмыляясь.

Надюха посмотрела на него долгим взглядом женщины, забывшей, когда ей в последний раз дарили цветы.

– Может, часами возьмешь? – поколебавшись, предложил я, глянув на свои «командирские». – Завтра принесу деньги...

– Бери, очень хорошие «котлы»! – поддержал меня Витек, уже начавший понемногу осваиваться.

Скажу сразу: отдать эти часы в залог мне было так же непросто, как папуасу оставить в колониальной лавке свой амулет – мумифицированную и ставшую священной погремушкой мошонку любимого дедушки. (Пошловато, но все равно надо запомнить!)

– Ну, конечно... Сейчас! Куда их девать-то, часы ваши? Скоро магазин «Тик-так» тут откроем! – ответила она с той чисто бабьей сварливостью, после которой обычно следует согласие.

– А что это вы, собственно, грубите! – влез нечуткий Жгутович и все испакостил.

– Я грублю?! – возмутилась она.

– Ты, Надь, пока иди, – примирительно сказал я. – Мы посельсоветуемся...

Окатив нас взглядом, исполненным женского презрения, она отошла от столика, и Витек проводил ее жадным глазом. Некоторое время мы сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга, а потом Арнольд, крикнув, полез в рюкзак и выставил на стол литровую бутылку из-под венгерского вермута, наполненную жидкостью, по цвету напоминающей отработанное моторное масло.

– Это та самая «мараловка»? – уточнил я.

– «Амораловка», – поправил Арнольд, разливая по рюмкам – себе чуть-чуть, нам со Стасом побольше, а Витьку – граммов сто. – Тебе до краев. Ты молодой, у тебя еще вся печень впереди!

– Это не опасно? – покосился на рюмку Стас.

– Пока еще никто не умер.

Мы чокнулись и выпили. У настойки был вкус технического спирта, в который уронили кусочек селедки иваси с луком. Витек, опрокинув рюмку, замер, прислушиваясь к тому, как алкоголь теплой мышкой бежит вниз по пищеводу. В тот момент, когда мышка достигла желудка, он согласно кивнул.

– Лекарство? – морщась, спросил Стас.

– Настойка из маральных рогов, лучшее средство от рогов внутрисемейных, – разъяснил Арнольд. – Даже самый плевый мужик, как выпьет, места себе не находит, пока кого-нибудь не прищемит. У нас ее поэтому «амораловкой» и прозвали. Вы сегодня больше – ни-ни, а то резьбу сорвете.

– Предупредить надо! – обиделся Стас.

– Не серчай. Чуть-чуть полезно. У вас ведь с Витьком – разговор, а какой разговор без рюмахи?

– Да, разговор, – вздохнул я. – Значит, говоришь, выгнали тебя с работы?

– Ага.

– Да ладно, не чинись, расскажи, как ты на собрании бригадиром по трибуне колотил! – подсказал Арнольд.

– Бригадиром? – переспросил я.

– Бригадиром, – виновато кивнул Витек.

– М-мотивы? – не очень твердо потребовал Стас.

– Сука он!

– У-уважительные мотивы! – кивнул явно поплывший Жгутувич.

Да я и сам почувствовал, как внутри зарождается и начинает пульсировать горячее беспокойство вполне определенной направленности. А бредовая идея сделать из Витька мировую знаменитость вдруг показалась мне не такой уж глупой, но даже волнующе заманчивой, как первое прикосновение к незнакомой девичьей коже. Я глянул на Стаса: его бледные впалые щеки зарумянились, залысины запотели, а в глазах появилась похотливая целеустремленность. У Витька на лбу тоже выступила испарина, и он своими толстыми пальцами пытался слепить из хлебного мякиша нечто женское. Арнольд же наблюдал за действием «амораловки» с тихой улыбкой юнната.

– Ну и что ты теперь собираешься делать? – спросил я у Витька после некоторой паузы.

– А хрен его знает... – пожал он здоровенными плечами.

– Но работать-то надо!

– Наумиха моя тоже говорит – надо...

– Ругается?

– А то – пила двуручная!

– Цыц! О матери такие слова! – нахмурился Арнольд.

– Ну и какие у тебя, Виктор, планы? – Я постарался вопросом замять возникшую неловкость.

– Не знаю, может, грузчиком в универсам устроюсь.

– Сопьешься! – покачал головой Арнольд.

– Сопьюсь... А может, к дядьке, к вам в Красноярск, подамся...

– Приезжай. Найдем тебе сибирячку! Знаешь, такую, с огоньком в одном месте...

По тому, как это было сказано, стало ясно: те несколько капель, что выпил Арнольд, тоже не прошли для него бесследно. Но с Витьком вообще творилось нечто невообразимое: он вдруг побагровел и покрылся пóтом, словно минут двадцать пробыл в хорошо

протопленной русской парной, нещадно обхлестывая себя дубовым веником с крапивцей. Да и сам я ни с того ни с сего вдруг ярко и остро вспомнил одну мою мимолетную подругу юности, которая в кульминационные моменты почему-то всегда раздражалась хриплым хохотом, по звуку похожим на тот, что издают «мешочки со смехом», продающиеся теперь во всех развлекательных магазинчиках. Меня тоже бросило в пот, и я исподлобья глянул на Стаса: он, нервно подергивая щекой, так лихорадочно листал свою записную книжку, словно кругом был огонь, а он забыл телефон пожарной команды.

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул Витек. – Приеду.

Я с укоризной посмотрел на Арнольда, а раздосадованный Стас даже пнул его под столом ногой.

– А с другой стороны, – спохватившись, покачал головой Арнольд, – мать одну бросать нельзя!

– Нельзя, – согласился Витек.

– А писателем ты стать не хочешь? – напрямки спросил я.

– Кем? – обалдел он.

– Писателем.

– Не-ет... У меня по русскому в школе три с минусом было. Да и то потому, что я учительнице картошку окучивать помогал...

– Это неважно! Писать тебе не придется, – решительно пообещал я под влиянием «амораловки».

– А что же тогда я буду делать?

– Ничего.

– Значит, писать не надо?

– И читать не надо! – захихикал Стас, оторвав страстный взгляд от незнакомки, одиноко пившей шампанское за соседним столиком.

– Чего? – не понял Витек.

– Он пошутил, – объяснил я.

– Они когда-нибудь тут в Москве дошутятся! – молвил Арнольд с угрюмой неопределенностью.

– Надо покумекать, – тихо ответил Витек и задумчиво обвел глазами наш стол, жалкий, как завтрак мусорщиков.

– Ах, это! – понял я. – Это пусть тебя не смущает. Такова писательская жизнь: сегодня густо – завтра пусто...

– А чаще что? – спросил Витек.

– Трудный вопрос. У кого как... Но у тебя деньги будут, много денег, потому что есть такой закон: чем писатель меньше пишет, тем больше у него денег!

– Значит, будешь миллионером! – хихикнул Стас и послал незнакомке пылкий взгляд, хотя надо было бы послать бутылку шампанского, ибо свою она уже допивала.

– Из загранок вылезать не будешь! – продолжал живописать я и, покосившись на Стаса, громко добавил: – А женщины! Какие женщины у тебя будут!

– Правда? – зарделся Витек.

– Правда! В Москве тоже девки с огоньком есть. Мало, но есть. Соглашайся, – посоветовал Арнольд. – Чего ты теряешь? У них свой интерес, у тебя – свой. Не понравится – пошлешь их на хрен... И к нам – в Красноярск!

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул Витек.

И одновременно с его словами в потолок громко выстрелила вторая бутылка шампанского, заказанная незнакомкой. Наверное, как я позже понял, таким образом провидение хотело предостеречь меня от этого опрометчивого шага впоследствии так дорого стоившего мне, да и всему нашему Отечеству...

Впрочем, настоящую цену тому давнему пари я узнаю, когда мы приземлимся в Шереметьево-2.

– Тогда по рукам! – засмеялся Арнольд.

Я во второй раз за один вечер, но теперь уже с куражистой уверенностью протянул свою ладонь для скрепления договора. Витек сжал ее крепко, но без членовредительства, а Арнольд накрыл наши руки сверху растопыренной пятерней. Ни руки Жгутовича, ни его самого в этот ответственный момент поблизости не оказалось. Он уже со свойственной советскому обольстителю непосредственностью сидел за столиком незнакомки и хлебал ее шампанское...

– Вот и славненько! – сказал Арнольд, вставая. – Очень хорошо, что все сладилось. А мне пора на паровоз. Вы только с «амораловкой» поосторожнее! Много – вредно. Гляньте: Жгутович – глиста глистой, а как вскобелился-то!

Лукаво усмехнувшись, он подхватил рюкзачок и направился к выходу. А я, глядя ему вслед, почему-то с будоражащей достоверностью вспомнил давний-предавний свой турпоход и одну

крепенькую инструкторшу, научившую меня, школьника, ставить палатку за рекордные две минуты, а потом в этой самой палатке разъясшившую мне, возбужденному, несмышленому: то, что в туризме – абсолютный рекорд, в сексе – абсолютно не рекорд. Прав Арнольд: «амораловки» больше ни капли!

Тем временем к нам, чтобы собрать пустую посуду, подошла Надюха. Перешучиваться и кокетничать с безденежными клиентами не имело смысла, поэтому она хмуро и молчаливо складывала в стопку грязные тарелки, брезгливо косясь на понатыканные в них окурки. Склоняясь над столом, официантка невольно предъявляла нам свою вполне убедительную грудь. Неожиданно Витек схватил ее за руку и потянул к себе:

– Как зовут-то?

– Отпустите, – ответила она с томной строгостью.

– Отпущу – упадешь!

– Нахал...

– Пускай нахал – лишь бы пахал! – засмеялся Витек, и я подумал о том, что современная наука явно недооценивает нынешний городской фольклор.

– Я милицию вызову! – неуверенно пообещала Надюха.

– Позвонила я ноль-два – ноги сходятся едва! – поддал Витек.

– Скажите вашему другу! – Она растерянно глянула на меня.

– Отпусти ее! – приказал я, заметив, что возня у столика привлекла внимание хмурой метрдотельши, похожей на смотрительницу женской тюрьмы.

Витек неохотно выпустил руку, Надюха потеряла покрасневшее запястье, буркнула: «Дурак» – и, подхватив посуду, ушла. Мы проводили ее голодными взглядами. Первым опомнился, конечно, я:

– Давай сразу договоримся: ты ничего не делаешь без моего разрешения!

– Что ж, мне теперь и ляльку без вашего разрешения не зачалить? – засопел Витек.

– Без моего разрешения – нет. Повторяю: ты должен меня слушаться, иначе эксперимент сорвется...

– Эксперимент... А я, выходит, кролик?

– Тебя это так смущает?

– В общем, нет... В нашей собачьей жизни кроликом побыть – это даже неплохо.

Он задумался и снова принялся лепить из хлебного мякиша форму, которую, если ее увеличить раз в сто, можно совершенно спокойно показывать на выставке современной скульптуры, назвав, допустим, «Женщина на изломе луча». Я тоже задумался, а точнее, под влиянием «амораловки» затомился воспоминаниями об Анке, о наших безумных ночах на даче в Перепискино, о смуглом мраморе ее тела, с победной ненасытностью вздымавшегося надо мной, точно торс языческой богини над пьедесталом... Да, воспоминания – это разновидность некрофилии. К здоровой реальности меня вернул Стас, снова усевшийся за наш столик.

– А где Арнольд? – удивился Жгутович.

– Ушел на медведя, – объяснил я.

– Понял... Слушай, – страстно зашептал он, – у меня к тебе есть просьба. Поскольку ты все равно проиграешь, я бы хотел сегодня вечером в счет будущих прав использовать твою квартиру. Ты не возражаешь?

Произнеся это, он метнул нежно-обещающий взгляд незнакомке, приканчивавшей уже третью бутылку шампанского. В ответ она показала ему алчущий язык.

– В принципе не возражаю, – ответил я, – хотя это то же самое, как если б мне в счет моего будущего несомненного выигрыша захотелось бы вырвать несколько страниц из твоей «Масонской энциклопедии»...

– Ну ты сравнил! – возмутился Стас.

– А во что вы играете? – поинтересовался Витек.

– В жизнь, – улыбнулся я нашему простодушному другу и, снова повернувшись к Стасу, добавил: – Но даже если я, учитывая твое состояние, разрешу тебе воспользоваться моей квартирой, ты все равно не сможешь этого сделать...

– Почему это? – возмутился Стас, уловив в моем ответе недоверие к его потенциалу.

– Оглянись, эротоман ты хренов!

Он обернулся: в дверях стояла его жена, которую я заметил минуту назад.

– Она... она... видела, как я?! – прошептал он, мертвея, и показал глазами на незнакомку, манившую его к себе пустым бокалом.

– Не умирай, – успокоил я. – Она вошла, когда ты вернулся к нам.

– Фу-у. – Стас выдохнул, как подсудимый, которому в последний момент расстрел заменили пожизненной каторгой.

– Сам выпутаешься или помочь? – великодушно спросил я.

– Помоги!

Я встал, подхватил Стаса под руку и, широко улыбаясь, повел его к супруге. Она смотрела на нас, как пулеметчик смотрит на наступающие вражеские цепи, подпуская поближе, чтобы бить наверняка. Попутно мне довелось принять на себя пьяные объятия незнакомки, кинувшейся вслед ускользавшему от нее Жгутовичу. Бережно, но не без усилий усадив ее за столик, я догнал Стаса еще до того, как он успел открыть рот. Невинно глядя прямо в свинцовые глаза его супруги, я затараторил про то, что сегодня якобы имело место одно очень серьезное обсуждение моей новой книги и для меня жизненно важным было выступление ее мужа, славящегося своим безукоризненным вкусом и неопишуемым красноречием. Вранье затягивает, и я рассказал, как после блестящего выступления Жгутовича в зале долго не смолкали аплодисменты и как потом я в знак благодарности пригласил его на ужин, естественно, все расходы взяв на себя. В этом месте я чуть не засмеялся. Я говорил все это без единой паузы, втискивая слово в слово, фразу в фразу так, чтобы перебить меня было невозможно. Я уверял, будто бы Стас каждые пять минут бегал в холл звонить домой, но линия была фатально занята, ибо наша Миусская телефонная станция, самая старая в Москве, построена еще до революции, а во время мятежа левых эсеров в 1918 году в нее угодил снаряд, и последствия этого сказываются по сей день, в чем мадам Жгутович могла собственноручно убедиться, не дождавшись звонка от мужа! Все это я тараторил до тех пор, пока не довел супругов до дверей и не выпустил на улицу, где обилие пространства позволяло разрешить им свой семейный конфликт в самых адекватных формах. Перед тем как вернуться к Витьку, я забежал вниз, в туалетную комнату, чтобы смыть пот, выступивший на моем лице от «амораловки» и изнуряющего вранья.

5. Покинутый мужчина

5. Покинутый мужчина

Когда я вернулся к нашему столику, там никого не было, а метрдотельша смотрела на меня как-то странно.

– А вот здесь парень сидел? – спросил я.

– Этот маньяк в нечищенных ботинках? – отозвался со своего места наблюдательный Закусонский.

– Почему маньяк? – удивился я. – Очень талантливый молодой писатель.

– Так уж и талантливый? – ухмыльнулся Закусонский.

Он, будучи настоящим критиком, твердо считал талант своей глубоко личной принадлежностью и наличие талантов у кого-либо еще полагал такой же нелепостью, как копыта у болонки.

– Этот твой молодой талант схватил Надюху и уволок...

– Куда?

– В грот любви! – обронил мерзавец Одуев, покидавший ресторан в обнимку со своей школьницей.

– Стишки ей читать будет, – добавил Закусонский с интонацией, в которой заключалась зоологическая ненависть ко всем жанрам литературы без исключения.

– При чем тут стихи? – разозлился я. – Он пишет... Ну, допустим, прозу...

– Ах, бросьте, – засмеялся Закусонский, подмигнув нашему ресторанному обходчику Гере, деликатно шакалившему возле столика, где, уронив голову между пустых бутылок, спала незнакомка.

Тем временем к столику приблизилась строгая метрдотельша:

– Учтите, если Надежда не вернется через полчаса, я переведу ее в посудомойки!

– А если она не виновата, если он насильник! – заступился за Надюху глумливый Закусонский.

– Так не бывает... Писатель, а такой ерунды не знаете! – отрезала метрдотельша.

Они не вернулись. Не вернулись ни через полчаса, ни через час... Они вообще не вернулись в тот вечер. Ресторан начал пустеть.

Очнувшись, незнакомка допила шампанское, подкрасила губы и ушла, твердо печатая шаг. Чурменев с иностранцами, нализавшимися совершенно по-русски, уехал догуливать в «Метрополь». Я прождал до самого закрытия ресторана, когда уже притушили свет и официанты принялись срывать со столов, будто одежды с пьяных женщин, скатерти и ставить стулья вверх ножками. Перебравших литераторов, выборматывающих что-то о своей неочтенной гениальности и безусловной слабости Достоевского как стилиста, под руки выводили на воздух, где они стояли и, пошатываясь, мучительно вспоминали свои адреса, чтобы сообщить таксистам.

Я взял со стола бутылку «амораловки», покрепче завинтил пробку, сунул в портфель и тоже вышел на улицу. Был теплый июньский вечер. В воздухе стоял нежно-металлический запах первой грозы, которую синоптики настойчиво обещали и которая, видимо, все-таки осуществилась, покуда я сидел в ресторане. Впрочем, что там гроза, некоторые умудряются революции в кабаках пересидживать! Опасаясь, что моя нетрезвость может заинтересовать дежурящих в метро милиционеров, я решил отправиться домой пешком. До моей 2-й Взыбленской, в ту пору еще носившей имя командарма Тятиня, было полчаса ходьбы.

Я испытывал очень странные чувства. Прошло много времени, а я хорошо их помню. Если принять эзотерическую версию творившегося со мной, то мое плотное тело – иными словами, плоть – спокойным шагом, соблюдая все правила общежития и дорожного движения, перемещалось по вечернему городу в направлении Никитских ворот, правда чересчур внимательно разглядывая встречных женщин и девушек. Но мое эфирное тело желаний рвалось куда-то, точно юный кобелек с поводка.

«Проклятая „амораловка“!» – подумал я и стал шарить по карманам. Двухкопеечную монету я нашел, а вот найти исправный автомат оказалось значительно труднее: у одних были с «мясом» вырваны трубки, у других отсутствовали диски, третьи вообще напоминали вскрытые злоумышленниками небольшие настенные сейфы. Лишь много позже, ознакомившись с замечательной теорией этногенеза Льва Гумилева, я понял причину столь лютой ненависти моих соотечественников к телефонным автоматам. Видимо, наш народ, будучи исторически моложе, чем, допустим, англичане, в настоящее

время переживает тот период, который у англосаксов ознаменовался движением разрушителей ткацких станков – луддитов. У нас же крушат телефонные автоматы: национальная специфика.

Но работающий аппарат я все-таки нашел. Сначала он безвозмездно сожрал мою монету. Но при второй попытке соединил меня абсолютно бесплатно.

– Алло! – отозвалась она ровным голосом и почти сразу.

«Значит, одна», – подумал я.

У нее была странная манера: она никогда не отключала телефон и даже в моменты самого захватывающего крещендо, услышав звонок, выскальзывала из моих объятий и брала трубку. Но в такие минуты голос у нее был прерывистым и говорила она очень коротко и сухо: «Да. Скорее. Я занята...» А потом она возвращалась ко мне, смеясь: «Соскучился?»

– Алло?! – еще раз сказала она, и в голосе послышалось раздражение. – Говорите.

А что я мог сказать? Все, что возможно, я уже сказал, и это не помогло.

– Да что же вы молчите, черт подери!

Разумеется, она сказала вовсе не «черт подери», но я не какой-нибудь постмодернист литинститутского разлива и никогда не путаю бытовую речь с литературной. Вообще Анка очень вспыльчивая.

У нее даже в наших литературных кругах одно время было прозвище «Верная рука». Это потому, что, когда ей вдруг казалось, будто кто-то на обсуждении рукописи или просто за пьяным столом говорил нечто подлое или просто несправедливое, она тихонько отзывала его в сторонку и, ничего не объясняя, вкатывала звонкую пощечину. Сдачи ей, разумеется, не давали: во-первых, женщина, во-вторых, красивая женщина, а в-третьих, дочь самого Горынина! Меня, кстати, она не ударила ни разу! Ни до, ни во время, ни после. А Анкой ее назвал отец, выросший в деревне, где в клубе чаще всего крутили «Чапаева», и молоденькая пулеметчица была его идеалом революционной женственности.

– Если это ты, – уже совершенно другим голосом сказала она, – то повесь трубку первым...

Я повесил трубку. И пошел домой. По дороге мое тело желаний совершенно обезумело: мне с большим трудом удавалось удерживать

его на тугом астральном поводке, и таким образом я успешно избавил от самых разнузданных приставаний двух милых студенток и усталую домохозяйку с большой сумкой, из которой уныло свешивался зеленый лук. Наконец, почти у самого подъезда я чудом уберегся от опрометчивого и бесперспективного знакомства с немолодой, но юно намакияженной для вечернего выгула собаки дамой. Натягивая астральный поводок, мое тело желаний обнюхалось с ее остриженным под ягненка пудельком и вернулось ко мне, разочарованное.

Войдя в квартиру, я, не раздеваясь, присел к столу. В машинку была заправлена страничка с напечатанными неделю назад словами:

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ШИННОГО ЗАВОДА Глава первая
Шины для диктатуры пролетариата

Проведя пальцем, я обнаружил, что бумага покрылась тонким слоем пыли. За историю шинного завода я уже получил аванс и давно эти деньги прожил. Впрочем, точно так же мной были получены и прожиты авансы за статью для журнала «Пионер» о закаливании холодной водой, чего сам я с детства не выношу, за стихотворное приветствие учащихя ПТУ съезду профсоюзов, за историю Кировской пионерской организации, за перевод поэмы Эчигельдыева «Весенние ручьи созидания» и не помню еще за что. Я никак не мог заставить себя написать эту в общем-то плевою чепуху, ибо во мне уже несколько месяцев клубился, все сгущаясь, роман, настоящий роман, главный, «главненький», прочтя который, Анка поймет все и примчится ко мне внезапно, ночью, навсегда! Собственно, для того и существует литература, чтобы женщина, прочтя, плачущая и полуодетая, примчалась к тебе ночью – навсегда. Но и за роман, за «главненькое», сесть я тоже никак не мог, ибо оплаченная поденщина не пускала, висела на душе чугунной гирей. Писать настоящую книгу, когда на тебе висит пионерское приветствие съезду профсоюзов, – то же самое, что, не залечив случайный триппер, добиваться благосклонности Прекрасной Дамы, которую искал всю жизнь... (Фу! Пошло. Не запоминать!)

Вот в таком крайне буридановом состоянии я и существовал последнее время, маясь между халтурой и «главненьким». Кстати, о «главненьком». Появление этого словечка тоже связано с Анкой. Был такой популярный в ту пору анекдот. Женщина, родившая тройню, показывает младенцев журналисту в той последовательности, в какой

они появились на свет. Дети лежат в мокрых пеленках, плачут – просят титьку, а она говорит: «Это – мой старшенький. Это – мой средненький. Это – мой младшенький...» – «А это?» – удивляется корреспондент, кивая на мужика в мокрых штанах, который лежит на полу и тоже плачет – просит бутылку. «А это – мой главненький!» – отвечает многодетная мать. Словечко перешло сначала в наш альковный язык, а потом Анка стала величать «главненьким» и мой будущий роман. Его я как-то в ночном разговоре с неосторожной искренностью назвал своей «главной вещью»...

В задумчивости я достал из портфеля бутылку «амораловки», взял маленькую коньячную рюмочку и налил граммов тридцать – не больше. Я был так расстроен, что забыл предостережение Арнольда, забыл о навязчивых эротических видениях, забыл о дурацком споре со Жгутовичем, об исчезновении Витька, забыл обо всем, – я налил себе совершенно автоматически, так вохровец, даже будучи на пенсии, в задумчивости делает движение, точно передергивает затвор винтовки. Да, по вкусу действительно похоже на водку, куда уронили кусочек селедки, скорее всего, иваси. Я выпил и несколько секунд сидел, прислушиваясь к тому, как напиток пускает в меня свои бесчисленные живые, горячие, волнующие корни. Потом я, как сейчас помню, вздохнул и по-йоговски задержал дыхание... Одно время я этим увлекался, но быстро понял: для русского человека йога примерно то же самое, что для индуса подледная рыбалка на Медвежьих озерах. Внезапно у меня страшно закружилась голова, а в следующую минуту я увидел всю историю шинного завода с такой отчетливостью, что даже различил капли пота, выступившие на лбу директора этого краснознаменного предприятия, когда, отрапортовав с трибуны съезда победителей об успехах, он услышал медленные слова Сталина: мол, конечно, шинный завод хорошо работает, но было б интересно узнать, почему же он не работает еще лучше. Я вдруг почувствовал, что мне остается самое малое – просто перенести внезапное озарение на бумагу. Не написать, а записать. Не сочинить, а сыграть по нотам. Я опустил пальцы на клавиши моей «Эрики» так, точно это были клавиши белого рояля, и сам я не обычный литературный халтурщик, но Ван Клиберн, исполняющий Первый концерт Чайковского. Талант – это безумие, посаженное в клетку разума... (Хорошо! Но, кажется, до меня это уже кто-то говорил.)

Я работал до шести утра, пробарабанив от восемнадцатого года, когда был открыт шинный завод, до главы под названием «На дороге в Берлин». Потом встал, сделал шаг по направлению к дивану и рухнул на простыни, как раненый Пушкин в снег...

6. В поисках утраченного Витька

6. В поисках утраченного Витька

Телефонный звонок пробивался к моему сознанию долго и настойчиво – так спасатели пробиваются к погребенному под лавиной человеку. Наконец, не открывая глаз, я нашарил трубку и прижал к уху.

– Спишь? – спросил бодрый Жгутович.

– Сплю...

– Значит, я тебя разбудил?

– Разбудил...

– Ну и хорошо – уже второй час...

– Я до шести работал... Чего ты хочешь?

– Ничего. У тебя кухня сколько метров?

– Шесть. А что?

– Так. Спросить, что ли, нельзя?

– Можно...

– Маловато...

– Мне хватает...

– Все равно маловато. Не умеют у нас строить. А ты, кстати, знаешь, что, по некоторым сведениям, масонство восходит к древним строителям Иерусалимского храма? Но это не доказано. А по новейшим сведениям... Нет, я лучше тебе зачитаю. Слушай! «Предками современных франкмасонов, носившими то же имя, были, несомненно, настоящие каменщики, и добавление к названию их ремесла слова „свободный“ имело первоначально профессионально-ремесленное, а не социальное значение. Свободными камнями, в отличие от обыкновенных, назывались в Англии более мягкие каменные породы, вроде мрамора и известняка, употреблявшиеся для более мягкой, барельефной работы...» Улавливаешь?

– Что? – начиная просыпаться, уточнил я.

– Если б наши дома строили свободные каменщики, кухни были бы просторнее. Не говоря уже обо всем остальном!

– Тебя вчера жена тяжелым по голове не била?

– Ты что! Даже наоборот... У тебя, кстати, «амораловка» осталась?

- Нет, – соврал я.
- Жаль. Между прочим, масоны очень большое значение придавали различным магическим напиткам...
- Стасик, что с тобой?
- Ничего. Я просто вдруг подумал: а если ты выиграешь наше пари? Хотя, конечно, это невозможно, но я на всякий случай теперь решил перед сном читать страничку-другую из энциклопедии. Ты знаешь, безумно интересно. Подожди, я тебе сейчас про Тота Гермеса Трисмегиста прочитаю...
- Не надо мне читать про Тота Гермеса Трисмегиста! У меня нет времени... О каком пари ты говоришь? – поинтересовался я, осторожно перебирая в памяти обмылки вчерашнего вечера.
- Привет! Это тебя, наверное, тяжелым по голове ударили. Мы же с тобой поспорили...
- О чем?
- Как о чем! О том, что ты сделаешь из Витька знаменитого писателя.
- Я?
- Ты. Если не сделаешь, то твоя квартира поступает в полное мое распоряжение... Забыл?
- Обижает... А если сделаю?
- Тогда я отдаю тебе мою энциклопедию.
- Энциклопедию? А на фига мне твоя энциклопедия?
- Не знаю. Ты же спорил... Или ты передумал?
- Нет, не передумал. Просто уточняю детали, – ответил я, просыпаясь окончательно и вспоминая в подробностях вчерашний спор. – Если обещал, значит, сделаю... А где Витек?
- Это у тебя надо спросить. Он же с тобой оставался!
- Оставался. А потом исчез...
- Как это исчез? Что-то ты крутишь! – молвил Стас с тем презрительным разочарованием, которое я ненавижу больше всего на свете.
- Ничего я не кручу! Я как раз собирался его искать...
- Найдешь – перезвони мне домой.
- Почему домой?
- Жена, пока «амораловка» действует, отгул взяла и меня тоже отпросила. Сейчас за шампанским побежала. А как ты отработал?

- Пять глав, – гордо ответил я.
- У тебя кто-то и сейчас еще есть? – завистливо спросил измученный моногамией Стас.
- Почему ты так решил?
- Ну, выражаешься ты иносказательно: пять глав... Я только три успел, – расстроился Жгутович.
- Не горюй: на своем поле это очень хороший результат!
- Мне тоже кажется. А у тебя точно «амораловки» больше нет?
- Нет, конечно! Зачем мне тебя обманывать? – искренне ответил я, косясь на бутылку, где еще оставалось граммов восемьсот.
- Ну ладно, пока, а то жена дверь открывает... – заторопился Стас.
- Ты учти, женщинам нравятся длинные главы, – ехидно посоветовал я и повесил трубку.

С трудом поднявшись, я побрел в ванную и долго стоял перед зеркалом, вглядываясь в свое бледное лицо и красные, воспаленные глаза. Вот влип! С таким же успехом я мог пообещать превратить Витька в генсека. Прав классик: нельзя мешать напитки... Больше всего в этот момент я был похож на лежавший тут же в мыльнице выдавленный тюбик пасты.

Первым делом надо было срочно реанимироваться...

В Доме литераторов, куда я доковылял через час, уже вовсю гудела благообразная дневная ресторанный жизнь: на спасительный огонек стягивались злоупотребившие вечером труженики пера. О, я знаю по себе: пробуждение их было ужасно! Помимо неизбежной головной боли, тошноты, диабетической сухости во рту, их терзало чувство похмельной безысходности и вдобавок чисто профессиональный ужас собственной бездарности и бесплодности. С самого утра они мучительно осознавали, что жизнь так и пройдет всуе, в злоупотреблениях, без больших художественных открытий, а потом тяжко влачили в ЦДЛ, по пути ошарашивая транспортную общественность тяжким духом вчерашнего удовольствия. Но уже после нескольких рюмок водки, закушанных рыбной солянкой, где в золотисто-оранжевой лимфе плавают желтый полумесяц лимонной дольки и с самого дна таращатся иссиня-черные маслины, жизнь постепенно начала наполняться смыслом, думы обретать внятность, а литературные образы тесниться в голове, как гости в лифте. И вот

человек, который всего полчаса назад просто не хотел жить, уверенно сидит за столиком, и на лице его играет мудрая улыбка тихого победителя жизни.

Вторым делом я прошел в закуток к официантам, но Надюхи там не было. Мне объяснили, что она сегодня не появлялась, позвонила и сказала: на работу не выходит, потому что выходит замуж.

– За кого? – оторопел я.

– Какая разница, – вздохнула немолодая уже официантка Рита, уставшая от одиночества и чаевых.

– Если она и завтра не выйдет, я ее даже посудомойкой не возьму!
– добавила строгая метрдотельша.

Она-то после долгих уговоров и дала мне адрес Надюхи, жившей, как оказалось, в глухом спальном районе Москвы, названном в честь снесенной с лица земли деревеньки, где в прошлом веке обоз, тронувшийся из старой столицы в новую, останавливался на первую ночевку. Пробегая через ресторанный зал, я краем глаза заметил вчерашнюю незнакомку, уныло пившую минеральную воду. Лицо ее было абсолютно неподвижно, ибо при малейшем мимическом колебании толстый слой грима мог осыпаться прямо в тарелку с солянкой.

– Следопытствуешь? – сочувственно спросил меня уже приступивший к своим обязанностям обходчик Гера.

– Скорее да, чем нет...

Поколебавшись, я поехал по выясненному адресу. Хорошо, если Витек тоже забыл про вчерашний спор. А если нет? Обдумав по пути ситуацию, я решил так: используя все свое красноречие, убеждаю Витька в том, что знаменитым писателем становиться ему не стоит. Потом звоню настырному Жгутовичу и сообщаю о нежелании Витька участвовать в наших нелепых играх. Таким образом я сохраняю лицо и выпутываюсь из дурацкого спора...

Надюхин дом стоял на краю огромного оврага, и дальше начинались малюсенькие, точно разбитые лилипутами, огородики с сарайчиками, более смахивавшими на собачьи конурки. Стекла в подъезде были выбиты, лифт расписан однообразными непристойностями.

«Везде луддиты», – подумал я.

Дверь мне открыла древняя старуха, одетая в застиранную куртку строительного отряда с нашивкой «ССО Романтик-76». Переминаясь на пороге, я заглянул в глубь маленькой однокомнатной квартиры и увидел ту привычную бедность, которая копится всю жизнь, чтобы в конце концов прикинуться достатком.

– Здравствуйте! – сказал я.

– А? – переспросила старуха.

– Здравствуйте!! А где Надя?!

– Уехала, слава богу!

– Почему «слава богу»?!

– А?!

– Почему «слава богу»?!!

– Всю ночь спать не давали – как резаные... – И она показала рукой на комнату, где виднелась постель, истерзанная, точно в ней искали спрятанные бриллианты.

«М-да», – подумал я.

– Всю ночь на кухне просидела, – жаловалась старушка. – Тоже молодыми были. И пообниматься любили. Но чего ж криком-то орать? Прощлый-то мужик у Надьки, хоть и пил, не в пример тихий был... А этот сущий варнак прямо-таки!

– Витек?!

– А?!

– Витек?!!

– Он.

– А куда они поехали?!!

– К нему. В Мытищи. Замуж, сказала, позвал...

Повеселев, я отправился на Ярославский вокзал. Задача моя явно облегчалась. Раз Витек решил обзавестись семьей, теперь ему, уж конечно, не до участия в нашем пьяном споре.

Мне всегда казалось, что Мытищи – это маленький подмосковный городок с утками в обмелевшем прудике, с кринками на выбеленных временем штакетинах. Оказалось, это здоровенный город с дымящимися трубами, эстакадами, колоннами марширующих в баню солдат. Сойдя с электрички и оглядевшись, я понял, что, не зная Витькиного адреса, на худой конец хотя бы фамилии, отыскать его здесь будет невозможно. Но я все-таки решил попытаться счастья и, выбрав в толпе мужика с рожей полиловее, расспросил его о

дислокации мытищинских пивных ларьков. Конечно, в былые времена мне не хватило б дня объехать все точки, но описываемые события происходили в самый разгар антиалкогольной горбачевской кампании, когда большинство ларьков и павильонов были перепрофилированы на торговлю квасом и соками, а те, что продолжали нести янтарный свет пива в массы, были крайне редки и общеизвестны, как синагоги в стране, где так долго и настойчиво боролись с антисемитизмом, что к власти в конце концов пришли юдофобы. (Вряд ли пригодится, но все равно запомнить!)

Первая будка располагалась возле техникума, и очередь состояла в основном из лохматой, буйно гоготавшей молодежи. Вторая приютилась рядом с Бульдозеростроительным заводом имени наркома Первомайского, и вокруг нее толкались хмурые работяги в промасленных спецовках, как пиво водой, разбавленные трудовой интеллигенцией – в шляпах и с портфелями. Только третий ларек стоял в новом микрорайоне, где шло бурное строительство и горизонт был заставлен ажурными силуэтами подъемных кранов. Очередь – человек в тридцать – состояла из строителей, одетых в припорошенные кирпичной пылью робы, пластмассовые шлемы и измазанные цементом бахилы – такие, в каких был вечер Витек.

Я прикинул: если актив, подносящий пустые кружки, будет работать споро, если не подвалит ватага шпаны и не возьмет сразу двадцать кружек, если никто не поднимет скандал из-за недолива, а хозяйка в знак протеста не закроет ларек по техническим причинам, минут через сорок я напьюсь пива. Встав в конец хвоста и высказав задумчивые сомнения в свежести пива, я установил неформальный контакт с соратниками по ожиданию и втянулся в серьезный мужской разговор. Сначала поговорили о сравнительных качествах «Туборга» и «Гиннеса», о которых все участники обсуждения очень много слышали. Потом соскользнули на политику и пришли к единодушному заключению, что Мишка мужик в общем-то неплохой, хотя и с гнидовинкой, а вот его Раиса – очевидная бензопила «Дружба», хотя женщина, конечно, обстоятельная. Между делом я поинтересовался, не знает ли кто-нибудь Витька. И один дядька великодушно предложил мне на выбор трех Викторов, включая и своего родного брата, но все они мне не подошли. Ждать пришлось все-таки немного дольше, чем я планировал, потому что к хозяйке зашел сын-школьник, она выставила

перед самым моим носом табличку «перерыв» и минут десять отчитывала его за двойку по географии. Наконец я получил кружку мыльно вспененного пива.

– Моча-а! – жмурясь от наслаждения, подмигнул мне здоровый малый в красном пластмассовом шлеме.

– Определенно моча, – согласился я, блаженно отдуваясь после нескольких крупных глотков.

– А вчера совсем пить нельзя было! – сообщил он радостно.

– Ты местный?

– Угу...

И я спросил про Витька. Он ответил, что отлично знает Витька, рыжего, конопатого чальщика, неделю назад изгнанного с работы за ссору с бригадиром.

– А где он живет? – оживился я.

– Вон в том доме.

– Покажешь?

– Не-ет... Меня его мать не любит. Говорит – спаиваю. А моя жена Витька ненавидит. Тоже говорит – спаивает. Диалектика!

В конце концов он объяснил мне, как отыскать Витькину квартиру, и даже подсказал, что звонить нужно двумя короткими и одним длинным, потому что его мать жутко боится воров, но глазка в двери у них нет: кто-то рассказал ей, будто по Мытищам ходит маньяк, который звонит в квартиру и, когда хозяин припадает к стеклышку, бьет в глазок шилом, крича при этом ненормальным голосом: «Спокойной ночи, малыши!»

На условный звонок дверь открыли, но беседовали со мной через цепочку. Сквозь узкую – сантиметра три – щель я мог разобрать лишь то, что это женщина и на голове у нее бигуди.

– Добрый день! – сказал я.

– Я Витькиных долгов не раздаю! – зло крикнула она.

– Я не за долгом...

– А зачем? – испуганно спросила она, и дверь начала медленно закрываться.

– Подождите! Я из стройуправления. Хотим Виктора на работе восстановить.

– А удостоверение у вас есть?

– Конечно! – Я махнул перед щелью, сократившейся до сантиметра, писательским билетом.

– Восстановите! Он же не виноват! – раздался звон отстегиваемой цепочки, что в этом доме, очевидно, означало высшую степень доверия к гостю.

Дверь распахнулась сантиметров на пятнадцать – как раз на длину второй цепочки. Я увидел, что Витькина мать еще сравнительно молодая женщина с белым круглым лицом, тонко выщипанными бровями и пышными формами.

– Вы уж восстановите! – снова попросила она. – Парень-то совсем с круга сбился. Дружки портят. Водка проклятая! А сегодня утром вообще какую-то шушундру в дом притащил – еле выгнала... Жениться собрались. А где тут жениться на двадцати пяти метрах? У меня самый хороший человек есть, непьющий, так я же его в дом не вожу!

– А невесту Надюха звали?

– Зачем мне знать-то? Я, может, сама – невеста!

– А куда же они пошли?

– Мне-то что? Я так и сказала: к себе жить не пущу. У меня тоже хороший человек есть... Пусть живут где знают. С милым рай в шалаше... Так они, наверное, в шалаше!

Возле шалаша сидел, грустно обхватив колени руками, Витек. Кругом валялись несчетные пустые бутылки, грубо испорченные консервные банки, обертки и огрызки, из чего можно было заключить, что в трудные минуты в этом шалаше отлеживается пол-Мытищ. Витек печально смотрел на сгущавшееся вечернее небо.

– А где Надюха? – спросил я.

– Убежала, – грустно ответил он.

– Почему?

– Сказала, что не шалашовка какая-нибудь по шалашам отираться...

– Правильно сказала. А ты потерпеть, что ли, не мог?

– Не мог! – с вызовом ответил Витек. – «Амораловка» проклятая! У меня внутри как помпа работает...

– Пройдет, – успокоил я. – А что она еще сказала?

– Сказала, что не для того с одним алкоголиком разошлась, чтоб с другим путаться. Да еще Наумиха моя со своим лимитчиком: я в дом

не вожу, я в дом не вожу...

– Ты в самом деле на Надюхе жениться собрался?

– Нельзя, да?

– Зацепила?

– Животрепещущая девушка.

– Забудь о ней!

– Уже забыл, – уныло отозвался он. – А ты-то чего приперся?

– Прогуливался и решил тебя проведать...

– Меня тоже всегда с похмелья на воздух тянет, – сознался Витек.

– Стремность какая-то в организме, а походишь – отпускает... Но ты вчера хорош был! В писатели меня заманивал. Помнишь хоть? Телок мне заграничных наобещал... Или передумал? Я тоже однажды доехал до Пополамска и со сварщиком поспорил, что бухгалтершу за задницу ущипну, а утром передумал. Скандальная баба – всегда мне получку трешками выдает...

– И совсем даже не передумал, – внезапно возразил я. – Наоборот. Сегодня и начнем. Все у тебя будет – и деньги, и загранка, и женщины в ассортименте. Но про Надюху забудь! Женщина – это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с накрашенными глазами. Это – образ, стиль и уровень жизни. У тебя появятся такие женщины, что прохожие будут оглядываться... Потому что есть такие роскошные женщины, на которых смотришь и не веришь, что кто-то их раздевает!

– Ага, а одевать я их буду на какие шиши?

– Не волнуйся. У тебя будет слава, а слава и деньги всегда рядом ходят, как алкоголизм и цирроз...

– Ага, а слава откуда возьмется? От сырости?

– Нет, не от сырости. Ты будешь знаменитым писателем! Твое имя будет греметь! Кстати, как твоя фамилия?

– Акашин...

– Жаль.

– Почему это?

– Непронзительная у тебя фамилия. Понимаешь, чтоб люди сразу запомнили, нужно или имя иметь необычное, например Пантелеймон Романов, или фамилию почудней – Чичибабин, скажем... Но еще лучше, когда сразу и имя и фамилия странные. Например: Фридрих Горенштейн. А у тебя ни то ни се: Виктор Акашин... Хорошо хоть, не Кашин. Ужас! С такими данными и в литературу соваться не стоит:

читатель из принципа не запомнит. Я бы на твоём месте взял псевдоним...

– Чего?!

– Как твоё отчество?

– Семенович.

– Семенов. Нет, пошло... А маму как зовут?

– Галина.

– Галин. Нет, не годится. Не фамилия, а какой-то полиэтиленовый тюльпан... А если попробовать по названию города? Так часто делают. Виктор Мытищин. Вообще кошмар... Ладно, оставайся Акашиным. Как-нибудь выкрутимся, сделаем из тебя писателя!

– Ага, а как я буду писателем, если я писать-то толком не умею? Я ж тебе объяснял... Не-е, ничего не получится...

Я медленно обошел вокруг Виктора. Сломал себе веточку и, прицелившись, срубил верхушку у крапивного кустика – х-х-эк!

– Ты меня вчера невнимательно слушал. Я понимаю: «амораловка», влечение – род недуга и так далее. Поэтому повторяю все с самого начала. Допустим, ты не умеешь писать. А кто умеет? Кто?! Хемингуэй застрелился, когда понял, что он всего-навсего раздутый критиками репортеришко. (Х-х-эк! – я срубил еще один кустик крапивы.) Рембо в девятнадцать лет плюнул на стихи и занялся торговлей. (Х-х-эк!) Гоголь понял, что вообще ничего не умеет, и сжег «Мертвые души». (Х-х-эк!)

– А что же мы тогда в школе проходили?

– То, что осталось! Бабель по двадцать раз переписывал каждую страницу. Станет человек, умеющий писать, переписывать по двадцать раз? И ты считаешь, все они умели писать? (Х-х-эк!) И потом, писать тебе не придется. Ты будешь только говорить... Говорить-то ты, надеюсь, умеешь?

– Смотря о чем... Я же ничего не знаю.

– По крайней мере, ты уже знаешь, что ничего не знаешь! А это немало! Те люди, которых ты вчера видел в ЦДЛ, не знают и этого. (Х-х-эк!) Они способны лишь раздувать щеки и повторять десяток-другой заученных фраз. Этим фразам я тебя научу. Это – пустяк. Через неделю о тебе заговорят. Через месяц о тебе начнут писать. – Войдя в азарт, я уже боялся, что Витек откажется от участия в споре, я мобилизовал все свое красноречие. – Через два месяца тебя станут узнавать на улицах.

Через три ты будешь летать на международные симпозиумы в Париж и Ниццу, ездить на собственном автомобиле и, как от мух, отбиваться от таких женщин, по сравнению с которыми твоя Надюха – пособие по сексуальной безработице! (Х-х-эк!)

Я огляделся и обнаружил, что прилично-таки выкосил на полянке крапиву. И еще я вдруг подумал, что теплые черточки и пятна на белой коре стоявших вокруг берез не что иное, как не расшифрованная до сих пор письменность, и с ее помощью природа пытается рассказать нам что-то очень важное, но мы в нашей жалкой суете не понимаем ее великодушного порыва. «Неплохо», – подумал я и решил приберечь эти соображения для «главненького».

Я снова подошел к Витьку:

– Ты все понял?

– Туда-сюда... фифти-фифти.

– Витек, а ты, случайно, английским не владеешь? «О'кей», «фифти-фифти»... А то давай будем всем говорить, что ты сразу на двух языках пишешь, как Набоков?!

– Не-е, – засмутился Витек. – Это у нас на стройке студент подрабатывал. Я и запомнил...

– Ладно, тогда ограничимся великим и могучим. Но все это у нас с тобой получится, если ты будешь делать и говорить только то, что я скажу! Даже спать с теми женщинами, на которых я покажу!

– Нам однохренственно. А Надюха меня еще вспомнит!

– Согласен?

– О'кей – сказал Патрикей!

Я остановился, занеся прутик над маленьким нежно-матовым крапивеночком. Мне вдруг стало его жаль.

– А теперь ты можешь мне задавать вопросы. Любые!

– Любые?

– Любые...

– Зачем тебе-то этот эксперимент?

– Мне?

– Тебе.

Я стоял и разглядывал трогательно-зубчатый крапивный кустик, покрытый серебристо-стрекучими, похожими на младенческий пушок ворсинками. Чтобы ответить на вопрос, я должен был рассказать Витьку все. Про моего неведомого папу, про маму-машинистку,

печатавшую за занавесочкой до глубокой ночи чьи-то кандидатские и докторские и верившую, что когда-нибудь перепечатает и мою диссертацию. Про то, как я сидел перед операцией в ее душной многолюдной палате и она, уже зная, что ей не доведется печатать мою диссертацию, шептала бескровными губами: «По сорок копеек не соглашайся, по сорок копеек за страницу – дорого!» Я должен был рассказать о том, как с третьего раза поступил в университет и как меня любили однокурсники, сынки больших начальников, за то, что я в любое время суток мог достать водку. О том, как однажды после пьяной вечеринки гордая однокурсница, которая настолько мне нравилась, что я боялся дышать в ее сторону, сама напросилась со мной в койку. Она никак не могла залететь от нашего общего приятеля, а ей очень хотелось за него замуж, ибо его папа трудился ректором института торговли. Я должен был рассказать о том, как я принес свою первую повестушку одному класснику на отзыв. Он прочитал, похвалил и даже предложил напечатать ее под своим именем, выплатив мне пятьдесят процентов гонорара.

Я проплакал целую ночь и согласился. Я должен был рассказать ему об Анке, о том, как она, прекрасная и хмельная, хотела вскрыть себе вены маникюрными ножницами, чтобы доказать свою любовь, а через два дня вышвырнула меня, как надоевшего щенка... Я должен был рассказать ему еще тысячу разных – важных и неважных – историй, событий, случаев, без которых жизнь другого человека, других людей всегда кажется утомительной массовкой, фоном твоей собственной жизни, единственной и неповторимой, нежной и трепетной, как вот этот маленький крапивный кустик.

Я должен был объяснить, что, сделав из него, полудурка, знаменитого писателя, я смогу доказать всему миру, но прежде всего самому себе, нечто невероятно важное, такое неподъемно важное, чего не в силах доказать никто. Даже Костожогов... Впервые в бездарной моей жизни я буду не бумагомарателем, сочиняющим полумертвых героев, а вседержителем, придумывающим живых людей! У меня получится. Не знаю как, но получится! Вот оно, мое «главненькое»! А «Масонская энциклопедия» Жгутовича в этом споре такая же никчемная дрянь, как позавчерашний трамвайный билет...

– Значит, ты интересуешься, зачем мне все это нужно? – весело спросил я.

– Ага.

– Не вари козленка в молоке матери его!

– Чего? – оторопел Витек.

– А это первая фраза из тех, что тебе придется запомнить!

И я не стал срубить прутиком бедненького крапивеночка, я просто каблуком вдавил его в замусоренную землю.

7. Огонь, вода и фаллопиевы трубы

7. Огонь, вода и фаллопиевы трубы

Когда я привез Витька к себе домой, он совершенно ослаб: действие «амораловки» закончилось. Я уложил его спать в чуланчик-кладовку, где всегда у меня готова раскладушка для заночевавшего гостя.

– Спи, – напутствовал я. – И пусть тебе приснится, как ты гуляешь по Парижу с самой красивой женщиной. У тебя много денег. Ты знаменит. Спи!

– А можно, я с теми же деньгами по Мытищам гульну?

– Можно.

– О'кей – сказал Патрикей! – отозвался Витек и закрыл глаза.

Потом я решил повторить свой вчерашний трудовой подвиг, хотя в душе подозревал, что это было всего-навсего странным стечением психофизиологических обстоятельств, наподобие того, как испуганный собаками прохожий вспрыгивает на дерево, откуда потом не может слезть. Я махнул граммов пятьдесят настойки, подождал, пока начнется действие и соблазнительные мыслеформы слетятся ко мне, словно воробьи на горбушку. Потом, учитывая свой предыдущий опыт, глубоко вздохнул и по-йоговски задержал дыхание:

Владыкой стану мира я, Лишь только сублимируя.

Однажды, немало лет спустя после всех этих событий, уже став популярным эпиграммушечником, я выступал на товарищеском банкете участников всеэсэнгового семинара психоаналитиков, и там это двустишие имело грандиозный успех. В меня даже влюбилась знаменитая и достаточно хорошо для доктора наук сохранившаяся психоаналитесса, с которой сразу после банкета мы поехали ко мне домой. «Завоеватель! – шептала она всю дорогу, прижимаясь ко мне. – Мой копыеносец!» Мы приехали. Затем был краткий постельный официоз, пресный, как кумырская лепешка, а потом всю ночь она читала мне главы из своего исследования «Незаживающий шрам нарциссизма» и выспрашивала, что я, будучи мальчиком, чувствовал, когда мама обещала мне отрезать палец, если я по обыкновенной детской привычке совал его себе в рот. Больше мы не встречались...

Удивительно, но «амораловка» подействовала – в тот вечер я снова ощутил в себе необъятные творческие силы и снова история шинного завода явилась моему внутреннему взору во всей своей дымной красе. Я потрудился до утра, намолотив страниц сорок. Мог бы стучать дальше, но заболели подушечки пальцев, да и действие «амораловки» подходило к концу. Остатки воображения я решил посвятить Витьку. Пока я работал, мне приходили в голову различные идеи, как превратить его в знаменитость. Должен сказать, наша писательская действительность изобилует случаями, когда слава выбирает и возносит на своих перепончатых крыльях таких умственных заморышей, что просто хочется плакать. Над подобными случаями я много думал, стараясь разобраться в блудливом механизме внезапного, ничем не оправданного успеха, и кое-что понял... Для начала нужно придумать Витьку легенду, как разведчику. Писатели – люди патологически завистливые, они не могут примириться с тем, что рядом с ними, по тем же улицам и переулкам, бродит гений, который учился в соседней школе, а потом работал в соседней редакции. Примирить их с этим фактом способно лишь сознание того, что гений приехал в Москву черт знает из какой глубинки. А еще лучше: родился от колхозницы, собиравшей в лесу грибы и изнасилованной медведем. (Запомнить!)

Конечно, я понимал, что Витек еще не готов к квалифицированному изложению легенды, и рассудил так: если его будут спрашивать, откуда он, разумнее всего с улыбкой отвечать: «Из фаллопиевых труб». Для особенно любопытных я придумал заснеженную красноярскую деревню Щимыти, образовав название, как вы заметили, с помощью перестановки слогов в родных Витькиных Мытищах, которые расположены слишком близко от Москвы, чтобы из них вышел хоть сколько-нибудь стоящий литератор.

Вторая важная проблема – экипировка. Ведь писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос: почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем? Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма – ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие бредут толпы графоманов всех рас и народностей, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной

шкаф. Первое, что бросилось мне в глаза, – торчавшая из кучи тряпья пятнистая штанина, похожая на фрагмент оголодавшей анаконды. Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части, где я по путевке бюро пропаганды читал стихи, посвященные Дню Советской армии.

...И я стою в почетном карауле, Прижав к груди любимый автомат...

Вообще-то сначала у меня было совсем по-другому:

Стою и коченею в карауле — И греет руки стылый автомат...

Но знакомый редактор, таскавший ко мне в квартиру веселых пэтэушниц и волооких продавщиц, строго заметил: такие строчки он напечатать не может, ибо советский солдат одевается государством так тепло и справно, что не может замерзнуть в самый лютый мороз. А сочетание «греет руки» подозрительно напоминает выражение «нагреть руки». Наконец, «стылый автомат» очень смахивает на постылый автомат, а это будет мгновенно отмечено недругами из Пентагона, денно и ночью отслеживающими политико-моральное состояние нашей армии. На вопрос, что же делать, он пообещал слегка поучаствовать в моем тексте. Стихи вышли через две недели в «Литературном еженедельнике» тиражом два миллиона экземпляров, да еще с моей фотографией. Когда я увидел, как он «поучаствовал», то чуть не заплакал. Я даже несколько дней носил темные очки: мне казалось, что вот-вот какой-нибудь военный, меня узнавший, подойдет и спросит: «Ну и где, чудило, твой любимый автомат?» Обошлось...

Я потянул за штанину, внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганый восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдыева, чьи стихи я переводил по подстрочнику: одно время ко мне таскал подружек заведующий отделом поэзии народов СССР, он-то и втянул меня в это, прямо скажем, прибыльное дело. Разумеется, ни кумырского, ни какого другого тюркского, равно как и финно-угорского или романо-германского языка я не знал, но по подстрочнику можно переводить даже с древнеазотского, который, как известно, полностью утрачен. Делается это элементарно. В подстрочнике значит:

У моей любимой щеки, как гранат, Лицо, как полная луна, Тело, как свитки шелка,

Слова, как рассыпавшиеся жемчуга...

Задача поэта-переводчика – следовать, конечно, не букве, но духу оригинала:

Нас с Зухрою луноликой Ночь укроет повиликой...

Помню, Эчигельдыев очень удивился, прочитав этот перевод своих стихов в журнале, так как не знал никакой Зухры и уверял, что повилика в Семиюртинске не растет, он даже не знал, что это за растение. К тому же он обиделся, заявив, что восточные девушки, в отличие от русских профурсеток, по ночам где попадая не шастают, а сидят дома. Однако халат он мне все-таки подарил, ибо публикация в московском журнале для национальных поэтов в те времена была чем-то вроде еще одной звездочки на фюзеляже истребителя. Между прочим, для самого Эчигельдыева эта публикация стала судьбоносной: его заметили и взяли инструктором в Кумырский райком партии. Правда, после этого он окончательно порвал с любовной лирикой и с головой ушел в гражданственность. Его поэма «Весенние ручьи созидания» ждала своего часа на моем письменном столе.

Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориенталистичность. Внимание мое привлекла войлочная шапочка-сванка, подаренная мне грузинским критиком, которого я перепил на Днях литературы в Кутаиси. Мы выступали в винодельческом совхозе, а потом пили молодое вино, закусывая шашлыком и ведя ученую беседу о том, что грузинская культура гораздо более древняя и мудрая, нежели любая иная, а уж тем более русская, что Баратынский в подметки не годится Бараташвили, а если б Ван Гог увидел хотя бы одну вывеску Пиросманишвили, он бы отрезал себе в отчаянии не одно ухо, а два и, возможно, даже – нос! Но сванку, после колебаний, я тоже отверг, опасаясь, что Медноструев примет ее за иудейскую ермолку – тогда конец всем моим замыслам...

Но вот следующую вещицу – черную майку с надписью «LOVE IS GOD» – я решил пустить в дело. Эту майку забыл у меня мерзавец Одуев, которому я за четвертак сдал на две ночи квартиру: его родители, работавшие за границей, как раз в ту пору приехали на побывку, а у него вдруг закрутился роман с рыжей страшенькой американочкой, до такой степени горячо интересовавшейся судьбами социалистического реализма, что идиоту было ясно – помимо статей

об эстетических тенденциях советской литературы, она пишет и аналитические записки для соответствующего отдела ЦРУ. Впрочем, как говорили древние, что внизу, то и наверху, – Одуев тоже наверняка сотрудничал с КГБ, в противном случае хрен бы он оказался в одной постели с представительницей чуждой идеологии. В те времена такая поэтическая вольность могла закончиться печальным извивом судьбы.

Я отложил майку и продолжил тряпичные раскопки. В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закарпатского пастуха. Эту доху я выменял за бутылку московской водки с завинчивающейся пробкой (большая редкость в тех краях), когда летал на Гуцульщину по командировке журнала «Среднее животноводство», где в молочном отделе работал знаменитый Любин-Любченко – теоретик авангарда и практик андеграунда. Иногда он подбрасывал мне работенку – интересные командировки, но совсем не за то, что я разрешал ему водить в мою квартиру женщин. Нет, не за то! Он водил в мою квартиру мужчин.

А та командировка незабываема: Карпаты есть Карпаты! Мы очень хорошо посидели с ребятами-пастухами у костра: они мне полупшепотом рассказывали про Большого Иванку – местного «снежного человека», воруящего у них овец. А я им – про московское метро. В моем рассказе их больше всего поразило, что если в турникет бросить не пять копеек, а пятнадцать, то он тебя в метро не пустит, хотя, казалось бы, ты переплачиваешь. А весть о чудо-автоматах, разменивающих любые монеты на пятаки, повергла их в смятение. Уже засыпая, я слышал их удивленное шущуканье. Меня же поразили в услышанном тот факт, что Большой Иванка таскает не только овец, но иногда и женщин. Более того, «Большой Иванка» – это у гуцулов еще и ласково-уважительное обращение женщины к неутомимому мужчине.

Я положил доху на пол, присовокупил к ней остальное – десантные брюки, майку, – и получился довольно забавный силуэт. Но что-то надо было делать с ногами и головой, без чего, понятное дело, человек неполон. С ногами проще: я достал с антресолей пыльные малиновые полусапоги – их подарила мне Анка в пору нашего взаимного счастья. Вообще-то их купил себе, будучи с писательской делегацией в Амстердаме и польстившись на смешную цену, ее отец – Николай Николаевич Горынин. Но поскольку по программе пребывания на «шопинг» отводился всего час, а у него имелся еще

длинный список, составленный Анкой и ее матерью, он купил сапоги на глазок, не примеривая, боясь потерять время и по возвращении получить внутрисемейную нахлобучку. А у страха, как известно, глаза велики: сапоги оказались тоже велики и ему, и мне. Но вот Витьку, по моей прикидке, они должны были прийтись впору.

С головой дело обстояло сложнее. Широкополую шляпу я отверг с ходу, ибо в ней было что-то извращенно-эстетское, вовсе не подходящее лесному гению из заснеженной деревушки Щимыти. Но и кожаная кепка с пуговкой на макушке, в просторечье «цэдээловка», тоже не подходила Витьку, ибо каждый самонадеянный графоман, срифмовавший за всю свою жизнь четыре строчки, норовил завести себе такую же. Я уже было после долгих колебаний решил оставить Витька простоволосым, но тут мне попала на глаза забытая Анкой теннисная повязка с надписью «Wimbledon». Анка очень прилично играла в большой теннис. Впрочем, почему играла? Она и сейчас играет с разными выпендрилами из дипломатического корпуса. На их сияющих башмаках никогда не увидишь даже капельки грязи. Они мне напоминают ходячих мертвецов, не отбрасывающих тени. (Запомнить!)

Теннисная повязка достойно увенчала мои поиски: вся экипировка теперь лежала передо мной на полу, похожая на человека, по которому проехал асфальтовый каток. С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум – по словам. Слова-то для Витька мне и предстояло придумать. Я заправил в каретку машинки чистый лист бумаги и задумался: в голове ничего не было, кроме уже известной вам фразы про козленка в молоке, слышанной мной от Любина-Любченко.

На составление такого словарного минимума, с помощью которого начинающий гений мог бы свободно общаться с себе подобными, в обычном состоянии у меня могли уйти недели, если не месяцы, – ведь эта дюжина фраз (не больше) должна обнимать все оттенки мысли и чувств, вбирать в себя весь культурологический космос и культурный хаос. Да, задуманное мной было под силу, может быть, лишь великому русскому лингвисту и филологу Александру Ивановичу Бодуэну де Куртенэ! Но «амораловка», видимо, особым образом воздействует на те девяносто процентов нашего мозга,

каковые, по уверениям ученых, спят, точно сурки, всю тяжесть интеллектуального труда спихнув на оставшиеся бодрствовать десять процентов. Вероятно, под влиянием «амораловки» эти «ленивые» проценты просыпаются и начинают вкалывать, как комсомол на строительстве Магнитки... Вскоре я уже бодро стучал по клавишам машинки:

ЗОЛОТОЙ МИНИМУМ НАЧИНАЮЩЕГО ГЕНИЯ 1. Вестимо 2. Обоюдно 3. Ментально 4. Амбивалентно 5. Трансцендентально 6. Говно 7. Скорее да, чем нет 8. Скорее нет, чем да 9. Вы меня об этом спрашиваете? 10. Отнюдь 11. Гении – волы 12. Не варите козленка в молоке матери его!

В итоге на составление лексикона у меня ушло двадцать минут. И все предшествовавшее развитие мировой культуры! Перечитав список выражений, я остался доволен: если б мне посчастливилось вступать в литературу, вооруженным этими двенадцатью фразами, моя судьба могла сложиться совсем по-другому. Впрочем, у меня еще все впереди!

Понятно, что пользоваться столь совершенным орудием общения без инструкции Витек не сможет. И, поразмышляв, напротив каждой фразы я нарисовал, как умел, по человеческой пятерне. Получилось что-то вроде азбуки для глухонемых: каждому выражению соответствовал определенный оттопыренный палец. Сначала, как говорят профессионалы, «задействовалась» правая рука:

«Вестимо» – мизинец.

«Обоюдно» – безымянный палец.

«Ментально» – средний.

«Амбивалентно» – указательный.

«Трансцендентально» – большой.

Далее эстафету принимала левая рука:

«Скорее да, чем нет» – большой палец.

«Скорее нет, чем да» – указательный.

«Вы меня об этом спрашиваете?» – средний.

«Отнюдь» – безымянный.

«Гении – волы» – мизинец.

И наконец, указательный и средний пальцы, выставленные «рожками», или, иначе говоря, буквой «V» (символ нашей с Витьком грядущей победы над силами литературного зла), обозначали двенадцатую фразу: «Не варите козленка в молоке матери его!»

Наблюдательный читатель, конечно, уже заметил, что мной пропущено короткое словечко под цифрой «б» (см. «Золотой минимум»). Все верно! Это словечко в писательском обиходе, особенно при неформальном обмене мнениями о качестве произведений товарищей по перу, используется с наибольшей частотой и выразительностью. Чтобы оградить моего незамысловатого Витька, знающего это слово с малолетства, от соблазна свести все богатство «Золотого минимума» к шестому пункту, я решил поставить на него своеобразную защиту, наподобие той, которую авиаконструкторы называют «защитой от дурака»: напротив соблазнительного словечка я нарисовал сразу две руки с двумя оттопыренными большими пальцами.

Работа была закончена... Но возбужденные девяносто процентов никак не хотели уgomониться. Тогда я заправил в «Эрику» чистую страничку и, пользуясь остаточным действием «амораловки», стал добивать моих шинников. Последняя глава представляла собой задушевную беседу с директором завода. Ее мне пришлось сочинить от начала до конца, потому что диктофонная запись беседы с этим человеком являлась тяжким звуковым свидетельством неравной борьбы руководителя производства с нормами русского языка. А вот на бумаге разговор получился острый, глубокий, искрометный, и в конце директор мне рассказал даже о том, что узоры на белой коре берез, растущих под окнами его кабинета, напоминают ему еще не расшифрованный язык мудрой природы. Ведь она пытается докричаться до человеческой цивилизации, повернувшей свои рубчатые покрывки совсем не в ту сторону...

Окончание работы ознаменовалось звуком спускаемой в клозете воды. Этот звук у нас в доме напоминает нечто среднее между боевым кличем пьяного команчи и заводским гудком, которым в эпоху тотальной нехватки будильников рано утром поднимали на работу окрестный рабочий класс и трудовую интеллигенцию. Я оглянулся: в дверях стоял полупроснувшийся Витек в длинных и цветастых, как у волка из «Ну, погоди!», трусах. В толстых пальцах он механически крутил кубик Рубика – эта разноцветная головоломка всегда лежала у меня в туалете, чтоб не давать восторгоствовать тужащейся плоти над парящим духом. Сегодня кубик Рубика почти забыт, но в те времена гексаэдр с разноцветными гранями был чрезвычайно популярен. А еще в цветные квадратики я вписал весь алфавит, и при вращении буквы

складывались в замысловатые словечки. Как известно, даже самое нелепое буквосочетание что-то да означает. «Абракадабра», например, по-древнееврейски значит «мечи свою молнию даже в смерть!».

– Трансцендентально! – воскликнул я. – Так и будешь ходить!

– Чего? – оторопел Витек.

– Трансцендентально – это хорошо, клево...

– Ништяк, – подсказал Витек.

– Да. Ништяк. Вот так и будешь теперь ходить с кубиком, и если кто-то спросит, зачем тебе он, ответишь: «Ищу культурный код эпохи...» Повтори!

– И-ищу к-культурный код э-э-эпохи... – неуверенно повторил он.

– Не хмурься! Улыбнись!

Витек озарился светлой улыбкой идиота, которому пообещали купить мороженое.

– Нет, не так! Ты не так должен улыбаться.

– А как?

– Как? – Я задумался. – Как...

В этой улыбке должны воссоединиться горечь бытия, мед воспоминаний, дерзость сердца и усталость души... Как? Я улыбнулся так, как мы улыбаемся, если на улице вдруг встречаем женщину, в которую когда-то были безумно влюблены, а теперь увидели ее расплывшейся, увядающей домохозяйкой с набитыми сумками в руках и гирляндой из рулонов туалетной бумаги через плечо.

– Понял?

– Вроде понял, – кивнул Витек.

После нескольких попыток у него получилось нечто подходящее. И тогда я приказал ему одеться.

– В это? – обиделся он. – Я не шаромыжник...

– Да, в это! Одевайся!

– Иди ты знаешь куда!

– Мы же с тобой договорились! Ты выполняешь все, что я тебе говорю!

– Надо мной же смеяться будут, – захныкал Витек.

– Это мы над ними смеяться будем, когда ты премию Бейкера получишь.

– Какую еще премию?

– Как-нибудь расскажу. Одевайся!

Он напялил на себя разложенную на полу одежду – и эффект превзошел самые смелые ожидания: передо мной стояла живая загадка русского национального характера и, тихо матерясь, разминала тесноватые сапожки.

– Разносятся, – успокоил я.

Обойдя Витька со всех сторон и поправив на лбу алую ленточку с надписью «Wimbledon», я отошел на несколько шагов и еще раз осмотрел моего питомца, щурясь и складывая губы гузочкой, как это делают на вернисажах некоторые посетители, подчеркивая таким образом свою причастность к миру искусства.

– Вращай кубик! Энергичнее! Ментально...

– Чего? – переспросил Витек.

– То, что надо, – объяснил я.

– Ты надо мной насмехаешься, что ли?

– Отнюдь...

– Насмехаешься, – помрачнел Витек. – Знаешь, я не хочу быть писателем. Я лучше назад... Бригадир – мужик отходчивый, возьмет. И Надюха тоже вроде не злопамятная...

– Не вари козленка в молоке матери его! – строго сказал я.

Еще вчера утром я бы с восторгом воспринял этот Витькин отказ. Но сегодня нет! Я уже вступил на тропу войны с идиотизмом жизни и смывать боевую раскраску не намерен. Я успокоюсь, только заполучив в руки кровоточащий скальп этой подлой людской несправедливости! Я успокоюсь только тогда, когда вся эта литературная сволочь будет лебезить и заискивать перед простодушным чальщиком, которого я снарядил в гении!

Взяв со стола листочек с лексиконом, я протянул его Витьку:

– Учи слова!

Он принял страничку и, медленно шевеля губами, начал читать по пунктам, оттопыривая при этом указанные в бумажке пальцы.

– Понял систему? – спросил я.

– Вроде понял...

– Давай проверим!

– Давай.

Я показал ему правый мизинец.

– Вестимо, – сказал он.

Я показал ему левый указательный палец.

– Скорее нет, чем да, – неторопливо сверившись с бумажкой, ответил он.

– Хорошо! Но учти: это я сейчас тебе пальцы к самому носу подставляю. При посторонних я буду делать тебе знаки незаметно. Знаешь, вроде как поигрывая пальцами... Давай порепетируем.

– Давай.

Я сел на диван в непринужденной позе и, похлопывая ладонью по подушке-думочке, неожиданно выставил правый большой палец.

– Транс... – скосив глаза в бумажку, забормотал Витек, – транс... детально...

– Транс-цен-ден-таль-но, – по слогам подсказал я.

– Транс... транс... дентентально...

Через полчаса он выговаривал это слово так, точно окончил Оксфорд.

– Молодец! Просто молодец! – подбодрил я. – Но учти: ты должен все это делать без шпаргалки, на память...

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул он.

– А как тебе вообще моя система? – с плохо скрытой гордостью спросил я.

– Говно! – не глядя в лексикон, бухнул Витек.

Я взвился с дивана:

– Запомни раз и навсегда: это слово ты никогда не должен произносить без команды! Никогда! Команда – два больших пальца! Не один, а два. Запомни! Порепетируем. Допустим, тебя кто-то спрашивает: «Виктор, а как вы относитесь к прозе Чурменьева?» Сказав это, я резко выставил вперед два больших пальца.

– Говно! – ответил Витек, почему-то произнося «г» на украинский манер, отчего слово звучало еще обиднее и неприличнее.

– Молодец! – похвалил я и медленно повернул пальцы вниз.

– А это что значит? – спросил он.

– Так римляне приказывали гладиаторам добить жертву. Но это можешь не запоминать – тебе не понадобится. Иди мой руки, будем завтракать!

8. С кем вы, подмастерья культуры?

8. С кем вы, подмастерья культуры?

На следующий день я повез экипированного и обученного Витька в Дом литераторов. В метро пассажиры оглядывали Акашина с недоумением. Из этого я сделал вывод, что одел моего воспитанника именно так, как надо!

Если вы спуститесь в московское метро и доедете до станции «Баррикадная» (революции нужны хотя бы для того, чтобы давать названия станциям и площадям), а потом, поднявшись наверх по эскалатору и оказавшись в городе, повернете налево и пересечете ревущее, пропахшее выхлопными газами Садовое кольцо, то окажетесь в самом начале Большой Никитской, бывшей улицы Герцена. Точнее сказать, вы окажетесь в самом ее конце, ибо начинается она с противоположной стороны, почти от кремлевских стен. А если вы пройдете по улице Герцена буквально несколько шагов, то очутитесь возле массивных дверей, выполненных в министерском стиле пятидесятых годов. Теперь рядом со входом укреплен табличка:

КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Но в ту пору там была другая вывеска:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ИМЕНИ А. А. ФАДЕЕВА

Надо ли объяснять, что, если у тебя нет писательского билета, в этот храм литературы ты просто так не пройдешь! Кстати, первый раз меня провел в ЦДЛ Костожогов, но я только потом узнал, что это был именно он. Я маялся возле дверей и вдруг услышал вопрос:

– Хотите зайти?

Вопрос задал невысокий человек, одетый с той аккуратной заурядностью, которая забывается через минуту, и, если даже следователь по особо важным делам будет тебя потом пытаться, во что же все-таки был одет тот человек, ты никогда не вспомнишь. Впрочем, одна деталь осталась: у него был вытершийся кожаный портфель с ручкой, обмотанной синей изоляционной лентой...

– Нет, я жду друга! – самолюбиво ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. У него было очень странное лицо – пергаментное, нездоровое, покрытое бесчисленными, очень мелкими и как бы ломкими морщинами. Это было лицо ребенка, вдруг узнавшего какую-то страшную тайну и под бременем этой тайны внезапно постаревшего. А вот глаза не состарились и остались яркими-преярыми. Я долго потом не мог понять, кого же он мне напоминает, а потом сообразил. Когда я был школьником, мы ездили с классом в Ленинград и там ходили в Кунсткамеру. Меня страшно поразил заспиртованный в огромной стеклянной банке младенец, у него тоже были серая, почти обесцвеченная, пугающе неживая кожа и широко раскрытые, абсолютно живые, яркие-преярые голубые глаза... Этот младенец потом мне долго снился. (Не запоминать!)

– Да ладно вам, – продолжая улыбаться, сказал Костожогов. – Пойдемте!

Администраторша, увидав меня, бдительно напряжинилась.

– Это со мной! – пояснил Костожогов.

– Вижу! А вы-то кто такой? – сварливо спросила она.

– Я? А, ну конечно... – Он стал, растерянно улыбаясь, шарить по карманам. – Неужели забыл...

На физиономии администраторши уже начало вырисовываться торжество вознагражденной бдительности, но тут Костожогов нашел свой билет.

– Проходите, – разочарованно разрешила она.

Мы вошли.

– Редко бываю. В лицо не узнают. Забыли... – словно извиняясь, объяснил он. – А вы первый раз здесь?

– Да.

– Кофе хотите?

– Хочу.

Мы вошли в буфет, который, как я впоследствии узнал, назывался «Пестрым», потому что стены были разрисованы литературными карикатурами и испещрены разными смешными строчками и эпиграммами.

У поэта Васи Муравлева Не Пегас, а старая корова...

Или:

Если сидишь над романом, пупея, Это уже не роман – эпопея!

Он посадил меня за столик, отошел к буфетной стойке и вернулся через некоторое время, неся бутерброды и поставленные на тарелку четыре кофейные чашечки: в двух был действительно кофе, а в двух других – коньяк.

– Угощайтесь!

Я выпил, Костожогов пригубил.

– Ешьте бутерброды, – посоветовал он, заметив мое смущение. – Стихи пишете?

– Да.

– Дело хорошее. Чтобы научиться понимать чужие стихи, надо обязательно попробовать писать самому. Хотите почитать?

– Хочу! – с вызовом сказал я.

– Читайте...

Минут сорок я, по-дурацки завывая, читал стихи, а он слушал не перебивая: в неудачных местах улыбался с каким-то совсем необходимым сочувствием, а в удачных – вдруг на миг поднимал на меня свои яркие-преяркие глаза, а потом снова упирался взглядом в стол. Наконец я закончил и вопросительно посмотрел на него.

– Недурно. Вы человек способный. Но это ничего не значит. Дорога в ад вымощена не столько благими намерениями, сколько талантами. У человека, обладающего талантом, два пути – он может стать или подмастерьем дьявола, или подмастерьем Бога. Первое проще и доходнее. Второе – почти невозможно. И очень опасно.

– У Бога опасно? – удивился я.

– Да, именно так. Выбирайте!

– А третьей дороги нет?

– Есть, конечно... Не писать.

– А талант, значит, зарыть? – надменно любопытствовал я.

– Вы никогда не задумывались, почему самые красивые женщины уходили в монастырь?

– Почему?

– Потому что лучше зарыть талант в землю, чем распорядиться им неверно. Каждое неверное слово – пуля, выпущенная в чужое сердце. Когда писатель это осознает, он иногда берет револьвер и стреляет в свое собственное сердце... Ну, не расстраивайтесь! Я, наверное, немного сгустил... Вы сюда часто ходите?

– Первый раз.

– Извините, я, кажется, уже спрашивал об этом. Не ходите сюда больше! По крайней мере, до тех пор, пока не поймете, у кого вы хотите быть подмастерьем...

– А вы поняли?

– Понял. Но не сразу. Я очень долго соблюдал нейтралитет. Пытался. Но это долгая история... Если интересно, заезжайте как-нибудь ко мне в Цаплино. Я работаю в сельской школе. Представляете – деревянная, одноэтажная школа, у нас даже звонка нет. Когда наступает перемена, завхоз звонит в большой колокольчик. А возле школы огромный вяз, к которому французы привязывали лошадей, идя на Москву... Представили?

– Неужели еще есть такие школы?

– Есть. Приезжайте.

Он вынул из портфеля тонкую ученическую тетрадку, вырвал листок, написал адрес. Потом встал, пожал мне руку и ушел. Несколько минут я сидел в одиночестве, но тут ко мне подошел странный человек в лоснящейся замшевой куртке и, не отрывая взгляд от недопитого костожоговского коньяка, спросил:

– Вы вновь присовокупившийся?

– Скорее да, чем нет... – растерянно ответил я, не совсем понимая вопроса.

– Поспособствуйте коньячком!

Позже я навел о Костожогове справки и выяснил, что в юности он написал знаменитую поэму об обороне Царицына, и хотя, конечно, в обороне молодой поэт лично не участвовал, вещица удалась и была сразу включена в школьную программу. Автор получил за нее Сталинскую премию и орден. В старых учебниках под портретом так и написано: «Н. Костожогов, поэт-орденоносец». Он был знаменит, богат и страшно плодовит. Его стихи без конца издавали, переиздавали, читали с эстрады, по радио, даже пели... Его дача в Перепискино была самой большой, богатой и хлебосольной. Женат он был на популярной киноактрисе, игравшей в тогдашних фильмах боевых деревенских девушек, которые по ходу сюжета становились то певицами, то летчицами, а то и председательницами колхозов. Рассказывали, что жену ему нашел сам Сталин, предварительно удостоверившись в ее всевозможных положительных качествах. Костожогова прочили на место Фадеева, поскольку тот часто запивал и

не справлялся с многочисленными обязанностями. И вдруг Костожогов исчез. Сначала вообще думали, что его посадили. Но потом выяснилось: нет, однажды утром он ушел со своей перепискинской дачи с чемоданчиком белья и связкой книг и обнаружился через некоторое время в глухом Подмосковье в качестве обыкновенного учителя литературы цаплинской сельской школы. Это классик-то!

Тогда возникла версия, будто он застал свою жену то ли с самим вождем, то ли с кем-то из членов Политбюро, а жена вместо раскаяния, как говорится, рассмеялась ему в лицо. Ничего невероятного в этой версии, конечно, нет, тем более что как раз накануне Костожогову ни с того ни с сего вlepили еще одну Сталинскую премию. Но имеется все-таки некая странность. Жена очень переживала из-за его ухода, ездила к нему в Цаплино, умоляла вернуться, а когда он отказался – с горя запыла, перестала сниматься и через несколько лет умерла. В опустевшую дачу въехал сначала какой-то песенник, а потом – Горынин, как раз прошумевший своей пьесой «Прогрессивка». Потом о Костожогове стали говорить то, что всегда говорят о литераторе, вдруг переставшем печататься, – «испысался». (Как будто писатель – это стержень от шариковой ручки!) Но вдруг в одном неприметном журнальчике появился его маленький рассказ о деревенской жизни, такой по тем временам необычный и вызывающе честный, что, несмотря на неприметность журнала, публикация вызвала целый шквал разгромных статей, а закончилось все снятием с должности главного редактора. Костожогова хотели сначала исключить из Союза писателей за клевету на советское село, даже термин такой появился – «костожоговщина», но потом пошел слух, будто писатель из-за жизненных обстоятельств попросту тронулся умом, и его оставили в покое. С тех пор он нигде не печатался и только изредка бывал в Москве. Говорили, он приезжал на могилу жены, похороненной на Новодевичьем, и по старой памяти раз или два в год появлялся в ЦДЛ. Видимо, в один из таких приездов я его и встретил.

Честно сказать, разговор с ним произвел на меня такое сильное впечатление, что я решил последовать его совету: перечитал свои стихи и даже сжег больше половины. Я как раз собирался поехать к нему в Цаплино, чтобы своими глазами увидеть звонящего в колокольчик завхоза и вяз, к которому французы привязывали лошадей, но тут объявился Одуев и сообщил, что у него есть два

билета на вечер «Поэты – флоту». Он предлагал, воспользовавшись билетами, пройти в ЦДЛ и хорошенько пообщаться... Я согласился. Когда мы все прилично набрались, я завел речь о Костожогове и о том, чьими подмастерьями мы все собираемся стать... Что же тут началось! Закусонский ржал, бодая меня в грудь головой. Одуев хохотал, вытирая слезы рукавом и приставляя к голове «рожки». А Неонилин, тонко улыбаясь, заметил, что исписавшиеся старперы любят морочить молодых конкурентов разговорами об ответственности писателя перед человечеством. Как известно, больше всех боятся заразиться венерической болезнью импотенты! На что пьянехонький Жгутович заметил: хотя он и не импотент, но тоже боится – из-за жены. Я поначалу обиделся и хотел даже уйти, а потом стал смеяться вместе с ними: какие, к черту, подмастерья! Наливай и пей.

В общем, к Костожогову я не поехал. А бумажку с адресом потерял – наверное, выронил где-нибудь...

С тех пор я стал ходить в ЦДЛ постоянно. И хотя, конечно, никто больше не предлагал провести меня внутрь, существовала масса способов перехитрить бдительных администраторш. Например, если дело происходило вечером, ближе к семи, можно было купить или даже просто выпросить пригласительный билет на встречу с каким-нибудь маститым автором или, скажем, на круглый стол «Образ передового рабочего в поэме семидесятых». Но, предъявив приглашение бдительной и очень скандальной старушке-администраторше, я шел, конечно, не в зал направо, а в буфет или ресторан – прямо, где и находил своих товарищей по литературному поколению, проникших сюда подобным же образом чуть раньше, но уже успевших напиться до состояния буйного самоуважения...

Сложнее, конечно, было попасть в Дом литераторов днем, когда буфет и ресторан уже работали, но в кабинетах и коридорчиках еще кипела литературно-административная жизнь, напоминавшая суету бригады реаниматоров вокруг коченеющего тела – назовем это тело для простоты социалистическим реализмом. (Не путать с русской литературой!) Но вот днем-то вас сразу же останавливали на пороге и строго спрашивали: «Ваш писательский билет!» Это теперь я гордо взмахиваю перед носом администраторши красной корочкой, а тогда я использовал массу уловок. Порой я просто называл фамилию кого-то из поэтов-бильярдистов, с самого утра толкавшихся с киями

наперевес, играя в «американку». Но чаще я караулил, выглядывая из-за угла, пока в Дом не заглянет какой-нибудь известный мне литератор, например знаменитый менестрель-шестидесятник Перельгин, исполнявший свои баллады не под гитару, как другие, а под виолончель, каковую всегда носил с собой. Он заходил в ЦДЛ почти каждый день, если, конечно, не был в заграникомандировке, и я всегда с нетерпением ждал появления этого великого человека, намурлыкивая про себя его знаменитую балладу «Принцесса и комиссар», на которой все мы выросли:

Принцесса вздохнула: ну, что же вы! Принцесса вскричала: ну, что же вы! Принцесса взмолилась: ну, что же вы! Такой неуклюжий и кожаный...

Когда мы в университетской общаге под гитару вполголоса пели эту балладу, то чувствовали себя страшными вольнодумцами, чуть ли не антисоветчиками, ибо отлично понимали, кого автор имеет в виду под «зеленоглазой егозой принцессой» и, «как черт, кудрявым комиссаром с большим наганом на боку». Перельгин, между прочим, был племянником наркома Первомайского, погибшего вместе с командармом Тягиным при странных обстоятельствах в тридцать восьмом году. Их автомобиль упал в Яузу.

Впрочем, особое уважение мыслящей общественной прослойки замечательный менестрель снискал не виолончельными балладами и даже не своим родством с утопшим наркомом, а совсем другим способом. Когда Хрущев однажды вызвал к себе советскую творческую интеллигенцию и стал на нее кричать, топая ногами, у Перельгина на нервной почве случилось расстройство желудка: ему казалось, Никита Таврический гневно смотрит и орет конкретно на него. Менестрель стремглав выскочил из зала, что было воспринято потаенной общественной мыслью как безумный в своей отваге протест против грубого вмешательства партии в художественно-творческий процесс. А Хрущев даже крикнул ему вдогонку: «Ага! Ну и вали к своим империалистам!» Об этом смелом поступке отважного менестреля писала тогда вся западная пресса. Потом, конечно, Перельгин в длинном покаянном письме в ЦК объяснил подлинную причину своего выбегания из зала – и был прощен. Но общественность о письме не узнала, и оно долгое время хранилось в спецшкафу у Горынина, где я, пользуясь почти родственными отношениями, его

нашел и прочитал, буквально захлебываясь слезами разочарования. Знаете, так мальчик растет, уверенный, будто его папа погиб, дрейфуя на льдине, а потом случайно узнает, что родитель просто удрал с чужой тетей... (Образно, запомнить!)

Итак, дождавшись Перельгина, я минут через пять входил следом, называл его имя, объясняя бдительной старушке, что мне назначено время и я принес стихи, чтобы показать классику. Обычно это срабатывало, и меня пускали. Но однажды я жутко опростоволосился. Мой любимый менестрель не пришел: пел, должно быть, за рубежами, и я наобум назвал администраторше имя известного поэта-бильярдиста, который всегда был на месте, при своих шарах. Старушка вдруг зарыдала и сообщила, что панихида уже закончилась, тело увезли, но если я потороплюсь на Ваганьковское кладбище, то, наверное, успею проститься с покойным. Если не считать этого печального случая, описанный способ проникновения в ЦДЛ срабатывал довольно долго, до тех пор, пока компания молодых поэтов, заспорив о сравнительных достоинствах точной и ассонансной рифмы, не устроила классическую салунную драку с битьем посуды и разламыванием казенных стульев о головы оппонентов. С тех пор никакие ссылки на классика, назначившего тебе в ЦДЛ встречу, а тем более на какого-нибудь бильярдиста, не помогали. Пришло время искать новые подходы.

Я отрастил бородку-шотландку и стал канать под корреспондента Би-би-си, на ломаном русском языке объясняя, что должен... well... взять интервью... well... у одного писателя... okay? Называл я обычно фамилию того, чьи главы или заявления недавно читались по радио «Свобода»: за этим я специально следил. В глазах старушки, которая тоже, конечно, слушала радио «Свобода», вспыхивал огонек неистребимого русского инакомыслия, и, заговорщицки подмигнув, она меня пропускала. Это продолжалось довольно долго, пока не появилась одна новенькая старушка, как потом выяснилось, до пенсии преподававшая в школе английский. Она очень обрадовалась возможности пообщаться с природным британцем и обратилась ко мне на языке Байрона. Но я, не знавший в ту пору английский вообще, а немецкий – согласно школьной программе на уровне «майн брудер ист тракторист», несколько секунд растерянно хлопал глазами, а потом,

сообразив, завопил: «Это есть провокация! Well... Вы из кей-джи-би!.. Окау!» И убежал...

После этого происшествия мне пришлось сбрить бороду и освоить новый способ проникновения в Дом литераторов. Справедливости ради должен сказать, что способ этот придумал не я, а писатель Гуськов, который, потеряв по причине похмельной забывчивости свой писательский билет вместе с партийным, не спешил сознаваться: он боялся, что его тут же с радостью вычеркнут из очереди на новую квартиру. Опасения его были не напрасны, ибо в те времена, о которых идет речь, лучше было потерять все – здоровье, близких, память, невинность, совесть, чувство реальности, но только не партбилет. Потерю он скрывал довольно долго, а чтобы беспрепятственно проходить в ЦДЛ, обыкновенно надвигал кепку на глаза и скрипучим голосом говорил администраторше: «Я шофер писателя Гуськова». И его беспрекословно пропускали. Подсмотрев, я стал тоже выдавать себя за шофера Гуськова, а в ответ на удивленное замечание, что вчера-де был совсем другой шофер, я разъяснял, что у писателя Гуськова целых два водителя, работающих посменно – через день. Таким вот образом я довольно долго свободно захаживал в ЦДЛ в любое удобное время, пока однажды, в приливе снисходительной откровенности, не рассказал об этом хитром приеме своим безбилетным друзьям-поэтам, все еще продолжавшим выклянчивать у дверей лишнее приглашение на дискуссию «Положительный герой как социально-философская категория». Через неделю каждый второй человек, заходивший в ЦДЛ, представлялся шофером писателя Гуськова, и администраторши охрипли, в изнеможении стыдя и выгоняя бесчисленных самозванцев. Хуже всех пришлось самому писателю Гуськову, которого увез вызванный к месту скандала наряд милиции. На допросе он во всем сознался и написал в инстанции чистосердечное заявление о безнадежной утрате как партийного, так и писательского билетов. С ним обошлись на удивление мягко: по партийной линии вкатили «строгач», а по литературной – сильно пожурили на предмет недоброго примера, подаваемого творческой молодежи, но из списков очередников на жилье не вычеркнули, хотя квартиру дали не в Центре, как остальным, а черт-те где, с окнами на Окружную дорогу.

Впрочем, к тому времени, когда писатель Гуськов въезжал в новую квартиру, молчаливо посылая проклятия в адрес того, что впоследствии было названо командно-административной системой, у меня уже не было необходимости прикидываться то британцем, то инспектором пожарной охраны, то ревнителем рабочего романа – к тому времени я обрел собственный писательский билет. Я получил его благодаря Анке, точнее, благодаря ее отцу – Николаю Николаевичу Горынину, автору знаменитого, вошедшего во все учебники, антологии и переведенного на все сущие языки романа «Прогрессивка» («Progressivka»). До прихода в литературу Николай Николаевич работал начальником цеха на мебельной фабрике.

Я уже точно не помню сюжета, но, кажется, там шла речь о том, как рабочие, возмущенные тем, что администрация не желает модернизировать производство, но составляет липовые отчеты о несуществующем росте производительности труда, сначала отказываются от очередной прогрессивки, а потом, поорав, деньги берут, складываются и покупают на них новый станок с цифровым управлением. С таким же успехом они могли купить и баллистическую ракету. Но на эту невероятную в условиях системы жесткого распределения ресурсов развязку никто не обратил внимания, ибо у социалистической организации производства свои законы, а у искусства социалистического реализма – свои. Но, возможно, отец Анки проявил тут свойственную иным редкостным художникам способность заглядывать в будущее: ведь теперь, сбросившись, можно купить и станок с цифровым управлением, и баллистическую ракету, и даже завод, производящий эти самые ракеты...

По роману «Прогрессивка» было снято два фильма, поставлены куча спектаклей, опера, оперетта, балет и мюзикл. Горынин постоянно ездил за границу – туда, где выходил очередной перевод романа, осуществленный каким-нибудь прогрессивным издательством, симпатизировавшим, не задаром разумеется, Стране Советов. Он получил с полдюжины премий «За оригинальность темы» в основном в тех странах, где проблема производительности труда совсем ушла из поля зрения художников слова, в своем большинстве сосредоточившихся на сексуальных аномалиях криминального характера.

Больше Николай Николаевич ничего не написал, если не считать передовых статей и докладов: он был третьим лицом в Союзе писателей, и у него просто не оставалось времени, так как руководство литературным процессом – дело трудоемкое и чрезвычайно нервное. Думаю, руководить табуном мустангов, мчащихся по прерии, намного легче. Он ездил на черной персональной «Волге» и был на «ты» с ответработниками ЦК партии, включая видного идеолога Журавленко. Сосредоточенный на руководстве литературным процессом, о наших с Анкой отношениях Горынин не имел никакого представления. И вот однажды, засидевшись допоздна в ресторане, мы поехали к ней. Она сказала, что родители на даче, а в отцовском домашнем баре полно выпивки. Они жили в большом, затейливо выстроенном доме с консьержем, похожим на переодетого оперативника, и удивительным лифтом: на стенках не было ни единой, даже самой простенькой неприличной надписи. До посещения Анки я привык делить квартиры на две категории: обычные, размер и конфигурацию которых понимаешь, стоя еще на пороге. И прочие, встречавшиеся гораздо реже, размеры и конфигурация которых для стоящего на пороге человека остаются некоторое время загадкой. Но планировка и размеры квартиры, куда привезла меня Анка, остались для меня тайной даже после того, как я проплутал по ней добрых полчаса.

Анка обожала вести долгие разговоры о смысле взаимоотношений двух полов, сидя со мной в горячей ванне, – а она у них оказалась в два раза больше, чем в моей квартире, да еще стены были выложены керамической плиткой с фривольными картинками. Там нас и застал Николай Николаевич, случайно заехавший домой. Когда он открыл дверь ванной комнаты – мы ныряли...

– Моешься, дочка? – спросил он, не замечая меня, словно я был большой губкой, сделанной в форме голого мужчины.

– Уже выхожу, папа! – невинно ответила она, нехотя вылезла, накинула халатик и отправилась вслед за отцом.

Лежа в теплой, пахнувшей хвоей воде, я слышал весь их разговор, так как дверь была прикрыта неплотно.

– Я же просил – домой не таскать! – устало возмутился отец. – В доме столько дорогих вещей!

– Извини, папочка. Мы заехали выпить...

– Ты же обещала не пить!

– Прости, папочка, мы чуть-чуть...
– Коллекционное бордо не трогали?
– За кого ты нас принимаешь?
– Знаю за кого... Шабли шестьдесят восьмого кто в прошлый раз выдул?!

– Ты же знаешь, мы по ошибке...
– По ошибке... Что хоть за парень?
– Знакомый...
– Ну, хоть знакомый в этот раз – уже легче... Просто так или серьезно?

– Вроде серьезно...

– Тогда знакомь!

Мне пришлось тоже вылезти, обернуться большим полотенцем и представиться.

– Где-то я тебя, парень, видел, – задумался Горынин.

В своих свежееотпущенных бакенбардах и массивных импортных очках он напоминал ученого енота.

– В ЦДЛ. Я поэт.

– Ну да, у нас теперь любой, кто хоть раз до блевотины в ЦДЛ нажрался, поэт. В наше время не так было...

– Папочка, в ваше время нужно было нажраться два раза, – заметила Анка.

– Я, между прочим, первый раз по-настоящему напился, когда мою «Прогрессивку» в Отчетном докладе съезду партии похвалили! – гордо сообщил Горынин.

– С горя? – спросила Анка.

– А-а-а! – махнул рукой отец. – Все бы вам насмешничать! Донасмешничаетесь когда-нибудь, плакать захочется... Печатался хоть где-нибудь, поэт? – Он пренебрежительно глянул в мою сторону.

– У него даже книга вышла! – важно сообщила Анка.

– Книга? – Николай Николаевич был искренне удивлен, потому что ни разу не водил в мою квартиру девочек. – Книга... Ишь, пулеметчик какой! Тогда давай к нам – в Союз писателей!

– У меня заявление не приняли.

– Почему?

– Сказали, одной книги маловато.

– Что значит маловато – у меня тоже одна книга. И у Грибоедова – одна! И у Гомера одна... Нет, у Гомера – две... Ишь, буквоеды, – одна книга... Не переживай – проконтролируем. Ладно, я поехал... Плещитесь! Мы тоже с женой поплескались, поплескались, а потом и зарегистрировались.

Через две недели я получил новенький, пахнувший краской писательский билет и побежал хвастаться к Анке.

– Поздравляю! – сказала она. – Но я больше люблю безбилетников...

Вскоре она вышвырнула меня из своей жизни, как надоевшего щенка.

9. Первый бал Витька Акашина

9. Первый бал Витька Акашина

Итак, мы вошли в Дом литераторов. Я провел Витька, небрежно взмахнув перед носом бдительной администраторши своим новеньким писательским билетом, для сохранности обернутым тонким целлофаном.

– Этот со мной!

– Издалека, наверное? – спросила старушка, уважительно оглядывая странно одетого парня.

Я незаметно показал ему правый мизинец, и Витек ответил:

– Вестимо...

Не зря мы тренировались почти два дня! У входа в ресторан я остановился и осмотрел помещение, как полководец осматривает на рассвете еще мирное, покрытое парным туманом поле, которое через несколько часов будет завалено окровавленными трупами и искореженным металлом. (У кого-то уже было, но все равно запомнить!) Должен заметить, ресторан у нас красивый – отделан мореным дубом, освещен огромной хрустальной люстрой, есть даже большой камин. Витек заробел, точно очутился здесь впервые: в прошлый раз зал был переполнен, скрыт в клубах табачного дыма, вибрировал от пьяного гула. Злые официанты с тяжеленными подносами, шипя на попадающихся под ноги посетителей, метались по залу, как куски масла по раскаленной сковородке. Другое дело сейчас: почти безлюдно, если не считать нескольких занятых столиков, где чинно шелестят серьезные разговоры. Официанты, похожие на шабашников, которым вовремя не подвезли раствор, бесцельно бродят от одного пустого столика к другому, поправляя таблички «Стол заказан». Почти сразу, что бывает только днем, к нам подошла суровая метрдотельша и, сняв табличку с одного из столов, разрешила сесть. Я больше чем уверен, если б мы сели за этот же стол, но без ее ведома, нас тут же согнали бы, строго проинформировав, что место зарезервировано для делегации объединенного союза зулусских писателей.

Мы сели, Витек отложил кубик Рубика и углубился в меню, иногда отрываясь и спрашивая, что же это такое, например, расстегаи, если они до смешного напоминают неприличное слово. А я продолжал внимательно изучать зал, проверяя первую реакцию на наше появление. На почетном месте, возле камина, обедал с двумя иностранцами Чурменяев и, судя по доносившимся обрывкам разговора, объяснял им весь кошмар существования художника в условиях тоталитаризма. Заметив нас, один из иностранцев удивленно поднял брови, но в ответ Чурменяев бросил что-то пренебрежительное. Сволочь! Неподалеку от автора «Женщины в кресле», полуприкрывшись свежим номером «Литературного еженедельника», с профессиональной чекистской рассеянностью пил минеральную воду плечистый парень из «наружки».

В другом конце зала дрожащими вставными челюстями пережевывала салат «оливье» знаменитая Ольга Эммануэлевна Кипяткова. Если составить антологию стихотворений, которые посвятили Кипятковой добивавшиеся ее расположения поэты, это будет увесистый том. Впрочем, если собрать стихи поэтов, добившихся ее расположения, выйдет двухтомник. Любопытно, что с возрастом ее интерес к молодым мужчинам не исчез, а лишь прихотливо видоизменился, о чем в литературных кругах ходили возбуждающие слухи. Приметив нас, она бросила на Витька туманный взгляд заждавшейся морячки. Ага!

Ближе к проходу старательно обедала известная литературная семья Свиридоновых. Это была абсолютно замкнутая эстетическая система: отец сочинял бесконечные романы, нудные, как завывания ноябрьского ветра. Жена писала на них восторженные рецензии под псевдонимами. Сын, драматург, делал инсценировки по этим романам и осаждал театры, требуя немедленной постановки. А заневестившаяся дочка, белесая оплошность генетики, обложившись словарями, переводила эти романы на основные зарубежные языки и рассылала по западным издательствам. Вся семья поглядела на Витькину надпись «LOVE IS GOD» с таким откровенным равнодушием, что не оставалось никаких сомнений: вечером на семейном совете наше появление будет подвергнуто самому тщательному и всестороннему обсуждению.

Неподалеку от них широко обедал писатель Медноструев – бородатый человек в хромовых сапогах и тонких золотых очках. Он встретил наше появление тяжким взором, полным неизбывной обиды за обманутый евреями доверчивый русский народ, и даже сплюнул через левое плечо.

Заметил я и Закусонского, но он только глянул на нас и пренебрежительно отвел глаза, как опытная путана отводит глаза от задыхающегося пузанчика, с елкой на плече торопящегося домой.

Наконец, за резной колонной, в так называемом секретарском уголке, ответственно питались двое: Николай Николаевич Горынин и видный цековский идеолог Журавленко, худой, востроносый человечек, похожий на честного ревизора из нудного советского теледетектива, разоблачающего подпольных цеховиков, которые строчат из государственного сырья левые модные панталончики. Счастливый мир, где самое страшное преступление – ограбление сберкассы и где даже матерый уголовник безнадежно сникает под пристальным взглядом прокурора! Туда бы теперь – отдохнуть...

Журавленко и Горынин ели очень серьезно, видимо обговаривая между блюдами актуальные вопросы литературной политики. Ситуация в ту пору была непростая: вкусы и пристрастия нового генсека с большим кисельным родимым пятном на лбу покуда никак не проявились, и оставалось не ясно, куда он загнет салазки стране в целом и литературе в частности. Поэтому главная мудрость идеологических работников в этой обстановке заключалась в том, чтобы не кукарекнуть прежде времени!

А у самого прохода, аккурат на сквознячке, рискуя, что на их головы официанты уронят солянку, сидели четыре мужика, одетые в немодные, подзалоснившиеся костюмы и галстуки такой неутешительной расцветки, что даже при советском дефиците они висели во всех галантерейных магазинах вечной бахромой. Мужики говорили что-то о поставках и недопоставках, о квартальных и годовых планах, о «налике» и «безналике», о других вещах, чуждых и даже смешных творческому уху. Если бы кто сказал мне в тот миг, что буквально через два-три года эти занюханые барыги, эти серые деловые мыши превратятся в миллионеров, летающих похмелиться на Канары и покупающих дома в лучших районах Лондона, я бы расхохотался и ответил: мой милый, вы ошиблись, семинар сказочных

фантастов закончился на прошлой неделе и победила новелла, в которой Красная Шапочка трактуется как человек нашей расы, серый волк как представитель тупиковой, агрессивной ветви эволюции, а лесорубы – как пришедшие на выручку к нам из космоса Братья по разуму...

– Прикинь, жратва под названием «тёща»! – заржал Витек.

– Не «тёща», а «тёша», – поправил я.

– Однохренственно, – ответил мой питомец и продолжил изучение меню.

Тем временем Чурменяев начал громко рассказывать зарубежным коллегам о новом течении в русской поэзии – «контекстуализме», главный эстетический принцип которого сформулировал знаменитый Любин-Любченко: «Каков текст – таков контекст». Это новое дерзкое направление каждой строчкой, каждой рифмой, каждой метафорой бросало непримиримый вызов советской действительности. В качестве подтверждения Чурменяев нарочито громко, злоумышленно посматривая в сторону обедавшего начальства, продекламировал известные строки Одуева:

Как ныне собирается Вещий Олег К сисястой хазарке на буйный ночлег!

Николай Николаевич и идеолог Журавленко многозначительно переглянулись, на их лицах мелькнуло сложное чувство, его, несколько упрощая, можно выразить так: разрешат – убьем, а пока живи, гаденыш! Плечистый парень из «наружки» шумно перелистнул страницу «Литературного еженедельника», достал из кармана портсигар и положил его на край стола.

Вопреки моим ожиданиям, особого внимания никто на нас не обращал – не помогал даже вызывающий наряд Витька. Но тут, к счастью, появился обходчик Гера. Говорят, много лет назад его привел в ЦДЛ Михаил Светлов. Они познакомились в утренней очереди за вином, разговорились, и Гера пожаловался на ужасное самочувствие, а все потому, что вчера он умудрился смешать в своем бедном организме портвейн, водку, красное сухое, коньяк и тройной одеколон... «Разве можно мешать напитки!» – изумился Светлов. «Я эклектик», – грустно молвил Гера. Этот ответ привел знаменитого остроумца в восторг, он потащил нового знакомого обедать в ЦДЛ, всем его представлял и восторженно пересказывал их диалог в очереди за вином. С тех пор

они не расставались, но Светлов к тому времени был уже неизлечимо болен и грустно шутил с официантками: «Принеси ты мне, голубушка, пива, а вот раков не надо, рак у меня уже есть». Он вскоре умер, но Гера так и остался существовать при ЦДЛ, как приبلудный кот, который вроде бы никому не нужен, но и выгнать жалко – привыкли... Жил он тем, что ежедневно медленно и печально обходил ресторанные столики, останавливался возле каждого и спрашивал бесцветным голосом: «Жрете, яствоеды?» При этом он смотрел на стол с таким выражением, будто имел серьезное намерение плюнуть кому-нибудь в тарелку. Ему тут же наливали, намазывали бутербродик, бегло интересуясь здоровьем и прочими совершенно неинтересными мелочами. Гера молча принимал дань, выпивал, закусывал и, смягчившись, уходил от стола, бросая вполне дружелюбно: «Благодарствуйте, чревоугодцы!»

В отличие от пошлых ресторанных пристава и халевщиков, Гера никогда без многократного приглашения к столу не присаживался и разговоров о литературе не заводил. Называл он себя скромно обходчиком. А когда его кто-нибудь спрашивал, согласен ли он с тем, что Мандельштам недостойно пьет воду, в которой вымыл ноги Есенин, Гера пожимал плечами и отвечивал: «Не ведаю. Мое дело – обход». И зимой, и летом он ходил в одних и тех же вытертых джинсах и замшевой курточке, залоснившейся до такой степени, что, глядясь в ее обшлага, можно было бриться. Кроме всего прочего, Гера был переносчиком новостей.

Осмотрев зал, Гера, как я и предполагал, двинулся в нашем направлении: официант к тому времени уже принес нам триста граммов водочки, селедку и тарталетки с чесночным сыром. Пока он расставлял все это, я заказал то же самое и для Геры. Прикинув будущий счет, точнее, «приговор», я решил, что, если оставлю свои «командирские» часы в экспортном исполнении под залог, уйти удастся без скандала. Особенно меня это не беспокоило, так как за историю шинного завода мне кое-что причиталось, а до этого можно было попытаться урвать в правлении материальную помощь. Огорчало другое: часы мне дала Анка после той первой ночи, которую мы пробезумствовали, точно два погибающих мотылька, нанизанных на одну сладостно-смертельную булавку. Анке же часы достались от отца, который, в свою очередь, получил их в подарок от командира

Таманской дивизии, где его роман «Прогрессивка» знали и любили. На тыльной стороне была выгравирована петлистая надпись: «ОТ БЛАГОДАРНОГО ЛИЧНОГО СОСТАВА». Принимая утренний подарок от Анки, я вспомнил, что уже видел именно эти часы на запястье у сына идеолога Журавленко. Сын окончил МГИМО, переводил ради удовольствия Генри Миллера и даже бывал на наших сборищах. Он собирался в длительную заграничную командировку в Лондон, а Анка собиралась за него замуж и спешно доучивала английский. «Жизнь дается только один раз, и прожить ее нужно там...» – любила говорить она. Но во время одной шумной цедээловской пьянки, буквально за неделю до свадьбы, жених неудачно сравнил «Прогрессивку» с «Тропиком рака». Анка вызвала его из-за стола и отвела за колонну. Вернулся он с отбитой щекой и без «командирских» часов. В тот вечер Анка уехала со мной...

Гера подошел и уставился на закуски.

– Жрем! – не дожидаясь вопроса, признался я. – Садись!

– Не имею подобного обыкновения, – глухо ответил Гера (с некоторых пор он почему-то стал изъясняться в стиле начитанного русского мастера).

– Да ладно, пообедай с нами!

– Благодарствуйте. – Он сел и сосредоточился.

Я разлил водку и предложил выпить.

– Во здравие! – кивнул Гера и поднял рюмку, оттопыривая мизинец.

– Отнюдь! – брякнул передрессированный Витек, непроизвольно отреагировав на Герин правый мизинец.

Я укоризненно посмотрел на Акашина – он виновато потупился. Выпили, перевели дух, потеплели взорами и закусили селедочкой. Я сделал Витьку незаметный знак, он, с облегчением отложив вилку и нож, серьезно осложнявшие ему прием пищи, взял в руки кубик Рубика и, задумчиво уставившись в пространство, начал со скрипом поворачивать грани. Принесли борщ. Витек быстро выхлебал и снова вернулся к кубику. Гера ел степенно, показывая, что его эти странные манипуляции с гексаэдром, испещренным буквами, абсолютно не волнуют, однако было заметно, что любопытство в нем накапливается, как мышьяк в локонах злодейски отравленного Бонапарта. Дожевывая

котлету, он наклонился ко мне и, показав глазами на Витька, тихо спросил:

- Кто сей отрок?
- Гений, – вяло отозвался я.
- А кубик почто?
- Ищет культурный код эпохи...

Гера некоторое время сидел с непрожеванным куском во рту, соображая, потом сказал:

- Ищите и обряцете...

Выпили еще по чуть-чуть. Гера закусил хлебными крошками, которые тщательно смел со скатерти себе в горсть. Потом он неожиданно повернулся к Витьку и спросил:

- Откель же ты таков?
- Из фаллопиевых труб... – отлично среагировал Витек, продолжая вращать кубик.

- Сочинительствуешь? – начал помогать Гера.

Я незаметно оттопырил большой левый палец.

- Скорее да, чем нет! – бодро ответил Витек.

- К славе взревновал? – продолжал допрос Гера.

– Скорее нет, чем да, – молвил Витек, быстро скосив глаза на мою руку.

- Трудненько будет!

– Амбивалентно, – озвучил движение моего правого указательного Витек.

- А испепелиться не боишься?

– Вы меня об этом спрашиваете? – удивился Витек, сверившись с моим дрогнувшим левым средним.

Гера невольно проследил направление его взгляда, но я забарабанил пальцами по скатерти, как бы отбивая популярный эстрадный ритм, а выражением лица продемонстрировал полную мысленную отдаленность от происходящего за столом.

– А испепелишься – тоже в обходчики пойдешь? – вдруг скрипуче-ревнивым голосом спросил он.

Расчет мой оказался абсолютно верным: Гера заволновался, почувствовав в Витьке потенциального соперника в борьбе за дармовую рюмку с закуской. Я стал соображать, как достойнее всего

ответить на этот вопрос, – и повисла многозначительная пауза. Наконец я принял решение и незаметно показал Витьку «рожки».

– Не вари козленка в молоке матери его! – торжественно отреагировал он.

Гера от уважения помертвел. Потом посмотрел мне в глаза. Я выдержал взгляд, и он понял, что ему нужно делать, чтобы Витек никогда не стал его конкурентом. Он поднялся из-за стола, аккуратно промокнул салфеткой свои розовые губы и молвил:

– Благодарствуйте за снесь и пиво. Счастливо оставаться. Оповещу в лучшем виде...

– Покендра! – махнул ему рукой Витек, но, поймав мой недовольный взгляд, смутился.

Впрочем, Гера уже повернулся к нам спиной. Принесли кофе. Ужасный. Если ложку растворимого кофейного порошка бросить в ванну с горячей водой, напиток, полагаю, вышел бы лучше. Прихлебывая и морщась, мы наблюдали, как Гера продолжал свой традиционный обход. У каждого столика ему наливали и, очевидно, расспрашивали о нас. А судя по тому, как энергично головы стали поворачиваться в нашу сторону, Гера делал все возможное и невозможное, чтобы заинтересовать Витькиной персоной литературную общественность. И лишь деловые мужики не стали Геру ни о чем расспрашивать. Они налили обходчику полный фужер водки, потом, поплевав на купюру, приклеили к его лбу двадцать пять рублей и проводили дальше. Мимо секретарского уголка, зная субординацию, уже пошатывающийся Гера хотел пройти не останавливаясь, но его приблизили и хотя, конечно же, ничего не налили, тоже о чем-то спросили. Парень с «Литературным еженедельником» ему тоже, кстати, ничего не налил, но по-свойски угостил сигареткой, которую достал не из портсигара, а из обыкновенной пачки.

Дальше была моя очередь. Я приказал Витьку никуда не ходить, а сам встал из-за стола и, сопровождаемый любопытными взглядами обедающих, вышел из зала. Прежде всего я направился к строгой метрдотельше, которая на электрическом калькуляторе проверяла кипу накладных, а потом перепроверяла при помощи деревянных конторских счётов. Я виновато сообщил ей, что оставил бумажник в другом пиджаке, что деньги занесу днями, и снял с руки часы. Она посмотрела на меня уничижающе, молча выдвинула ящик стола и

небрежно швырнула мои «командирские» в грудку самых разнообразных часов, где были даже карманные «Буре» начала века и золотые женские часы-кулончик. Потом я спустился в туалетную комнату и устроился у писсуара с урологической гримасой на лице. Через минуту рядом со мной вырос критик Закусонский. Он сердечно боднул меня в плечо, повинился, что не понял с самого начала, с кем имеет дело, и предложил упомянуть о Витьке в большой обзорной статье «Горизонты молодой литературы». Я обещал подумать. Место ушедшего Закусонского занял Свиридонов-старший, сообщивший, что скоро у его дочери день рождения и они были бы рады видеть у себя в гостях меня вместе с моим симпатичным гением... Следующим был Чурменяев. С вежливым презрением он сказал, что обедающий с ним мистер Кеннди, ответственный секретарь комитета по Бейкеровским премиям, интересуется, в каком жанре работает странный молодой человек, сидящий за моим столом.

– Он прозаик, – поколебавшись, ответил я, сообразив, что так и не определился, к какому жанру прикомандировать моего Витька.

– Надеюсь, он не соцреалист? – усмехнулся Чурменяев.

– Нет. И даже не постмодернист. Это сверхпроза.

– В каком смысле?

– Как объяснить, чтоб вы поняли... Представьте себе князя Мышкина, работающего врачом-гинекологом!

Не дожидаясь ответа, я застегнулся и вышел. В холле меня поджидала старушка Кипяткова, она ревниво разглядывала фотографии недавнего творческого вечера поэтессы Эллы Рахматуллиной, вывешенные на специальном стенде.

– Что это за зверь с тобой? – кокетливо спросила Кипяткова.

– Гений, – скромно ответил я.

– Вижу – не слепая. Что он пишет?

– Прозу, – неуверенно сообщил я.

– Я хочу почитать!

– Это не очень удобно, – смутился я.

– Почему же?

– В его прозе слишком много эротики...

– Я так и думала! – прошептала она, и ее морщины по-девичьи зарозовели. – Это повесть?

– Роман! – наконец решился я, и жанровая будущность моего воспитанника определилась.

– Рома-ан... – нежно повторила старушка. – Тогда приходите ко мне обедать. Завтра. И роман с собой обязательно приносите! А я вам почитаю что-нибудь из мемуаров...

– Спасибо, Ольга Эммануэлевна, обязательно придем!

События разворачивались стремительнее, чем я предполагал. Главная рыбешка, плававшая еще в доднепрогэсовских водах, клюнула! Возвращаясь в ресторан, я увидел Витька возле входа на мойку. Он разговаривал с Надюхой, нервно вытиравшей мыльные руки о грязный передник.

– Общаетесь? – спросил я.

– Ага, – ответил Витек.

– Чего вы его таким клоуном вырядили? – сердито спросила Надюха.

– Так нужно, – ответил я.

– Кому?

– Ему.

– Витек, тебе это нужно, да? – спросила она.

– Скорее да, чем нет... – без подсказки ответил он.

– Ну и дурак! – всхлипнула Надюха, закрыла мыльными ладонями лицо и убежала к своим грязным тарелкам.

– Жалко? – глядя ей вслед, спросил я.

– Жалко... – вздохнул Витек.

Когда мы уже выходили из ЦДЛ, меня догнала дежурная администраторша и сообщила, что кто-то хочет поговорить со мной по телефону. Я подошел к конторке и взял трубку.

– Привет, – послышался голос. – Это Сергей Леонидович. Узнал?

– Конечно!

– Совсем друзей стал забывать, – добродушно попенял голос.

– Дела...

– Да знаем, знаем, какие у тебя дела. Зашел бы!

– Когда?

– Да хоть завтра.

– Куда?

– В нумера.

– Зайду.

– Буду ждать тебя часиков в пять. И захвати с собой это... Что там твой новый друг накорябал?

– Роман.

– Вот – роман и захвати. Друга пока не надо... Ждем тебя, парень!

Я положил трубку. Что ж, рано или поздно это должно случиться. Пусть лучше рано. Сергей Леонидович был майором КГБ и курировал Союз писателей...

10. Вранье без романа

10. Вранье без романа

Когда мы воротились домой, Витек, обалдевший от обилия свежих впечатлений, завалился спать, а я целенаправленно хватил пятьдесят граммов «амораловки» и сел за историю Кировской районной пионерской организации: аванс я уже проел, но под расчет, кроме денег, мне пообещали еще и бесплатную путевку в хороший санаторий. Работа шла быстро: если порядочный современный прозаик черпает основную информацию из двухтомника «Мифы и легенды народов мира», то я извлекал оную из выданных мне заказчиками копий отчетов о проделанной работе. Сухие цифры о среднем привесе пионеров за летне-оздоровительный период и списки идейно-воспитательных мероприятий я расцвечивал своими личными воспоминаниями о незабвенном пионерском детстве, проведенном в лагере «Дружба», принадлежавшем макаронной фабрике и располагавшемся неподалеку от железнодорожной станции Востряково, на берегу речки со странным названием Рожайка. Единственное, что мне не удалось использовать в этом почти художественном тексте, так это мои сладкие воспоминания о случившемся именно в позднепионерский период жизни первом, внезапном всплеске моего подросткового либидо... А это как всплеск испуганного гадкого утенка, с шумом взлетевшего с озерной глади и еще не осознавшего своего превращения в большого похотливого белого лебедя. (Заковыристо, но запомнить!)

Я в ту пору уже писал стихи, чем и покорила вожатую Таю, которая была старше меня на космогоническое количество лет – пять или шесть. Мне – четырнадцать, ей – под двадцать. Я помню, как мы после отбоя сидели в зарослях золотых шаров, только что распустившихся и возвестивших таким головокружительным образом о неминуемой осени. Я читал ей свои свежие, сочиненные под казенным пионерским одеялом стихи:

Чего же ты хочешь, женщина? Чего же ты хочешь, женщина? В моем интеллекте трещина — Трещина поперек! Из этой зияющей трещины В глаза восхищенной женщины Капает, капает, капает Самый

бесценный сок... А руки дрожат от жадности, Глаза потемнели от ярости, А губы все тянутся, тянутся В погоне за самым большим — За тем, что хранится бережно, О чем вспоминают набожно, Что цвета кроваво-радужного, — Так вот чего губы хотят!!! И тянутся, тянутся — к трещине, Все ближе, и ближе, и ближе... Чего же ты хочешь, женщина? Не любви же?..

Наверное, благодаря именно этим стихам мне удалось невозможное — я умудрился поцеловать вожатую Таю в крепко сжатые, пахнущие ароматическим вазелином губы. После этого она заплакала и сказала мне, что я очень хороший и талантливый мальчик, но она любит другого — физрука Сашу, накачанного прыщавого парня, щедро раздававшего подзатыльники зазевавшимся пионерам.

Я навел справки у осведомленных товарищей по палате и выяснил: после первой же вожатской вечеринки негодяй лишил Таю невинности, которая, вероятно, уже тяготила бедную девушку. Об этом он с удовольствием рассказывал всем, даже старшим пионерам. Услышав эту историю, я быстро охладел к Тае, подобно тому как романисты прошлого века непременно охладевали к своим героиням, если те утрачивали целомудрие до обязательной свадьбы, да еще не в объятиях главного героя, а какого-нибудь эпизодического проходимца...

Но стихотворение осталось, я долго считал его своей творческой вершиной и охотно в течение нескольких лет читал при каждом удобном случае, будучи уже студентом и тусуясь в компаниях таких же молодых поэтов. Это продолжалось до тех пор, пока однажды на одной из таких тусовок не появился начинающий критик Любин-Любченко — длинноволосый юноша с масляной улыбкой. И он, странно приобняв меня, заявил, что покуда еще не встречал в поэзии более точного и свежего описания орального секса. Я взглянул на свой шедевр осознанным взором и с тех пор никогда его больше на людях не читал.

Работа шла — спасибо «амораловке» — споро, и я лихо добрался до того места, когда пионеры-кировцы одержали внушительную победу на всесоюзном соревновании 1954 года, собрав самое большое количество металлолома для целинных комбайнов, — кстати, после этого созидательного налета ничего металлического в Кировском районе нельзя было обнаружить даже с помощью миноискателя. Но зато к мерзнувшим в брезентовых палатках героям залежных земель

отправились сделанные из этого железа комбайны и тракторы с трафаретными надписями: «Пашите, герои!» Думаю, лет через пять металлические обломки этих сельхозагрегатов собирала уже целинная пионерия, так как все следующее десятилетие на всесоюзных соревнованиях неизменно побеждали именно дети Казахстана, что, кстати, непосредственно сказалось на нынешней бронетанковой мощи суверенной Казахской Республики.

В этом месте я решил отдохнуть, тем более что мне нужно было как-то прореагировать на навязчивое желание общественности получить для ознакомления роман моего Витька. Нет, я все-таки правильно сделал, что объявил его мастером крупной прозаической формы, – стихи все время просят почитать. Роман же совсем другое дело. Опыт показывает: люди, как правило, успокаиваются, получив в руки увесистую папку – символ каторжного труда прозаика, и даже тесемок не развязывают...

Я полез на антресоли и достал оттуда шесть пустых красных папок, упакованных еще по-фабричному, вставленных одна в другую, как персонажи романов маркиза де Сада. Папки сохранились у меня с тех времен, когда я лет шесть назад служил в многотиражке 4-го автокомбината, называвшейся «За образцовый рейс». Работа была нудная: бесконечные заметки про езду без нарушений и дорожно-транспортных происшествий, про экономию горюче-смазочных материалов, иногда – портретный очерк, начинавшийся обычно словами: «Широкой мозолистой, испачканной в масле ладонью он потер свое усталое доброе лицо и – неожиданно – улыбнулся...» Один раз в квартал редактор выписывал на весь строчащий коллектив канцтовары, которые мы – четыре сотрудника – тут же по-братски делили между собой и уносили по домам, поэтому в редакции никогда нельзя было найти ни карандаша, ни чистого обрывка бумаги.

Итак, я достал с антресолей полдюжины папок и столько же стандартных упаковок машинописной бумаги – по пятьсот листов в пачке. Разорвав пачки и разъяв папки, я вложил в каждую папку по пятьсот чистых страниц и туго завязал тесемки трогательными бантиками. Теперь предстояло самое главное. Я вырезал из бумаги шесть квадратиков, размером с поздравительную открытку, и разложил их перед собой: роману нужно было дать название, а это – дело непростое. Например, назови я роман «Сквозь зори» – и литературная

судьба Витька окончилась бы, не начавшись, ибо его сразу объявили бы бесцветным новобранцем многочисленного отряда писателей, воспевающих нашу социалистическую действительность. Напиши я на этих квадратиках непонятное мне самому слово «Затеси» – и Акашин мгновенно будет причислен к ватаге писателей-деревенщиков, что само по себе неплохо, но ни один уважающий себя эстет не подаст ему даже мизинца, а в свете моих стратегических планов это никуда не годилось. Заголовок «И плюя на алтарь...», конечно, сразу же сделает Витька видной фигурой среди чистоплюев-постмодернистов, но тогда ни один уважающий себя писатель-деревенщик, а тем более соцреалист, рядом с ним на собрании не сядет! Это тоже нарушало мои виды на Витькину литературную будущность...

Я полчаса бесполезно ходил по комнате, листал «Литературную энциклопедию», потом включил телевизор. Оперный толстячок, вдохновенно косоротясь, пел про заздравную чашу. Я убрал звук и налил себе еще чуть-чуть «амораловки», чтобы подогреть остывающий интеллект. Пока напиток не подействовал, в моей голове мелькнуло несколько бездарных названий, и вдруг откуда-то из глубин подсознания, как рыбешка, спасающаяся от хищника, выпрыгнуло на поверхность заветное сочетание. Ну конечно! Конечно: «В чашу»... Замечательно! Деревенщики увидят в этом явный намек на один из способов рубки избы, когда в нижнем бревне делается выемка, а в верхнем, наоборот, шип, что обеспечивает особую крепость и устойчивость сруба. А чистоплюи-постмодернисты и сочувствующие им усмотрят в этом нечто мусическое и мистериальное. В общем, неважно что: Любин-Любченко растолкует! Соцреалисты вообще ничего не поймут, что, собственно, от них и требуется... Итак, я вставил первый квадратик в каретку машинки и напечатал:

ВИКТОР АКАШИН В ЧАШУ РОМАН

Изобразив это на шести квадратиках, я приклеил их к папкам, которые, в свою очередь, рядком-ладком разместил на диване. И вот они лежали передо мной – новенькие, чистенькие, свеженькие, точно младенцы в роддоме, разложенные няньками перед тем, как нести их к мамашам на кормление. Налюбовавшись, я снова сел за машинку, ибо напиток Арнольда стучал мне в виски и требовал творчества. Следующая глава из истории Кировской пионерской организации называлась «Космонавт XXI века» и рассказывала о победе районных

пионеров во Всесоюзном конкурсе «Хочу на орбиту!». Как все-таки тесна и непредсказуема жизнь! Оказалось, победителя этого конкурса – тринадцатилетнего Женю Северьянова – я знал. Точнее, знаю теперь. А еще точнее, я познакомился с ним, уже будучи эпиграммушечником на банкете, незадолго перед вылетом на Сицилию... Значит, в тот вечер, девять лет назад, сочиняя историю пионеров-кировцев, я понятия о нем не имел. Приехали. Нет, обязательно мне нужно запутаться во временных слоях, как в незнакомом женском белье! Ладно, черт с ним, с согласованием времени, эта история стоит того, чтобы ее рассказать!

Меня пригласили почитать эпиграммушечки на дне рождения какого-то крутого деятеля. Стол – персон на сорок – был накрыт в банкетном зале «Космоса». Пела Пугачева. Острил Жванецкий. Фокусничал Кио. Вставали увешанные орденами летчики-космонавты и со слезой говорили о замечательном их соратнике, человеке чуткого сердца и необъятной, как расширяющаяся Вселенная, души Евгении Антоновиче Северьянове, попросту – Северьяне, о его неоценимом вкладе в дело спасения отечественной космонавтики в годину тяжелых реформ и угрожающих нововведений. Северьян, еще молодой мужик с ранней лысиной, скромно потуплял взгляд и умолял друзей: «Да ладно, ребята, чего уж там... На моем месте так поступил бы каждый». – «Нет, не каждый! – вскочил седой космический генерал с двумя геройскими звездами на кителе. – Эти новые толстосумы все на канарских баб тратят – а ты на людей! На наш советский космос!» И начались крепкие, до взрыда, мужские объятия.

Потом был мой знакомый имитатор, с которым я плывал по Волге, он в лицах изображал, как воскресший Сталин вызвал к себе Горбачева с Ельциным и строго спрашивал их, зачем же они довели до такого состояния страну, а те малодушно оправдывались. Мишка все твердил, что «процесс пошел», а Борька, кроме «эта... понимаешь ли...», так ничего ответить и не смог. Сопровождаемый одобрительными возгласами, диалог закончился коротким распоряжением генералиссимуса: «Лаврентий, расстрелять...» Следующим был я и сорвал бурные восторги, прочитав эпиграммушечку, сочиненную тут же и записанную на салфетке:

Всю жизнь, мужики, я стремлюсь неуклонно К разверстому космосу женского лона...

Северьян встал, выпил со мной на брудершафт, обнял, после чего я почувствовал в своем кармане присутствие небольшого прямоугольного предмета, оказавшегося при более близком знакомстве пачкой денег. Сумма была приличная, даже несмотря на галопирующую инфляцию. Назад мы ехали в одной машине с хмельным полковником, видимо не очень успешным, потому что он стал жаловаться, что хоть ему и удалось слетать в космос, но у напарника разыгрался простатит и полет прервали, за это им дали не Героев, а всего-то по ордену Ленина. А потом я спросил его о виновнике торжества, и он поведал, что Северьян чуть было не стал космонавтом, но на последнем этапе у него что-то не заладилось со здоровьем, и его «ушли» в науку. Со временем он возглавил лабораторию искусственной гравитации – огромный ангар с центрифугой посередине. В этом положении его и застали реформы девяносто второго. Сначала честный Северьян, как и все, бедствовал, обивал пороги, просил денег у правительства, но тщетно. Ему отвечали, что космос – достояние всего человечества, и какая, в сущности, разница, кто запустит раньше, больше и дальше – мы или американцы. В конце концов, он нашел выход – стал сдавать свой огромный, с автоматической терморегуляцией, ангар азербайджанцам, которые устроили там арбузохранилище, такое огромное, что почти каждый второй арбуз, продающийся в Москве, был оттуда, из лаборатории искусственной гравитации. В скором времени Северьян сделался очень богатым человеком: вилла на Кипре, «Мерседес», дети в Принстонском колледже, но он не забурел, как остальные «новые русские», а принялся помогать оставшимся без работы космонавтам и даже открыл в Звездном городке бесплатную столовую для голодающего научно-технического персонала. И все это – на свои кровные, заработанные. Вот такой он человек, Женька Северьянов – подлинный герой нашего времени!

Я фактически уже заканчивал историю пионеров-кировцев, когда из чуланчика показалась заспанная рожа Витька. Я заметил, что у него, как у всех, кто работает на свежем воздухе, лицо и шея буровато-красные, а остальное тело молочно-белое.

- Здорóво, голова писателя Акашина! – поприветствовал я.
- Здорóво, стукач!
- Почему – стукач?

– Да все на машинке стучишь. Стук-стук-стук... Много настучал?
– На молочишко.
– А это что? – спросил он, увидав разложенные на диване папки.
– Твой роман.
– Иди ты! – заржал Витек и начал развязывать тесемки. – А почему «В чашу»?

– А почему тебя Витей называли? – вопросом на вопрос ответил я.
– Чтоб с другими не перепутали, – после некоторых раздумий сообщил он.

– Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, – не отрываясь от пионеров, сказал я.

– А где роман-то? – оторопел Витек, заглянув внутрь и перевернувши чистые страницы.

– А зачем тебе роман? Ты почитать хочешь?

– Отнюдь.

– И они читать не хотят. Так что не волнуйся!

Витек слопал банку свиной тушенки, закусив ее батоном белого хлеба, выпил чайник кипятку, посидел у телевизора, дождался окончания передач и снова ушел спать. А я, взбодрив себя глотком «амораловки», работал до тех пор, пока не поставил окончательную точку в том месте, где Горби со свежеповязанным вокруг шеи алым галстуком рассказывает затаившим дыхание пионерам-кировцам о своем колхозном детстве. Такой встречи, конечно, не было, но меня попросили...

Я уже укладывался спать, когда – в половине второго ночи – зазвонил телефон.

– Спишь? – спросил Жгутович.

– Почти... Чего нужно?

– У тебя точно «амораловки» не осталось?

– Точно.

– Жаль... жена просто извелась. Жалко смотреть. Все-таки не чужие.

– А ты без «амораловки» уже не можешь?

– Это мысль! Надо попробовать...

– А что ж ты про Витька не спрашиваешь?

– А ты разве не передумал?

– С чего это! Наоборот.

- Ну и как там наш Витек?
- Нормально. Все идет согласно графику.
- Да слышал уже. Все только и говорят, как ты с каким-то ряженым в ЦДЛ приходил, – уныло признался Стас.
- Цель оправдывает средства.
- Я думаю, эта цель тебе не по средствам. Ты все равно не выиграешь.
- История нас рассудит, – отозвался я, с надеждой посмотрев на папки, которые переложил на подоконник, освобождая диван для сна.
- А у тебя ванна новая?
- Не очень.
- Плохо. Я брезгливый.
- Я тоже...
- А ты можешь себе представить, оказывается, декабристы были все поголовно масонами. Может, они поэтому и разбудили Герцена? Кстати, прости, что я тебя разбудил!
- Ничего...
- Да что там декабристы! Пушкин оттуда же... Знаешь, даже Кутузов был масоном!
- А Суворов?
- Суворов вроде нет. По крайней мере, в энциклопедии об этом ничего не сказано. А о Кутузове есть. Вот послушай: «При посвящении в седьмую степень шведского масонства он получил орденское имя „Зеленеющий лавр“ и девиз „Победами себя прославить“...»
- А ты какое масонское прозвище хотел бы получить? – спросил я.
- Издеваешься?
- Нисколько! Я бы тебя назвал «Звонящий по телефону, когда все нормальные люди уже спят»... Спокойной ночи!

После этого дурацкого звонка я долго не мог уснуть, ворочался, вставал пить воду, а потом как провалился... И мне приснилась Анка. Она сидела над Витькиным романом и запоем читала его, то хохоча, то плача, а то сладострастно оглаживая свою нежно напрягшуюся грудь, точно ей попадались какие-то жутко эротические места. Прочитанные страницы она разбрасывала вокруг, и пол в незнакомой комнате был устлан чистыми, белыми, как полевой снег, листьями...

11

Утром, уже довольно поздно, я растолкал Витька:

– Вставай, вредитель!

– Почему вредитель?

– Потому что много спать вредно... Надо идти!

– Куда?

– За зипунами.

– За какими еще, на хрен, зипунами?

– В школе надо было учиться, а не собак гонять!

– Если б я в школе учился, разве с тобой связался бы?

– Вставай! И запомни: за зипунами Стенька Разин ходил в Персию, где и добыл себе персидскую княжну, которую потом утопил...

– Как Герасим – Муму? – оживился Витек.

– Примерно, – удивленно кивнул я: такая аналогия мне в голову никогда не приходила.

– А что на завтрак?

– Ничего.

– Как это – ничего?

– А вот так: денег нет. Поэтому пойдем за зипунами...

Витек оделся. Я еще раз с удовольствием оглядел его вызывающе народный облик, взял одну из папок и сунул ему под мышку, но, поразмыслив, отобрал: было в этом что-то противоестественное. Потом я усадил Витька за стол, дал ручку и чистый лист бумаги:

– Пиши! В секретариат правления Союза писателей. Заявление. Прошу выдать мне материальную помощь в связи с работой над новым романом. Поставь крестик.

– Что?

– Распишись!

– Обожди, «секретариат» как пишется?

– Через «е».

– Везде?

– Дай сюда! – Я отобрал у него бумажку: автор гениального романа, делающий ошибки в каждом слове, в мои планы не входил.

Я отстучал заявление на машинке и заставил Витьку расписаться.

– Неужели дадут? – засомневался он.

– Если правильно попросить – обязательно дадут. Что такое социализм? Гигантская касса взаимопомощи. На этом и сгорим...

Я сунул на всякий случай в портфель три папки, и мы пошли за зипунами.

Возле правления Союза писателей, расположенного в старинном особняке с осыпающимся фронтоном и табличкой «Дом охраняется государством», было оживленно: подъезжали и отъезжали черные «Волги», литераторы поодиночке и целыми группами входили и выходили, хлопая большой дубовой дверью. Я пристроил Витьку на лавочке возле памятника Льву Толстому, который сидел в своем бронзовом кресле немым мемориальным укором этой муравьиной литературной жизни. Хотя муравьи всегда что-нибудь тащат в свою родную кучу, а писатели, наоборот, всегда норовят что-нибудь уволочь из правления.

– Никуда не уходи! – приказал я. – Крути «рубик». Если будут привязываться с разговорами, что отвечать – знаешь.

– Ищу культурный код эпохи?

– Молодец!

Намерения мои были просты, как голодное урчание в желудке: получить на имя молодого талантливого Акашина материальную помощь (на свое имя я уже два раза получал) и вызволить «командирские» часы: если не сделать этого в течение суток, в следующий раз по неписаному ресторанному закону не то что часы – золотой самородок под залог у меня не примут.

В приемной Николая Николаевича Горынина под надзором хмурой секретарши Марии Павловны (она, говорят, работала с ним еще на мебельной фабрике) толкалось человек пятнадцать писателей. По выражению лиц можно было сразу определить, какая надобность привела каждого из них сюда. Улыбчивая нервозность означала, что речь пойдет, как и в моем случае, о материальной помощи на творческий период. Если же на физиономии застыло плаксивое недоумение, то литератор прибежал жаловаться на хамство издателей. Строгая озабоченность – верный признак того, что писателю срочно

понадобился автомобиль и он хочет попасть в список на приобретение машины вне очереди. Мрачная обреченность означала одно: человек решил просить квартиру и уже подготовил прочувствованный монолог о том, что невозможно писать полновесные художественные произведения в одной комнате с орущим младенцем или парализованным родителем. Я заранее знал ответ Горынина, выслушивавшего по десятку таких монологов за день. Он ответит, что Ленин писал свои бессмертные произведения на пеньке возле шалаша и не жаловался... Однажды, когда, в пору наших с Анкой отношений, я на правах будущего зятя распивал с Николаем Николаевичем на даче бутылочку, он объяснил: «Все просят... Но знаешь, кому дают?» – «Кому?» – «А тому, кто так просит, словно маму перед смертью кличет. Понимаешь? Большой талант нужен! Иной раз знаю ведь, что дурочку валяет, а ничего не могу поделать – сердце от жалости жмет...»

По моим наблюдениям, первенство в этом деле держал поэт с редкой фамилией Шерстяной, получивший таким вымогательским способом уже две комсомольские премии и одну государственную, поменявший, улучшаясь, три квартиры, каждый год бравший новенькую машину, а свою, еще не тронутую коррозией «старенькую», учитывая тогдашний автомобильный дефицит, продававший с большой выгодой. У него было совершенно особое выражение лица, точно его посадили на кол, но ему невероятным усилием удалось выдрать кол из земли, и вот в таком недоказанном, я бы даже сказал, насаженном виде он и пришел к своему писательскому начальству со скромной просьбой. Постепенно Шерстяной привык к этому выражению лица, не расставался с ним уже никогда и даже, говорят, спал с перекошенной физиономией, чтобы не терять форму. В приемной правления он буквально жил и работал: изредка доставал из бокового кармана блокнотик и, кривясь, как от боли, записывал туда пришедшие в голову строчки:

Как у тына Два Мартына Выясняли у трех Люб,
Которой люб?

Дверь открылась, и оттуда вывалилась разочарованная семья Свиридоновых. Ходили слухи, будто Свиридонова-старшего пригласили на симпозиум в Австралию. Случилось это так: его жена написала хорошую критическую статью об одном писателе,

работавшем в «Литературном еженедельнике». Тот, как это и водится между интеллигентными людьми, в знак благодарности взял интервью у Свиридонова-старшего. Ксерокс интервью вкупе с тщательным английским переводом, выполненным дочерью, Свиридонов разослал во все мировые культурные центры, присовокупив разъяснительную записку о своей исключительно ведущей роли в советской литературе. Ключнули на кафедре русистики одного австралийского университета, где искренне полагали, что в тоталитарной России все писатели, не успевшие эмигрировать, давно уже переведены на землеройные работы. А тут вдруг – интервью! Получив приглашение из университета, Свиридонов пришел требовать, чтобы Союз писателей отправил в командировку и всю его семью, нажимая на то, что такое небывалое количество писателей в одной ячейке общества станет для австралопитеков самым убедительным свидетельством замечательного расцвета культуры в СССР и доказательством решительного превосходства советского образа жизни над западным. Однако по тому, с какими недовольными лицами Свиридоновы покинули кабинет, было ясно: валюту выделили только на главу семьи. Судя по обрывкам разговора, весь обиженный семейный подряд направился в партком – жаловаться на несправедливость Горынина. Вот ведь времена – было куда пожаловаться! Говоря стихами Одуева:

Нигде, кроме Как в парткоме!

В освободившийся кабинет сразу попытался войти следующий посетитель – Медноструев. Он огладил свою кудлатую черную бороду, поправил на носу очки в тонкой золотой оправе и, осуществив на лице выражение плаксивого недоумения, двинулся к двери, но буквально в последний момент его опередил неизвестно откуда взявшийся Чурменяев, строго-престрого озабоченный.

– Pardon! – буркнул он, проскочив в кабинет перед самым медноструевским носом.

– Все куплено Сионом! – рявкнул ему вдогонку обиженный Медноструев и вызывающе посмотрел на тихо сидевшего в углу писателя Ивана Давидовича Ирискина.

Тот презрительно усмехнулся и демонстративно закрылся томом Шолом-Алейхема. Остальные же сделали вид, что их это не касается.

Иван Иванович Медноструев был известным в литературных кругах антисемитом, автором ходившего по рукам рукописного

исследования «Тьма. Евреи против России». В этом труде вся отечественная история рассматривалась под этим весьма своеобразным углом. Медноструев считал, что евреи непоправимо виноваты перед Россией еще с тех былинных времен, когда Русь изнывала под алчным и беспринципным игом иудейской Хазарии, не говоря уже о последующих пакостях, учиненных этим неискоренимым племенем над доверчивыми славянами. Своих взглядов Медноструев не скрывал и когда, бывалоча, сидел с учениками и единомышленниками в холле Дома литераторов, а мимо бочком спешил писатель с загогулистой фамилией или просто неудачно крючковатым носом, Иван Иванович качал головой и говорил своим замечательно густым басом, при этом издевательски грассируя: «В р-русской литературе только два настоящих поэта – Веня Витинов и Бенья Диктов!» Вот какой это был субъект, настоящая Харибда литературного процесса, и будущность Витька во многом зависела от того, найду ли я с Медноструевым общий язык.

– Заполонили русскую литературу! – пророкотал Медноструев. – Присосались к сердцу народному! Выхолокостили историю!

– Этот Чурменяев обычный хам! – Я постарался перевести конфликт в невинную бытовую плоскость, осторожно косясь на упивавшегося Шолом-Алейхемом Ирискина.

– Вот-вот! Хам, Сим, Яфет... Все – оттуда! – подхватил Медноструев. – И дружок твой тоже оттуда!

– Какой дружок?

– Какой? Тот, что в кацавейке! Я еще давеча в ресторане заметил!

– Да вы что? Это же закарпатская доха! Исконно славянская форма одежды! – воскликнул я и похолодел от мысли, что мог нахлобучить на Витька сванку.

– А каббалистические знаки?

– С чего вы взяли?

– А вон! – Он кивнул в окно, где виднелся Витек, старательно вращающий свой кубик Рубика. – Я сразу заметил: буквы-то каббалистические...

– Да что вы такое говорите! Это обычный кубик Рубика, а буквы на нем наши.

– Что вижу – то и говорю. Значит, кубик Рубика? – Медноструев задумчиво почесал довольно большой шрам на лбу. – Рубик – Рубин – Рубинчик – Рабинович... Понял? И чтоб ты знал, «Протоколы сионских мудрецов» тоже русскими буквами написаны! Понял?

– Понял. А Витек-то мой при чем тут?

– А масть? Ты на масть посмотри! – настаивал бдительный Иван Иванович.

– Нормальная масть. Вы тоже не блондин!

– Я-то не блондин, а дружок твой – рыжий. И конопатый! Улавливаешь? Фамилия-то как у него?

– Акашин.

– Во-от! С этого бы и начинал! Акашин – Акашман – Ашкенази – Аксельрод! Понял?

– Скорее нет, чем да...

– Ты в баню с ним сходи, тогда поймешь!

– Ходил, – соврал я. – Все на месте...

– Это тоже ничего не значит. Теперь за большие деньги можно пластическую операцию сделать. Вырезают лоскут с задницы и восстанавливают...

Кстати, в своем труде Медноструев доказывал, что обрезание – это не что иное, как древний способ зомбирования человека, ибо после операции обнажаются какие-то важные нервные окончания и происходит целенаправленное перевозбуждение каких-то участков мозга. В итоге подвергшийся такой операции человек превращается в биоробота и готов выполнять самые разнузданные приказы самых мрачных закулисных сил, борющихся, как известно, за установление мирового господства. Правда, Медноструев никак не пояснял, почему такая же в точности операция, проделанная над мусульманином, аналогичных результатов не дает... Кроме того, в исследовании приводился подробнейший перечень писателей, имевших еврейские корни и даже корешки, причем наиболее злобные из них были выведены жирным. Просто вредные – полужирным. Замыкали список литераторы, всего-навсего женатые на еврейках и поэтому записанные обычным шрифтом.

– Да бросьте, Иван Иванович, я его семью знаю! Маму... – На этот раз я сказал правду.

– Семья тоже ничего не значит! Русские дуры до крапивного семени падки.

– Так ведь у евреев по матери национальность устанавливается! – возразил я.

– По матери... – Он снова почесал шрам. – Какой еще такой матери? Это все сказки для гоев. Один еврейский ген может такого наделать!

– Уверю вас, у Витька все до одного гены – русские!

– Все до одного! – передразнил Медноструев. – Что ж он тогда в писатели подался? Шел бы в цех или на стройку!

– А вы?

– У меня талант... и долг перед одураченным народом нашим.

– И у него – талант. Он замечательный роман написал!

– Как называется?

– «В чашу».

– «В чашу»... – Иван Иванович наморщился, соображая, из-за чего шрам вопросительно изогнулся. – «В чашу», говоришь? Неплохо. «В чашу»... Деревенский, чай, парнишка? Плотничал небось?

– А я вам о чем битый час толкую!

– Ну ладно, извини! Бдительность в нашем деле не помешает! Сам знаешь, как я с этим носатым перекасти-полем обмишурился! Обжегшись на молоке... – Он, вздохнув, снял очки и стал протирать стекла.

В это время дверь распахнулась и оттуда появился явно неудовольствованный Чурменяев. Судя по его нахмуренной решительности, он тоже отправился жаловаться, но не в партком, а, как и положено уважающему себя диссиденту, – в ЦК. Николай Николаевич выглянул в приемную, определяя объем предстоящей работы и взглядом приказывая Марии Павловне по возможности избавляться от попрошайек, не допуская их в кабинет. Увидев меня, он было по-родственному поманил к себе пальцем, но потом, заметив Медноструева, сделавшего плаксиво-требовательное лицо, распорядился:

– Зайдешь после Ивана Ивановича!

Но тут ему на глаза попался Ирискин, который опустил на колени томик Шолом-Алейхема и посмотрел на Горынина с тем же плаксиво-требовательным выражением, что и Медноструев, но еще

присовокупив еле заметный, но вполне понятный опытному руководителю упрек за тысячелетние гонения и драму рассеяния. Николай Николаевич вздохнул и строго сказал мне:

– Зайдешь после Ивана Давидовича! – и, пропустив в кабинет Медноструева, закрыл дверь в полной уверенности, что таким соломоновым решением укрепил интернациональный дух писательского сообщества.

Разговором с Иваном Ивановичем я остался доволен: он и его заединчики если и не помогут Витьку, то мешать, по крайней мере, не будут. Теперь надо было решать вопрос с Ирискиным, ибо его сочувствие для достижения стоящих передо мной задач значило нисколько не меньше, чем благорасположение юдобуйствующего Медноструева. И я уставился печальными очами на обложку Шолом-Алейхема, скрывавшую от меня лицо Ивана Давидовича. Кстати сказать, во внешности Ирискина не было ничего предосудительного, если не считать, что выглядел он моложе своих лет, укладывал волосы феном, носил вельветовые костюмы, а шею повязывал шелковым платком. Но тем не менее это был широко известный в литературных кругах семит – взглядов своих он не скрывал. По рукам ходил его рукописный труд «Темнота. Россия против евреев». Это была очевидная и многолетняя полемика с сочинением Медноструева «Тьма». Но Иван Давидович начинал свое исследование с гораздо более глубоких исторических пластов, можно сказать, с иудейских древностей. Опираясь на факты современной науки, он утверждал, что врожденный антисемитизм русские получили в наследство от своих предков скифов, как известно, участвовавших вместе с Навуходоносором в подлом разграблении Иерусалима в VI веке до нашей эры, закончившемся печально знаменитым «вавилонским пленением». Более того, Ирискин утверждал, что обрезание действительно возбуждает определенные мозговые центры, но как раз это и обеспечивает евреям особо интенсивное развитие интеллектуальных способностей и творческих задатков, что испокон веков служит предметом зоологической зависти медноструевых всех времен и народов. Почему такая же в точности операция, проделанная над мусульманином, не приводит к аналогичным результатам, Иван Давидович тоже умалчивал...

Внезапно Ирискин опустил книгу и посмотрел мне прямо в глаза с вызывающей грустью. Я напрягся, вспомнил издевательский хохот Анки во время нашего окончательного разговора и ответил ему взглядом, исполненным концентрированно-эсхатологической безысходности. Тогда он показал глазами на свободный стул рядом с собой. Я подсел.

– Вы, дружок, молодец! – тихо сказал он.

Букву «р» он иногда, волнуясь, не выговаривал, и получилось не дружок, а двужок. Этот дефект у него появился много лет назад, когда он был зверски избит за свои убеждения.

– Я давно за вами наблюдаю, – продолжал Иван Давидович. – Я знаю, как остроумно вы заставили этих крыс (у него получилось – квыс) издать вашу многострадальную книгу. Светлые стихи! И еще я от души благодарен, что вы помогаете этому талантливому юноше... Вы настоящий русский интеллигент! Не вам объяснять, как тяжело пробиться инородцу (иноводцу) в этой стране! Особенно в литературе, где сам воздух заражен великодержавным шовинизмом. Даже светлый гений Пушкин писал: «Ко мне постучался презренный еврей...» Как вам это нравится?

– Кошмар, – ответил я с готовностью.

– Конечно, кошмар. Медноструев всюду кричит, будто чуть не половина Союза писателей... Ну, вы меня понимаете... О чем это говорит?

– О чем?

– Это говорит только о том, что даже политика государственного антисемитизма бессильна перед подлинным талантом. Согласны?

– Конечно! А как вы догадались, что Витек... Ну, вы меня понимаете...

– Я не догадывался – я рассуждал. Посудите сами, будет ли русский (вусский), который проходит, видите ли, всюду, как хозяин, наряжаться чучелом? Ему это не надо: я-то знаю, я был русским... Как, вы сказали, его фамилия?

– Акашин.

– И замечательно, что Акашин. Представляете, что бы ждало бедного парня (павня), будь он, как выразился этот монстр, Акашманом?

– Вы правы. Но вам я могу рассказать по секрету: на самом деле его отца звали Семен Акашман. Он был студентом медицинского факультета, а когда началась борьба с врачами-вредителями, испугался и уехал в таежный поселок Щимыти. Работал простым фельдшером, бедствовал...

– Неблагодарная страна! – вздохнул Ирискин.

– Потом женился на медсестре из здравпункта...

– Боже мой!

– Родился Виктор... А председателю сельсовета, сами понимаете, что – Акашин, что – Акашман...

– Троглодиты (твоглодиты)!

– Но я вас умоляю! Вы меня понимаете?

– Об этом можете не предупреждать. Как, вы сказали, называется его роман?

– «В чашу».

– «В чашу»... Чаша сия... Чаша страданий... Чаша терпения! О, она скоро переполнится! Вы меня понимаете?

– Конечно.

– Но пока надо быть очень осторожными! Эти крысы (квысы), этот Медноструев способны на все! Вы, кстати, ловко его надули! Я все слышал. Иначе с этими подонками просто нельзя... Еще не время. Но наша победная чаша впереди! Вы меня понимаете?

– Конечно... А как же вы сами?

– Что – я?.. Кто-то должен выйти к Голиафу с пращей! К тому же, дружочек (двужочек), у меня с Медноструевым давние счеты! Я расплачиваюсь за ошибки юности, когда я по трагическому недоразумению был русским...

Но в это время распахнулась дверь – из кабинета вышел полностью удовлетворенный Иван Иванович. Иван Давидович, не договорив фразы, поспешно вскочил, понимая, что если просьбу его научного и генетического оппонента удовлетворили, то по всем законам советского общежития ему тоже теперь ни в коем случае не откажут. Возле двери Иван Иванович и Иван Давидович поравнялись и, точно по команде, брезгливо отвернулись друг от друга, как от чего-то неприлично пахнущего. Дверь за Ирискиным закрылась, а Медноструев, уже покидая приемную, многозначительно глянул на

меня и поднес к уху ладонь, точно в ней была телефонная трубка: мол, созвонимся... Я кивнул.

Для полной ясности я должен сообщить, что в молодости Иван Иванович и Иван Давидович были приятелями, подружились они, служа в одном полку, а потом, став студентами Литературного института, жили в общежитии в одной комнате: выпивали, читали друг другу свои произведения, по-братски обменивались девушками, ругали космополитов и низкопоклонников. Как раз в ту пору развернулась кампания против безродных космополитов, и оба-два Ивана громили, выступая на комсомольских собраниях, как бы помягче выразиться, «безродных гадюк, пригретых советским народом на своей широкой интернациональной груди». Это из выступления студента третьего курса Ивана Медноструева, которое было опубликовано в «Комсомольской правде». А вот слова из речи студента того же курса Ивана Ирискина, напечатанные в том же номере газеты: «Мой отец, чекист с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками, погибший при выполнении задания партии еще до моего рождения, любил говорить: „Сорную траву – под корень!“ Так и надо поступать с этими врагами нашей Советской Родины!» Кстати, в ту пору начинающий литератор Иван Ирискин считал себя стопроцентным русским, гордо писал об этом в анкетах, носил отчество «Давыдович», но в графе «родители» напротив слова «отец» ставил прочерк, хотя доподлинно знал со слов матери, что отец его – отважный чекист, погибший вместе с наркомом Первомайским и командармом Тягиным в автомобильной катастрофе. Но об этом он, поддаваясь просьбам матери, никому пока не рассказывал.

И тут грянул гром: в газете «Правда» появилась статья, доказывавшая, что давняя гибель Тягина и Первомайского была тоже делом рук подпольных космополитов, внедривших в охрану командарма агента по имени Давид, имевшего к тому же очень подозрительную фамилию, еще, к сожалению, окончательно не установленную. Он-то и организовал падение автомобиля в Язу, но и сам в последний момент не сумел выпрыгнуть. Ирискин потребовал от матери объяснений, и она рассказала, что, работая стенографисткой у командарма Тягина, сошлась с присланным из НКВД черноглазым красавцем охранником, обещавшим на ней жениться сразу после выполнения важного секретного задания. Антонина Ирискина была

уже на сносях, когда Давид в последний раз заезжал к ней и сказал, что через два дня операция закончится – и они запишутся, чтобы к рождению ребенка все было по закону. Больше она его не видела. Но несколько раз ее вызывали на допросы, выясняя какие-то подробности о подозрительном охраннике, а с работы на всякий случай уволили. Когда родился сын, Антонина от греха подальше назвала его Иваном и дала свою фамилию, благо брак так и не зарегистрировали. От отца осталось лишь слегка видоизмененное отчество. «Мама! – воскликнул потрясенный Ирискин. – Неужели ты никогда не догадывалась, кто папа по национальности?» – «Господь с тобой, сыночка! Я же комсомолкой была. И потом, он меня девушкой взял...»

Это известие произвело на впечатлительного молодого литератора сильнейшее воздействие: он чувствовал себя чуть ли не отцеубийцей, а тут, как нарочно, во время очередной пирушки в общежитии Меднострурев стал с гордостью рассказывать собравшимся, что они с другом Ванькой еще покажут этим космополитам, почем фунт обрезков, и что товарищ Сталин совершенно правильно собирается переселить всех евреев вместо Крыма туда, куда Моисей свой избранный народ не гонял! И тогда молодой и горячий Иван Давидович (в ту пору еще Давыдович) со страшным криком: «Смерть антисемитам!» – вскочил и разбил о голову Медноструева бутылку водки. Бутылка была последняя, это и обусловило ту обстоятельность, с которой взъярившаяся компания отходила бедного Ирискина.

Очнулся он на следующий день у Склифосовского. Любопытно, что на соседней койке покоился его бывший друг Меднострурев с глубоко пробитым черепом. Говорить Ивану Давидовичу после нечеловеческих побоев было труднехонько, тогда он, взяв карандашный огрызок, вывел на тетрадном листке:

МЕДНОСТРУЕВ, ВЫ ПОГРОМЩИК, ЧЕРНОСОТЕНЕЦ И ОХОТНОРЯДЕЦ!

И через медсестру переправил на соседнюю койку. Приняв записку, Иван Иванович долго думал своей поврежденной головой, но потом все же нацарапал на том же тетрадном листке:

ИРИСКИН, ТЫ КОСМОПОЛИТ, НИЗКОПОКЛОННИК И ЖИД ПАРХАТЫЙ!

Собственно, с этого тетрадного листочка и началась знаменитая переписка Медноструева и Ирискина, ходившая в многочисленных

копиях по рукам и даже фрагментарно издававшаяся на Западе. Все, конечно, еще помнят эти захватывающие наш спертый советский дух письма, неизменно начинавшиеся обращением: «Глубоко неуважаемый г-н Медноструев!» и «Горячо презираемый г-н Ирискин!». Но главная схватка началась гораздо позже, когда потаенные труды этих антагонистов увидели все-таки свет. Именно тогда произошли знаменитые события, кончившиеся громким судебным процессом. Дело в том, что...

– Заходи! – поманил меня Горынин, дружески выпроваживая из кабинета светящегося от радости Ивана Давидовича, который, перед тем как покинуть приемную, незаметно кивнул мне и сделал такое движение пальцем, будто вращает телефонный диск.

Входя в кабинет, я с удовлетворением подумал, что, кажется, мне благополучно удалось, как хитроумному Улиссу, сделать невозможное – пропихнуть моего Витька между Сциллой и Харибдой...

12. За зипунами

12. За зипунами

Кабинет Николая Николаевича был похож на запасник краеведческого музея. Такое впечатление складывалось из-за огромного количества подарков и сувениров, накопившихся в правлении за многие годы существования Союза писателей. С потолка до пола теснились специальные стеллажи, уставленные самой невообразимой утварью, ибо главный принцип торжественного подношения – не повторить предшественников. Рассказывают, как однажды руководитель молдавских литераторов, опаздывавший к открытию писательского съезда и не позаботившийся о том, чтобы заранее запастись сувениром, по пути с вокзала остановил такси возле Мосторга и второпях купил то, что бросилось в глаза. А в глаза ему бросилась полутораметровая фигура сталевара, вытиравшего со лба трудовой пот. Когда он, сгибаясь под тяжестью сталевара, ввалился в комнату президиума, нервные сотрудники правления закричали, что, мол, как раз сейчас вручает приветственный сувенир руководитель Мелитопольской писательской организации, а за ним – очередь молдаван. Вынеся из-за кулис свой подарок съезду, словно ребенка, которого, несмотря на изрядный возраст, никак не могут отучить от рук, молдаванин обомлел: мелитопольский коллега передавал в руки Фадееву точно такого же фарфорового сталевара. Сидевший в президиуме Сталин усмехнулся в прокуренные до желтизны усы и заметил, что подражательство – самый большой грех в советской литературе. Молдаванину сделалось дурно, а вызванная карета «скорой помощи» констатировала гибель от разрыва сердца...

Но это, как говорится, случай единичный. В основном дарители проявляли выдумку и изобретательность. На стеллажах можно было увидеть портрет основоположника соцреализма Максима Горького, выполненный из рисовых зерен, – от китайских собратьев по перу, макет крейсера «Аврора», вырезанный из моржового, кажется, бивня, – от Чукотской писательской организации, сноп пшеницы, обвитый кумачовой лентой со стихами Шевченко, – от украинских письменников, чучело огромного угря, подаренное эстонскими

литераторами, большое серебряное блюдо с грузинской чеканкой... Имелась даже такая уникальная вещь, как преподнесенный якутскими писателями бюст Маяковского, изготовленный из арктического льда и хранящийся в специальном холодильнике «Морозко» рядом с бутылками боржоми... Был и самаркандский коврик с портретом Маркса. Забегая вперед, сообщу: когда после девяносто первого года Союз писателей раскололся на два враждебных лагеря – демократический и недоумевающий, – произошел также раздел подарочного имущества. Коврик с Марксом достался писателям-демократам, и они положили его прямо перед дверью правления так, чтобы каждый входящий литератор в буквальном смысле вытирал об основоположника научного коммунизма ноги... Но в тот момент, когда я входил в кабинет Горынина, совместной фантазии Кафки и Борхеса при участии Гофмана не хватило бы, чтобы вообразить себе этот коврик лежащим перед порогом...

– Проходи, родственничек! – пригласил Николай Николаевич и уселся за свой знаменитый стол.

Об этом историческом столе, который в писательских кругах именовали саркофагом, тоже следует сказать несколько слов. Считалось, что в его бездонных ящиках хранилось множество так называемых трудных рукописей, зарубленных злой цензурой. Забегая вперед, доложу вам, что победившие демократы обнаружили там ворох незавизированных заявлений на матпомощь, полсотни пустых трубочек из-под валидола и три пыльные рукописи, составившие впоследствии славу постсоветской литературы...

И последний штрих: на приставной тумбочке теснилось полдюжины телефонов, а чуть особняком стоял массивный белый аппарат со снопастым советским гербом на диске – знаменитая «вертушка».

– Что ж ты даже рожей не пошевелишь, – улыбаясь, спросил меня Горынин, – или думаешь, я по-родственному тебе и так дам?

Я спохватился и восстановил на лице необходимое для такого случая плаксиво-потребительское выражение.

– То-то, – кивнул Николай Николаевич. – Проси!

– Да вот зашел...

– Вижу! Квартира у тебя есть. На машину денег у тебя нет. Книга у тебя недавно вышла. Вызовов за границу тебе не присылали. Что

будешь просить – матпомощь или путевку в Перепискино?

– Матпомощь.

– Матпомощь тебе в этом году уже выдавали. Два раза.

Немудрено, подумал я, что Николай Николаевич после «Прогрессивки» так ничего и не написал, если он держит в голове, кто именно и по сколько раз получил материальную помощь. А ведь у него только членов Союза десять тысяч, не считая попрошаистой молодежи! Какой уж тут роман!

– Не себе прощу, – грустно сообщил я.

– Гуцулу своему, что ли? Видел тебя с ним в ресторане. Он бы в заводской столовой питался, тогда и попрошайничать не надо.

– Мы отмечали окончание работы над романом.

– Ишь ты! Я когда «Прогрессивку» закончил, купил четвертинку, колбаски «любительской» и с Серафимой Петровной, Анкиной матерью, отпраздновал. Кстати, скажи-ка мне, дружок ситный, почто от Анки утек?

– Не утекал я, – ответил я совершенно искренне. – Это она утекла...

– Хорошо, что не врешь! Просто не знаю, что с ней делать! Ненадежная какая-то выросла. А учили ведь только хорошему. Да что говорить: хотели пулеметчицу, а получилась переметчица!

Горынин вдруг замолк, пораженный художественной точностью и народной меткостью своей случайной формулировки. Он с ревнивой подозрительностью глянул на меня, но я сделал вид, будто совершенно не заметил его выдающегося словотворческого открытия. Тогда Горынин с чувством облегчения вынул из настольного прибора, выполненного в виде пусковой установки, авторучку в форме баллистической ракеты (подарок военных) и записал удачное словосочетание на перекидном календаре.

– О чем мы говорили? – Он снова посмотрел на меня.

– Об Анке.

– Так вот, продолжаю свою мысль: просто горе! С тобой разбежалась. У друзей сыновья подросли. Ни хрена! Только зря друзей побижал. Журавленко до сих пор на меня зуб точит. А сейчас и вообще с этим выпендрилой Чурменяевым спуталась... Стыдно людям в глаза смотреть! Может, у тебя какой хороший мужичишка на примете есть? Ты уж по-родственному...

– Нет, – насупился я.

– Ну, не подумал! Извини. Совсем зачерствел тут с этими попрошайками...

– А как она? – спросил я.

– Нормально. Что ей сделается? Тут мою «Прогрессивку» в Корею издали, хотел на даче ванную переоборудовать. Не-ет... Выпросила у меня лисью шубу. Лиса! Вся в мать.

– Николай Николаевич, – тоскливо вернулся я к теме своего посещения. – А нельзя Виктору из фонда помощи молодым подкинуть? Большой талант.

– Как роман-то называется?

– «В чашу», – ответил я, доставая из портфеля папку.

– Опять небось чернуха какая-нибудь? Когда Родину будем славить? Хватит с нас костожоговщины!

– Это совсем другое. Это как раз то, что вам нужно! – сообщил я, протягивая роман.

Тем временем зазвонил телефон с гербом.

– Алло! Добренький день!.. А где ж мне быть? На посту... Да какая там эпопея! Четвертый год в отпуск не ходил. Слушаю внимательно!

Судя по тому, какая счастливая готовность отразилась на горынинском лице, – звонили свысока.

– Чурменяев? Только что от меня вышел. Прямо Гоголем!.. Не в переносном – в буквальном смысле! Меня в восемнадцати странах издали – я о себе никогда такого не воображал. Что?.. Да читал я эту «Женщину в кресле». Бред сивой кобылы! Что?.. У меня студенты в Литинституте на первом курсе заковыристее пишут... На Западе по-другому думают? На то они и Запад. От слова «западня»! – молвив это, Горынин снова радостно насторожился лицом, схватил ручку-ракету и чиркнул на перекидном календаре. – Ну, конечно... Могут «Бейкеровку» дать – им ведь чем хуже, тем лучше... Ну!.. Машину приходил без очереди просить. Я его спрашиваю: «Когда Родину будем славить?» Ржет! Говорит, когда он «Бейкеровку» получит, к нему журналисты со всего мира съедутся, а он свои «Жигули» разбил... Да, так и сказал: на Западе не поймут, когда узнают, что писатель такого ранга вынужден ездить на битой машине... Конечно, отказал... Ага, значит, и вам уже наябедничал... Что? Дать машину?! Как скажете...

Николай Николаевич, вздохнув, снова вынул из пусковой установки ручку, вычеркнул чью-то фамилию в лежавшем перед ним списке и вцарапал Чурменяева.

– Есть! Готово! – доложил он в трубку. – Ну почему другой молодежи у нас нет?.. Есть! Вот у меня сейчас сидит... этот... (Горынин нервно показал пальцем на папку. Я подал ему.) Вот... Акашин Виктор. Работяга. И роман называется хорошо – «В чашу»... Не-ет... Я тоже сначала подумал, но потом начал читать – не оторвусь. Настоящая полнокровная проза. Жизнеутверждающая!.. А как же! Конечно, поможем... Дочь? А что дочь? Растет, то есть выросла уже. Барышня... Что? Клевета... Ну, конечно... Квартиры распределяем – вот и пошло разное вранье и кляузы. Просто руки опускаются... Да какой отпуск?! Они как дети – ни на минуту без присмотра оставлять нельзя!.. Спасибо! До свидания!

Николай Николаевич положил трубку. Вытер платком вспотевший лоб. И выругался:

– ...мать! Специалисты!.. Ни хрена они там в литературе не понимают, а тоже лезут. Плохо все это кончится! Очень плохо. А попробуй поперек скажи – переедут и не заметят! Ведь что обидно: Бог талантом наградил, так я весь свой талант в чужое дерьмо и зарыл! А сколько мог бы написать! Не-ет, сижу – распределяю... Думаешь, ценят? Хрен в тыкву! На полтинник вместо орленка, как подачку, трудовуху бросили! (В переводе с номенклатурного на общечеловеческий это означало, что к пятидесятилетнему юбилею Николаю Николаевичу вместо ордена Ленина дали всего-навсего Трудового Красного Знамени, из-за чего он даже прихворнул сердцем.)

– Мерзавцы, – кивнул я.

– А что мне эти цацки? – подкрепившись таблеткой валидола, продолжал Горынин. – Ну, вынесут их впереди меня на подушечках. Одной подушечкой больше, одной меньше – какая разница! Остаются только дети и книги. С Анкой – сам видишь. А книги? Прочитает «Прогрессивку» лет через пятьдесят какой-нибудь ихний Белинский и закричит: «А где остальное?» А нету остального! Остальное здесь! – Он хряснул рукой по столу. – Все мои «Бейкеры» здесь... В этом «саркофаге» проклятом! Они думают, это для них «саркофаг»! Это для моего таланта – могила!

– Ну и пошлите все к чертовой матери! – посоветовал я.

– И пошлю. Вот «гертруду» к шестидесяти получу – и пошлю! Ладно, давай заявление. О чем, говоришь, роман-то у твоего дружка?

– О жизни...

– О жизни – это хорошо! И название неплохое – с подзадоринкой! Не модернист, часом?

– Нет, он с Урала.

– С Урала иной раз такие модернисты выскакивают, что нашим московским сто очков вперед дадут. Ладно, беру! – Он сунул папку в стол и, снова взяв ручку-ракету, стал внимательно читать заявление.

Как раз в тот момент, когда он налагал резолюцию «Выдать» и выводил свою подпись, такую витиеватую, что подделать ее мог только изощренный каллиграф, и то после многодневной тренировки, дверь приоткрылась и в кабинет вошла Анка. На ней были безумно модные в ту пору джинсы-стрейч, бескомпромиссно обтягивавшие ее длинные ноги, замшевая курточка с бахромой и полупрозрачная блузка, под которой самостоятельно жила, не соблюдаемая бюстгальтером, грудь. Волосы она теперь, оказывается, собирала в пучок, скрепленный какой-то оплеткой из разноцветных кожаных ремешков.

– Привет! – сказала она, абсолютно не удивившись встрече со мной.

Анка подпорхнула к столу и, наклонившись, поцеловала Николая Николаевича в макушку, при этом как-то совсем по-кордебалетному откинув ножку. Это уже – персонально для меня. Лицо Горынина из строго-сосредоточенного тут же сделалось нежно-беспомощным. Потом опять – строго-сосредоточенным. Потом опять – нежно-беспомощным. Наконец – нежно-строго-сосредоточенно-беспомощным.

– Чего явилась-то? – спросил он.

– Та-ак, по пути. Чурменев пообедать пригласил.

– Ох, Анна! Опять народ языки чесать будет... Там, – он показал пальцем вверх, – уже знают.

– Ну и пусть знают. Я, может, замуж за него пойду! – сказала она и поглядела в мою сторону.

– Ага... Ты замуж пойдешь, а он за границу сбежит!

– А я с ним!

– Вот и ехала бы с Журавленко!

– Журавленко – извращенец: его только Генри Миллер возбуждает.

– Ты что несешь! Хорошо здесь все свои...

В это время снова раздался звонок – обыкновенного телефона.

– Алло... Привет от старых штиблет... – развязно отозвался Горынин. – Только что разговаривал с твоим шефом. Совсем у них там из-за этого «Бейкера» крыша съехала... Какая уж тут контрпропаганда, если Чурменяев вам позвонил и вы перед ним расстилаетесь. Значит, Горынин – зверь, а в ЦК добрые дяди с маковыми плюшками! (Николай Николаевич снова что-то черкнул на календаре.) Тогда нечего с этой диссидентурой бороться, берите их к себе на работу – и дело с концом! Что?.. Да объяснял – не понимает... Ну, я же машины, как курица яйца, не несу, придется у хорошего человека оттяпать. А он тоже к вам побежит. Вникаешь?..

Судя по интонации и расслабленным мышцам лица, теперь он говорил с ровней, скорее всего с Журавленко. Анка подошла ко мне, положила на мою грудь руку, наманикюренными ноготками осторожно залезла за край рубашки и пощекотала кожу – меня тряхануло, как током.

– Это ты звонил?

– Да.

– Зачем?

– Не знаю...

– Не знаешь? – Она наморщила лоб и очень внимательно посмотрела мне в глаза.

У нее была странная манера смотреть, нет, вглядываться в глаза, точно она хотела прочесть на роговице какую-то сделанную малюсенькими буквами надпись – такие бывают на мелких иностранных монетках.

– Я больше не буду, – пообещал я.

– Не надо... И верни мне, пожалуйста, часы!

– Верну... Потом. У меня сейчас их с собой нет.

– Хорошо – потом... Но обязательно.

– Они тебе очень нужны?

– Очень.

– Ты не ошибаешься?

– Нет. Я никогда не ошибаюсь. Я просто быстро устаю от правильного выбора. Жалко, что теперь нет монастырей, я бы ушла... Нам с тобой нужно встретиться снова. Лет через пять. Я устану от своей правоты и буду тихая, верная и нежная. Ты хочешь?

– Хочу. А пораньше нельзя?

– Вряд ли... Ты меня дождешься?

– Не знаю...

– Считай, что я ушла на фронт. И я могу погибнуть. Но я обещаю тебе вернуться. Договорились?

– Да.

Николай Николаевич закончил разговор и положил трубку.

– Хорошая вы пара! – сказал он, полюбовавшись на нас. – На черта, Нюрка, тебе этот выпендрожник Чурменяев?!

– Для усталости.

– Разве что... Ладно. – Он протянул мне листок с завизированным заявлением. – На, корми своего гения «котлетами ЦДЛ».

– Ты завел гения? – оживилась Анка.

– Да, пушистый такой...

– А где он?

– Вон сидит. – Я кивнул в окно.

Витек сидел на лавочке в своей дохе и, отложив кубик Рубика, целился камнем в гревщуюся на солнце кошку.

– Смешной, – улыбнулась она. – Это ты его так нарядил?

– Я.

– Забавно. Познакомь!

– Нечего! – разозлился Николай Николаевич. – Пришла обедать с Чурменяевым – обедай! Нечего талантливой молодежи голову морочить! А ты давай, – он махнул мне рукой, – иди в кассу, а то на обед закроется. Пятнадцать минут осталось!

– А он вправду гений? – спросила Анка.

– Скоро узнаешь, – ответил я и вышел из кабинета.

13. Как сделать верлибр

13. Как сделать верлибр

Кассирша, толстая дама с пепельной прической, напоминавшей огромное осиное гнездо, уже закрывала стальную дверь, чтобы идти на обед.

– Какая у вас сегодня замечательная прическа! – запыхавшись, выкрикнул я.

– Да? – удивилась она и начала отпирать кассу.

А вот если бы я принялся возмущаться, что до обеда осталось еще целых пятнадцать минут, она бы ни за что дверь отпирать не стала, денег бы мне не выплатила да еще обозвала бы дармоедом, который, вместо того чтобы у станка стоять, прикидывается писателем... Кстати, это интуитивное умение сказать человеку именно то, чего ему больше всего хочется услышать, у меня с детства. Сам не знаю, как это получается. Просто не могу огорчить человека. Ей-богу! В молодости у меня был литературный товарищ по фамилии Неонилин, писавший исключительно венки сонетов. Однажды комиссия по работе с молодыми литераторами отправила нас в командировку – подзаработать. Ездили мы по городам, весям и чумам Коми, ели у гостеприимных геологов строганину, выступали перед трудящимися. Я, правда, старался в основном рассказывать свежие столичные анекдоты, а зануда Неонилин норовил каждый раз прочитать от начала до конца венки сонетов, причем один и тот же... К концу поездки мы возненавидели друг друга: я – его «венки», а он – мои анекдоты. Чтобы как-то разнообразить выступления, мы менялись ролями: я, представившись публике Неонилиным, читал его венки сонетов, который уже знал наизусть, а он, выдавая себя за меня, рассказывал трудящимся мои анекдоты...

Но эту историю я вспомнил по другому поводу. Дело в том, что возвращались в Москву мы уже под самый Новый год, когда авиалинии перегружены, и прочно застряли в Сыктывкаре – билетов не было. Мы двое суток спали в зале ожидания, и я понял: выход только один – охмурить толстых теток-кассирш, у которых всегда припрятаны билеты для отдельных хороших людей. Но мы к этой

категории не относились, потому что деньги должны были получить только в Москве, а в тот момент потратили последние командировочные и были отвратительно бедны. Но теток я все-таки охмурил: тонкой лестью и душевными разговорами. Это было несложно. Продавцы и кассиры – самые одинокие в мире люди! Когда мы уже летели в столицу, Неонилин вдруг сообщил мне, что всю поездку внимательно наблюдал за мной и сделал любопытный вывод: в каждой неординарной ситуации я, оказывается, руководствовался рекомендациями знаменитого Карнеги. «А кто это?» – спросил я совершенно искренне. «Ты не читал Карнеги?» – оторопел Неонилин. «Нет». – «Шутишь?! Если человек хочет добиться успеха, он обязан знать Карнеги! Ты меня просто разыгрываешь!» – «Ей-богу, даже в руках не держал!» – признался я. «Не верю!»

Он так и не поверил, но это была чистая правда. Впоследствии я ознакомился с книжкой Карнеги и, между прочим, не нашел для себя ничего нового. А вот Неонилин, знавший Карнеги досконально, в результате однажды попал в скверную ситуацию. Оказавшись в такси без копейки денег, он стал действовать строго в соответствии с указаниями знаменитого американца и был зверски избит распоясавшимся шофером, которому, оказывается, в тот день уже третий раз отказывались платить по счетчику. После полученных травм несчастный Неонилин уже не мог писать в рифму, а тем более сонеты, не говоря уже о «венках». Сил у него хватало только на верлибры... Такая резкая смена стиля была тут же замечена критикой, резко осудившей столь вызывающий разрыв с плодотворной классической традицией. Обычно после подобной выволочки, особенно в те, доперестроечные времена, поэты моментально возвращались к традиционным формам, а верлибры, если и продолжали писать, прятали в стол или несли на хранение в «саркофаг» Горынина. Но Неонилин был не в состоянии сочинять по-другому: важная часть мозга, ведающая рифмами и размером, безмолвствовала. Ничего, кроме верлибра, не получалось. Тогда по нему ударили тяжелой артиллерией в партийной периодике. Результат не замедлил сказаться: кафедра русистики Эдинбургского университета присудила ему престижную премию имени Элиота и объявила его лидером советского верлибра. В Москве он теперь бывает очень редко, но летает отнюдь не в Сыктывкар, а в Париж, Лондон,

Рим, Прагу... Так что в нашем споре – должен ли человек, чтобы достичь успеха, знать Карнеги, – признаюсь, победил Неонилин...

Итак, я получил в кассе деньги и пошел к скамейке возле Льва Толстого за Витьком, но его там не оказалось. Поразмышляв, куда он мог деться, и довольно быстро догадавшись, я отправился в ресторанный мойку, куда можно было пройти прямо из скверика через служебный вход. Так и есть. Нахмуренная Надька в оранжевых резиновых перчатках молча ополаскивала бокалы, а Витек, облокотившись об эмалированную раковину, смотрел на нее долгим виноватым взглядом.

– Ну Надь! – говорил он.

– Что – Надь?

– Улыбнись!

– Перетопчешься.

– Правильно, Надюха! – похвалил я. – Гони его. От него же одни неприятности. Видишь, тебя из-за него в посудомойки перевели. Будешь с ним встречаться, вообще в уборщицы переведут!

– А это не ваше дело! – буркнула Надюха.

– Да! – подхватил Витек. – Чего ты в мою личную жизнь лезешь?

– Твоя личная жизнь принадлежит литературе. Пошли обедать!

Я крепко взял Витьку под локоть и повел в ресторанный зал, мы сели, и я огляделся. Возле камина, в самом почетном закутке – на этом столике всегда стоит табличка «Заказано», – уже сидели Анка и Чурменяев. Они пили шампанское. Он что-то рассказывал, а она смеялась, откидывая назад голову. Я вскочил, пошел к метрдотельше и оплатил свой вчерашний счет. Она открыла ящик стола и довольно долго искала мои «командирские» среди перепутавшихся ремешками часов, похожих на клубок зимующих змей. Вернувшись за столик, я заказал полноценный обед с тремя закусками и бутылку водки.

– Ну, за твое светлое будущее, Витек! – провозгласил я.

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул он.

На первое был бульон с профитролями, и Витек чуть не подавился от смеха, потому что «профитроли» напомнили ему какое-то крайне неприлично ругательное слово. Когда мы ели котлеты, подошел заступивший на пост Закусонский.

– Как жизнь молодая? – спросил он.

– Амбивалентно, – скосив глаза на мой правый указательный палец, отозвался Витек.

Я похвалил его взглядом.

– Что будем заказывать? – приступил к делу Закусонский.

– Да мы вроде уже... – самостоятельно буркнул Витек и осекся, заметив мою недовольную гримасу.

– А вот что, – сказал я. – Для начала, я думаю, организуй-ка нам развернутое упоминание в обзорной статье! Лучше всего в «Литературном еженедельнике».

– Развернутое?

– Именно!

– Рукопись с собой? – деловито спросил Закусонский, по-официантски что-то помечая в блокнотике.

Я вынул и положил перед ним папку. Он осмотрел ее и сделал над ней несколько пазов, как экстрасенс.

– Та-ак... теплая вещица! Та-ак... Энергетически насыщенная! «В чашу». Хорошее название – емкое... – Он снова черкнул в блокнотике.

– Может, возьмешь почитать? – предложил я и почувствовал, как Витек под столом наступил мне на ногу.

– Зачем? – удивился Закусонский. – Мне и так все ясно. Четвертак.

Он получил деньги и ушел, а я посмотрел на Витьку взглядом отца, которому обнаглевший сын пытается давать рекомендации по технике детозачатия. Когда мы пили кофе, появился обходчик Гера. Предвидя его приход, я оставил в бутылке немного водки и маслинку на блюдечке.

– Благодарствуйте! – молвил он, выпив и закусив.

– Как дела?

– Споспешествую.

– Интересуются?

– Зело.

– У меня просьба: когда мы уйдем, отнесешь это – вон ей! – Я протянул ему «командирские» часы и кивнул туда, где, откидывая голову, хохотала Анка.

– Всенепременно! – ответил Гера и по-гусарски щелкнул стоптанными каблуками.

14. Бабушка русской поэзии

14. Бабушка русской поэзии

Ольга Эммануэлевна Кипяткова жила в высотном здании на Котельнической набережной. В каком году она родилась, никто не мог сказать достоверно, но Блока и Есенина, если заходил разговор, Кипяткова называла соответственно – Саша и Сережа. От тех времен остался ее знаменитый портрет «Девушка в красной косынке» кисти Альтмана. Однако несмотря на красную косынку и членство в РКСМ, она прилично знала латынь и блестяще – французский. Все это наводило на мысль, что образование Ольга Эммануэлевна получила, как минимум, в гимназии. Известно также, что ее четвертый муж, знаменитый поэт-баталист и адъютант командарма Тятин, был репрессирован. Именно тогда она написала и опубликовала в «Правде» известные стихи:

Мы делили с тобой наслаждения,
Сообща упивались борьбой,
Но идейные заблуждения
Не могу разделить я с тобой!

Однако звездный час Ольги Эммануэлевны наступил вскоре после войны, когда Андре Жид, приехав в Москву, добился встречи со Сталиным, чтобы уговорить его дать некоторые послабления советским гомосексуалистам. Ее на эту встречу пригласили в качестве переводчицы, потому что штатные сотрудники французского отдела МИДа оказались лексически неподготовленными к такому щекотливому разговору. Как известно, Сталин мягко, но твердо отверг домогательства Андре Жида, но бойкую, миловидную поэтессу заметил и даже на прощание подарил свой «Краткий курс» с теплой двусмысленной надписью. Об этом стало широко известно, а в писательских кругах установилось твердое мнение о больших связях Кипятковой наверху. И когда она, споря с писательским начальством, говорила: «А вот мы сейчас спросим у...» (далее следовали имя и отчество текущего государственного лидера) – и бросалась к «вертушке», секретари гурьбой оттесняли ее от опасного телефона, уверяя, что по такому пустяковому вопросу не стоит тревожить небожителя и что все они решат в своем профессиональном кругу. Решат, разумеется, положительно!

Пользовалась Ольга Эммануэлевна своими баснословными связями в правительстве и в сугубо личных целях. Так, одну смазливую поэтессу, отбившую у нее статного и перспективного прозаика, она погубила совершенно изощренным образом. Та пришла на партсобрание в парике, а парики тогда у нас в Отечестве были еще в диковинку и стоили больших денег. Так вот, Кипяткова обвинила ее чуть ли не в злостном глумлении над руководством страны, представленном в ту пору, как на грех, исключительно лысыми, лысеющими и облысевающими мужчинами. Несчастливая модница пыталась оправдываться, но лишь до тех пор, пока в «Правде» не появились стихи Ольги Эммануэлевны:

Когда страна, в труде изнемогая, Меняет русло вековой реки, Тебя интересует жизнь другая: Мужчины, маникюры, парики...

Испуганный перспективный прозаик поэтессу тут же бросил, и та вскоре исчезла с литературного небосклона, мелькнув париком, как случайная комета. Но шло время, и обстоятельства смягчили Ольгу Эммануэлевну, тем более что год от года поддерживать свою женскую очевидность становилось все труднее: была засунута в дальний угол шифоньера знаменитая красная косынка, появились и платья с глубоким декольте, и маникюр, и французские духи, и даже – парик. Надо отметить, что на ошибках своих Ольга Эммануэлевна никогда не настаивала и умела сознаться в былых заблуждениях как с трибуны, так и в стихах, за что ее, собственно говоря, всегда и ценили:

Висит в шкафу походная шинель. И красная косынка позабыта. Ношу парик, использую «Шанель» — Свидетельства налаженного быта!

В общем, Кипяткова всегда шла в ногу с эпохой. Что ж поделаешь, если мужчины так переменчивы: сегодня их привлекает в женщине алая косынка, а через сорок лет – парик и призывный запах глумливой парижской парфюмерии.

Открывшая нам дверь Ольга Эммануэлевна была одета в черное, расшитое золотыми дракончиками кимоно, которое непрестанно распахивалось и обнажало мумифицированную ножку. Кроме того, на ней был роскошный кудлатый рыжий парик, а лицо свидетельствовало о том, что косметика может почти все.

– Ну вот и вы! – радостно воскликнула она и протянула руку, унизанную колечками, перстеньками, браслетиками, каждый из

которых мог во времена ее молодости стать поводом для серьезнейшего разбирательства на заседании партячейки.

– Вот и мы! – Я почтительно наклонился и поцеловал сухую ручку, но так, чтобы губы чмокнули мой собственный большой палец, при этом я незаметно ткнул Витька в бок локтем, и он протянул хозяйке предусмотрительно купленный мною букет гвоздик.

– О! – застонала она, погрузив лицо в букет, и алые цветы сразу поседели от пудры.

Просторный холл был завешан фотографическими и живописными портретами мужчин, среди которых встречались и знаменитости.

– А теперь к столу! – голосом капризной гимназистки объявила Ольга Эммануэлевна.

Стол был накрыт на три персоны. Посредине стояло серебряное блюдо с несколькими ломтиками сыра и пучком зелени, которым даже Дюймовочка не смогла бы прикрыть наготу. Имелось еще несколько кусочков ветчины. И все. После такого обеда комнатная мышь по-собачьи взвыла бы от голода!

– Рассаживайтесь! Вы, должно быть, страшно голодны? Настоящие мужчины всегда страшно голодны!

– Скорее да, чем нет, – по моей подсказке молвил Витек и поглядел на меня с благодарностью за предусмотрительно плотный обед в ЦДЛ.

Я ему ответил взглядом, означавшим: «Вот видишь, важно во всем слушаться старших». Мы сели.

– Ах, я совсем забыла про вино! – вскрикнула хозяйка и умчалась на кухню движением агонизирующей газели.

– Совсем бабушка с глузду съехала! – глядя ей вслед, буркнул Витек.

– Умри! – цыкнул я.

– О'кей – сказал Патрикей.

Ольга Эммануэлевна вернулась с бутылкой дешевого сухого вина под пластмассовой пробкой – такое даже умирающие с перепоею ханыги покупают только в самых безвыходных случаях.

– Требуется мужская сила! – прожеманничала она.

Витек взял бутылку, ловко поддел пробку зубом и профессионально разлил вино по старинным хрустальным бокалам

одним непрерывным движением, не уронив на скатерть ни капли.

– О, вы волшебник! – захлопала в иссохшие ладошки Ольга Эммануэлевна. – Вы можете выступать в цирке!

– Отнюдь! – с достоинством и без всякой подсказки ответил Витек.

Я с грустным предчувствием подумал о том, что Акашин, как всякое талантливое произведение, начинает жить своей собственной, отдельной от автора жизнью. Мы выпили. Взяли по кусочку ветчины, и начался обед, скорее похожий на микрохирургическую операцию, осуществляемую по какой-то странной необходимости огромными серебряными старинными ножами и вилками, наверное фамильными. Хотя возможен и другой вариант. Один из мужей Ольги Эммануэлевны, поэт-пролеткультивец, служил в ЧК в отделе реквизиций. Погиб он страшно: замешкался у стены, расставляя очередную группу приговоренных, и его по ошибке застрелили свои же. В истории поэзии он остался знаменитыми строчками:

Двум сладострастьям охладелым
Уже не нужен бред строки —
Так вышибает парабеллум
Белогвардейские мозги...

Хотя, возможно, столовая утварь досталась Кипятковой от ее второго мужа – богатого нэпмана, которого она, уличив в неверности, сама отвела в ЧК, где, кстати, и познакомилась со своим третьим мужем и откуда второй муж, разумеется, уже не вернулся. Впрочем, за последовательность ее мужей я не ручаюсь...

– О чем ваш роман? – мелко пережевывая, спросила она.

Витек посмотрел на меня вопросительно.

– О любви... – сказал я.

– Большой?

– Конечно.

– Дайте, дайте!

Я сходил в прихожую, достал из портфеля папку и принес ей.

– «В чашу», – прочитала она, нежно поглаживая картон сухими ручками. – «В чашу»... Почему «В чашу»? Это знак?

– Вы меня об этом спрашиваете? – строго по инструкции удивился Витек.

– Ну конечно, глупый вопрос, – согласилась она. – Разве можно сказать, откуда приходит к нам вдохновение. «В чашу»... А может быть, вы – гедонист?

– Скорее да, чем нет, – ответил Витек, глянув на мой левый большой палец.

– Жизнь так мимолетна, что единственное утешение – длинные романы, – грустно произнесла Кипяткова. – Не так ли?

– Вестимо, – сказали мы с Акашиным одновременно.

– Вы мне прочтете кусочек? – Она начала развязывать тесемки.

– Обоюднo, – ответил Витек согласно указанию и тревожно пнул меня ногой под столом.

– Конечно, конечно... – закивала Кипяткова. – Я сейчас пишу воспоминания о Маяковском. Вообразите, ведь он звонил мне в тот роковой день. Звал... А я, глупенькая, тогда увлекалась совсем другим молодым человеком. Не поехала. В результате он умер на руках этой потаскушки Полонской. Не могу себе до сих пор простить!

– Трансцендентально, – посочувствовал Витек не без моей помощи.

– Да, в судьбе много трансцендентального... Я всегда верила в хиромантию, даже когда инструктором агитпропа работала. Посмотрите, какой у меня Венерин бугорок! – И она продемонстрировала нам свою пергаментную ладошку.

– Потрясающе! – воскликнул я. – А какая линия жизни!

– Короткая линия жизни! – пожаловалась она. – А как, Виктор, вы относитесь к Блаватской?

Я невзначай шевельнул правым указательным пальцем.

– Амбивалентно, – молвил он.

– Вы очень образованный юноша. Где вы учились?

– Вы меня об этом спрашиваете? – самостоятельно ответил Витек.

– Ах, ну конечно! – засмеялась она. – Что есть книжная мудрость по сравнению с внутренним знанием?

– Вы обещали почитать воспоминания! – встрял я, сообразив, что Акашин готов своевольно вывалить слово, значащееся в «Золотом минимуме» под цифрой «б».

– Ах, я и забыла! – воскликнула она, завязала тесемки и положила папку на край стола. – Сейчас принесу...

Она встала, кокетливо прикрыла грудь отворотами кимоно и ушла в другую комнату.

– Ты охренел?! – шепотом набросился на меня Витек. – Что я буду читать?

- Не бойся – до этого не дойдет!
- А до чего дойдет? – осунулся Акашин.
- Трудно сказать...
- Нет, ты скажи!
- Всякое бывает...
- Я тебе не трупоед какой-нибудь! – возмутился мой воспитанник.
- Ладно, – сжалился я, – если что, скажешь, дал обет не прикасаться к женщинам, пока не напишешь своей главной книги. Должна поверить: ей всякие в жизни попадались.
- А зачем эта старая бетономешалка нам вообще нужна?
- Понимаешь, у нее комплекс – каждого мужчину, который ей понравился, она тут же объявляет гением. Это психология. Как бы тебе попонятнее объяснить...
- Чего тут объяснять-то! Знаю: вот у моей Наумихи хахаль – пьянь пьянюю, алконавт. А она всем говорит: Жоржик в рот не берет! Чтоб перед людьми не стыдно было!
- Вот! Точно. Если ты ей понравишься – завтра вся Москва будет знать, что ты – гений.
- О чем это вы шушукаетесь? – кокетливо спросила Кипяткова, входя в комнату. В руках у нее было несколько машинописных страничек.
- О вечной женственности! – галантно сообщил я.
- Ах, шалуны! Вот я принесла. Но сначала – чай. Виктор, помогите мне!
- Я кивнул, и Витек отправился следом за ней на кухню. Вскоре оттуда донеслись позвякивание посуды и поощрительный хохоток, какой обычно издает, если верить классике, прихваченная в темном коридоре озорная горничная. Они вернулись: Витек тащил поднос с чайником и чашками, она – блюдечко с пирогом, по размеру напоминающим помет колибри.
- Виктор, вы трудно пишете? – пригубив чай, спросила она.
- Гении – волы, – скосив глаза на мой левый мизинец, молвил Витек.
- А я, вообразите, после каждой страницы чувствую себя, как после ночи любви с кем-то огромным и ненасытным.
- Обоюднo, – отозвался Витек, кисло среагировав на мой содрогнувшийся палец.

Лексикон явно пошел по второму кругу, и с разговорами надо было заканчивать.

– Вы обещали почитать! – напомнил я.

– Да-да, пойдете в спальню! Я, как Пушкин, пишу всегда в спальне. Я вас не шокирую?

– Нет, спальня – это лучшее из всего, что изобрело человечество!
– заметил я.

– Это из Уайльда?

– Я всего-навсего цитирую роман Виктора.

– О! Ну так пойдете.

– Ольга Эммануэлевна, – обратился я, – вы очень обидитесь, если я покину вас и поручу моего друга вашим заботам?

– Страшно обижусь! – ответила она голосом, дрогнувшим от радостного старушечьего предчувствия.

– Не обижайтесь! У меня встреча с директором «Советского писателя». Они хотят издать роман...

– Ну что с вами поделаешь! Придется нам с Витенькой побыть тет-а-тет...

– Я думаю, это пойдет Виктору на пользу, – кивнул я.

– Не вари козленочка в молоке бабушки его! – самостоятельно взмолился бедный Витек.

Я незаметно показал ему кулак. Мы встали. Хозяйка пошла проводить меня к двери, а Акашин бросил взгляд, каким смертник проводил бы своего сокамерника, которому вдруг вышло помилование. На пороге, протягивая для поцелуя руку, Кипяткова вдруг с тревогой спросила:

– А ваш молодой друг, случайно, не женоненавистник?

– Нет, он – женоненасытник...

– Ах, шалун! – Она засмеялась, обнажив ровные белые зубы из довоенного фарфора. – Можно, я использую это словечко в моих воспоминаниях о Гумилеве?

– Вам можно все! – воскликнул я и, манерно склонившись, поцеловал ее ручку.

По линиям этой руки, наверное, можно было изучать всю бурную, грешную и прекрасную историю двадцатого века.

15. В круге восьмом

15. В круге восьмом

С Сергеем Леонидовичем я познакомился в общем-то случайно и по совершенно пустячному поводу. Странно, что я не стал его другом гораздо раньше, ведь постоянно же читал разную привезенную кем-нибудь из-за бугра антисоветчину, самый истошный самиздат и прочую ходившую тогда в интеллигентных кругах инакомыслия. Сидишь, бывало, в уголочке на открытом собрании коммунистов 4-го автокомбината и шепотом обсуждаешь с редакционными коллегами прочитанный по кругу ксерокс «Августа 14-го». Или продекламируешь на вечере молодой поэзии тонко диссидентские стихи:

За ночь наметился хрупкий ледок, Хотя обещали грозу. – Что ж ты, мой песик, грызешь поводок? Я-то ведь свой не грызу!

И хоть бы хны! И вдруг это случилось... Из-за ерунды. Родители моего литературного знакомца Удоева, в поэтичестве Одуева, работали в торгпредстве на Ближнем Востоке и, прибыв в очередной отпуск, подарили сыну видеоманитофон. Сейчас-то в Москве видеоманитофонов больше, чем мясорубок, а тогда присутствие этого – в ту пору серебристого – аппарата в квартире было знаком особой роскоши и вызывающего достатка, ну, как теперь какой-нибудь вечнолетающий Шагал на стенке в гостиной.

С Одуевым, тогда еще просто Удоевым, мы познакомились в литературном объединении «Семафор» при Центральном доме железнодорожника. Занятие там вел старенький, очень душевный поэт, поработавший в юности машинистом и сохранивший пристрастие к железнодорожной теме на весь творческий период. Все, что он пытался сделать для нас, начинающих, это – втолковать нам: знаки препинания в стихах ставить все-таки надо, а если забыли правила пунктуации – такое случается с каждым, – то для подобных случаев есть чудный грамматический справочник профессора Розенталя. Доказывать же нам, что «любовь» – «вой» это не рифма – ни ассонансная, ни йотированная, ни усеченная, никакая, – он давно уже бросил, поняв безнадежность этого дела. Наши стихи он слушал уныло и, вздохнув, произносил обычно одну-единственную фразу: «Ну

что ж, это имеет право на существование...» И только если кто-то из молодых поэтов приводил с собой смазливую подружку, старичок оживал и строгим голосом к своей обычной фразе добавлял: «С метафорой работаете. Вижу. А где звукопись? Звукопись где, я вас спрашиваю? Конечно, себя цитировать неловко, но все-таки:

Сту-ча на сты-ках, Ле-тят сос-тавы... Учитесь, молодой человек!»

Собственно говоря, с подружкой, а то и с несколькими, приходил, как правило, Одуев. Он уже тогда нигде не работал, пьянствовал, безобразничал, распутничал, без усталости растлевал и без того ветреных студенток из соседнего общежития педагогического техникума. Стихи он сочинял, кажется, только потому, что это придавало его беспутной жизни некую осмысленность и облагораживало в глазах родителей, присылавших ему из-за границы деньги и вещи. Конечно, если бы он, как Бродский, попал под суд за тунеядство или, на худой конец, был бы избит таксистом, как Неонилин, дело могло кончиться если не Нобелевской, то, по крайней мере, Элиотовской премией. Но, увы, даже в самом самозабвенном состоянии он, как на грех, добирался домой целым и невредимым. А что касается тунеядства, то по настоянию родителей он положил свою трудовую книжку, дав умеренную взятку, в какую-то переплетную артель, где трудились исключительно слепые и полужрячие инвалиды. И там, конечно, в глаза его не видели. Позже, ясное дело, он спохватился, из артели уволился и стал широко пропагандировать свой антиобщественный образ жизни, но к тому времени системный кризис советского общества принял столь необратимый характер, что делом о тунеядстве можно было разве что рассмешить народных судей.

Получив «видик», предприимчивый Одуев решил резко улучшить свое материальное положение и открыл по примеру других на квартире видеосалон: собрал по знакомым старые стулья, а на сданную посуду купил видеокассету с двумя фильмами – «Смерть в Венеции» и «Глубокая глотка». Первый, так сказать, для ума, второй – для сердца. Брал он недорого: три рубля с человека, пять – с пары. Причем в эту стоимость входил и граненый стакан чая с ванильным сухарем. Позже он установил контакт с подпольными видеокругами и в порядке обмена мог получить практически любой фильм из ходивших в ту пору по Москве. Бизнес его процветал, тем более что парам, раззадорившимся после просмотра «фильма для сердца», позволялось

уходить целоваться в ванную. Я и сам частенько бывал у него и, как все, в перерывах за стаканом чая или еще чего-нибудь (приносить и распивать не только не запрещалось, а, напротив, приветствовалось) последними словами ругал наше посконное отечественное кино и восторгался западным качеством.

Вскоре, поднакопив денег, Одуев собрался проветриться со своей очередной подружкой в Сочи, а поскольку в ту пору по столице как раз прокатилась серия дерзких ограблений квартир, где имелись видеоманитофоны, он доверил «видик» мне как профессионально близкому элементу. Получив на две недели аппаратуру, я решил тоже поправить свои материальные дела. Уезжая, Одуев оставил мне кассету с фильмами «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» и «Каллигула». На «Каллигулу» народ повалил валом. Были и такие, которые приходили по нескольку раз и настаивали, чтобы вопреки сложившейся салонной традиции сначала показывали «Каллигулу», а только потом уже – «Кукушку», дабы попусту не томиться.

Кстати, громче всех на этот предмет выступал один лохматый мужик в дешевом залоснившемся костюме, похожий на сотрудника КБ. Я его встречал и раньше во время просмотров на квартире Одуева, поэтому даже не насторожился. Помнится, когда в перерывах между фильмами крыли советскую власть за чудовищную политику в области кинематографа, он так и говорил: «На кой черт мне тема труда на экране, мне этой темы в моем КБ хватает! Вы мне нервные окончания взбодрите!» Приходил он раза четыре, приводил с собой друзей, таких же кабэшников, приносил вино, закуску и даже задерживался после окончания сеанса, чтобы пообщаться. Говорили, понятное дело, о жизни, точнее, о том, какая у нас в Отечестве подлая, мерзкая, несправедливая, паскудная, безрадостная, позорная, никчемная, убивающая живую душу и благородное сердце жизнь! Звали его Сергей Леонидович, после второго стакана – Сергей, после третьего – Серега, а потом, когда уже сбивались со счета, – просто Серый... Во время разговоров Серый обычно хватался за голову, лохматил свои вихры и стонал: «Куда катимся? Куда катимся?» – и даже плакал, не надеясь получить ответ на этот роковой вопрос...

Вернулся неприлично загорелый Одуев, забрал аппаратуру. А еще через неделю мне позвонили и осторожным голосом предложили явиться в шестнадцать ноль-ноль в районное управление КГБ в

комнату номер семнадцать. Я обомлел. Разумеется, из ходивших по рукам «Посевов», «Граней» и перепечатанных под копирку писем «узников совести» я отлично знал, что у нас в стране к каждому гражданину приставлен, наподобие ангела-хранителя, агент КГБ, а то и два, но тем не менее с работниками этой угрюмой организации сталкиваться мне еще не доводилось.

Управление располагалось в том же доме, где и булочная, куда я заглядывал почти каждый день, не обращая внимания на зеленые ворота с металлической калиткой. Уже по тому, как на меня взглянул сержант с синими погонами, я понял, что крупно влип. Накануне, честно говоря, я обзвонил самых верных друзей и посоветовался, как себя вести, в чем сознаваться, а что намертво отрицать. Все они, ссылаясь на статьи из «Посева» и письма правозащитников издалека, предупреждали: главное – ничего не подписывай, коси под идиота, но не до такой степени, чтобы прямо из «конторы» отправили в психушку.

В маленьком кабинете под портретом насупленного Дзержинского сидел веселенький Сергей Леонидович, он же Сергей, он же Серега, он же Серый... Получалось, что, называя место своей службы, он, в сущности, не врал, а лишь только, чтобы не тревожить общественность, опускал одну букву из аббревиатуры: не КГБ, а КБ.

– Ну привет! – сказал он.

– Привет, – вымолвил я.

– Не бойся! За организацию подпольного просмотра порнографической кинопродукции – до пяти лет усиленного режима. Вот такое кино! Но ты не переживай – ты мне нужен на свободе.

– Зачем?

– Там посмотрим.

– Я ничего подписывать не буду! – ответил я с той истерической непреклонностью, следом за которой обычно идет полная и чистосердечная «сознанка».

– А на хрена мне твоя подпись? Если подпишешь, тебе деньги платить надо. А где их взять? Куда катимся? Мы уж лучше с тобой на общественных началах потрудимся... По-дружески. Думаю, состукаемся... Или нет?

– Состукаемся, – кивнул я, вспомнив передачу радио «Свобода» о разгуле гомосексуального террора в советских лагерях.

– Тогда – ажур! Вот мой телефончик. Будут хорошие фильмы – звони!

– У меня теперь нет «видика»...

– Знаю, но ты все равно, если будет что-нибудь интересненькое, позванивай!

– А что вас интересует?

– Нас? Да ты что, «Кортик» в детстве не читал? Освежи! Давай пропуск отмечу!

Когда я брал бумажку, моя рука постыдно дрогнула.

– Вот бляхопрядильный комбинат! И что вы все так «конторы» боитесь? Такие же люди, между прочим, тут работают. Думаешь, мы всего маразма не видим? Видим, и гораздо лучше вас. Но если все рухнет, ты не представляешь себе, что будет!

– Что? – с совершенно неподходящим к случаю ехидством спросил я.

– Вот рухнет – узнаешь...

Я вернулся домой, и когда мне стали звонить встревоженные друзья, спрашивая, зачем вызывали, у меня хватило мозгов наврать, что все это из-за Снежаны, моей болгарской любви... Они поверили, а Одуев, услышав эту версию, как-то уж слишком показательно стал мне сочувствовать. Сергею Леонидовичу я решил не звонить. Но он через недельку объявился сам и пригласил погулять по вечерней Москве. Мы бродили по Гоголевскому бульвару и обсуждали состояние умов в среде творческой молодежи. Я соглашался с ним, что государственно-патриотическое мышление в ней начисто вытеснено вестернизированным критиканством, но приводить конкретные примеры избегал. А он почему-то не настаивал. В следующий раз он позвонил через полгода, мы снова отправились на Гоголевский, но пошел мокрый поганый снег, и я пригласил его к себе домой. Мы выпили, разговорились, и он рассказал, как десять лет назад его, студента последнего курса строительного института, перед самым распределением (светил ему Крайний Север, а жене оставалось еще два года учиться) вызвали в партком, и незнакомый серьезный дядя, тщательно побеседовав с ним и проявив доскональное знание самых мелких подробностей его биографии, вдруг напрямик предложил поработать в органах. Зарплата – порядочная, надбавка за звание и выслугу, лечебные, бесплатный проезд в общественном транспорте, а

главное – Москва и, что еще главней, квартира всего через пару лет. Сергей Леонидович согласился и не жалеет, тем более что поначалу работал он почти по специальности – курировал строительные организации, где больше занимался хищениями фондированных материалов, и только один раз, когда новый дом треснул поперек, слегка запахло антигосударственной деятельностью. Но потом его вдруг бросили на творческую интеллигенцию, а там – сам черт не разберет! Хорошо, хоть жена у него начитанная, постоянно ходит по театрам и выставкам с подружкой и всегда можно проконсультроваться. «Куда катимся?» – совершенно искренне причитал он, обхватив руками взлохмаченную голову.

– Не горюй, Серый! – успокаивал я. – Докатимся – узнаем...

– Вот ты, талантливый парень, – продолжал он, – чтобы книжку свою издать, разную сволочь с шалавами на квартиру к себе пускаешь! А у нас... Думаешь, кто-нибудь о державе думает? Никто! Сейчас садовые участки по управлению распределили, никакой оперативной работы: все кирпич ищут... А я ведь раньше строителей курировал, так мне проходу не дают: помоги, помоги... А что я им, украсть, что ли, помогу?!

– Не помогай им! – посоветовал я.

– Им не помогу. А тебе помогу! Давай я по начальству доложу: мол, есть хороший парень, талантливый. Позвоним куда надо... У нас в «конторе» у одного генерала сын стихи пишет, хреновые-прехреновые, так уже две книжки издал! Позвонить?

– Не надо.

– Да ты не бойся! Никто не узнает. Мы же – могила...

– Могилы тоже иногда разрывают! – ответил я.

Возможно, это был один из самых дальновидных поступков в моей жизни.

Потом у Сергея Леонидовича начались обидные неприятности с женой: оказалось, по выставкам и театрам она ходит не с подружкой, а с другом – каким-то занюханым художником-авангардистом, и продолжается это уже давно. Однажды вечером Сергей Леонидович заявился ко мне с чемоданом, разъяснил, что ушел из дому навсегда, и остался жить в моей квартире. Горе, понятное дело, топили в портвейне, а портвейн, как известно, напиток мизантропический. Разговоры наши были под стать наливаемому.

– Подведу я его под статью. Точно подведу! Он у меня на мордовском солнышке погрееется! – бешено глядя в ненавистное пространство, угрожал Сергей Леонидович, имея в виду художника-авангардиста. – Мой кореш как раз МОСХ курирует. Я попрошу – он не откажет. Тем более что его бабе тоже какой-то режиссеришко звонить повадился... Подведу под статью!

– И подведи! – обезволенный нездоровым напитком, кивал я.

– Нет, не подведу, – качал лохматой головой Сергей Леонидович. – Как я потом людям в глаза смотреть буду? Невинного человека на нары! Я ведь не Ежов какой-нибудь... Я лучше его застрелю, а потом и сам застрелюсь! Я тебе своего табельного «макарова» показывал? Нет? Принесу... Застр-релю гадину!

– Правильно, его застрели, а себя не надо! – умолял я. – Хороших людей и так мало...

– Дай я тебя поцелую!

Я даже познакомил в психотерапевтических целях своего безутешного друга с одной молодой общедоступной поэтессой, однако наутро он заявил, что лучше его беспутной жены все равно никого нет, а эти поэтессы вообще какие-то ненормальные и трахаются даже как-то яблом. В конце концов он пришел к мысли, что разумнее всего будет застрелить жену и сдать начальнику своего отдела. С этим Серый от меня и выбрался, а через два дня позвонил и сообщил о полном примирении с женой, она попросила прощения и объяснила свое поведение тем, что он вечно пропадал на службе и совсем ее забросил. Так сказать, невольный протест любящей женщины в неадекватной обстоятельствам форме. А безутешному авангардисту, чтобы только отвязаться, он с помощью своего кореша организовал двухгодичную стажировку в Римской академии художеств. Тот там и осел.

После того случая Сергей Леонидович стал уделять семье больше внимания, утихомирив свою неадекватную супругу двойней. Мы с ним почти не встречались и не вели разговоров об антигосударственных настроениях в среде творческой интеллигенции. Правда, несколько раз он вызывал меня на явочную квартиру – в номер гостиницы «Украина» – и просил до полочки то четвертак, то полтинник: с рождением двойни расходы резко возросли, а я как раз напал на золотую жилу – пионерские приветствия, без которых, если помните, в ту пору не

обходилось ни одно стоящее общественное мероприятие. Принимая у меня деньги, он каждый раз хватался за голову и говорил: «Куда катимся! Майор КГБ у писателя деньги до получки сшибает. А если завтра, бляхопрядильный комбинат, я у ЦРУ займы попрошу? Плохо это кончится, ох плохо!»

Вот почему, говоря с ним по телефону в холле ЦДЛ, я был почти уверен, что вызывает он меня в основном, чтобы признать очередной четвертак...

В гостиницу «Украина» меня после долгих препирательств со швейцаром все-таки пропустили. Я постучал в дверь номера.

– Заходи! – донеслось из глубин.

Сергей Леонидович лежал на диване и, прихлебывая пиво, смотрел по телевизору футбол.

– Прибыл по вашему приказанию! – отрапортовал я и отдал честь.

– К пустой голове руку не прикладывают. Садись! Бери стакан.

Пиво свежее. Чешское.

Я сел. Он встал, убавил звук:

– Ну, что новенького?

– Да так все как-то...

– А что там у тебя за гений появился?

– Витек?

– Витек.

– Хороший парень. Талантище. Такой романище написал!

– Почитать дашь?

– Конечно, – ответил я и достал из портфеля папку.

– Ну-ка подожди! – Он не глядя сунул папку в свой портфель и прибавил звук.

Раздался рев трибун. Спартаковский полузащитник вышел один на один с динамовским вратарем и засандалил точно в штангу...

– Козел! Куда катимся?! – Он снова убавил звук и посмотрел на меня. – А ты-то что с этим парнем носишься?

– Из чувства справедливости!

– Молодец! Парень-то наш?

– Еще бы!

– Тогда трудное дело затеял.

– Трудное, – согласился я.

– Трудное, но нужное. Погоди-ка... – Он подвинул к себе телефон и набрал номер. – Николай Николаевич! Привет. Сергей Леонидович беспокоит! Как ты там в своем мелкобуржуазном болоте? Квакаешь? Говорят, у вас там молодые таланты косяками ходят?.. Не ходят. А единичные экземпляры? Тоже нет... А этот, как его бишь... – Он прикрыл трубку ладонью и вопросительно посмотрел на меня.

– Акашин, – подсказал я.

– А вот Акашин?.. Нет, за ним ничего нет. Наоборот. Я тут его роман начал читать... – Он снова прикрыл трубку.

– «В чашу», – подсказал я.

– «В чашу» называется. Просто охреневаю!.. И ты тоже? Ну, вот видишь, а то все жалуешься: нет молодежи, нет молодежи... Давай вместе помогать парню! Ты со своей стороны, мы со своей... Уже помог? Молодец! А что там с Чурменяевым?.. Да понятное дело – мразь: за бейкеровскую горбушку отца родного продаст! Хуже Костожогова какого-нибудь... Вот и давай свои кадры готовить! Устукались!.. Как мои близнецы? Растут. Жена-то различает, а я иной раз путаю. Ну, бывай, на пленуме увидимся...

Сергей Леонидович положил трубку, взялся было за стакан пива, но тут на экране снова возникла какая-то суета в штрафной площадке, и он прибавил звук. Опять раздались рев трибун и захлебывающийся голос диктора. Динамовский нападающий вышел один на один со спартаковским вратарем и въяремил мяч точно ему в пах, так что голкипер скрючился и упал на вытоптанную землю.

– Куда катимся? – вздохнул Сергей Леонидович и выключил звук. – Нам бы с тобой этого Акашина на международный уровень вывести. Там их пощупать! Думаю, можно. Вон, Николай говорит, здорово твой паренек сочинил – оторваться не может. А Горынин – профессионал, зря не скажет...

– Других не держим! – ответил я с тихой гордостью.

– Ну ладно. Давай подумаем, как сделать, чтоб на твоего Акашина идеологический противник внимание обратил. Роман – дело хорошее, но тут ход нужен. Скандальчик! История какая-нибудь с легким запашком, чтоб клюнули... Знаешь, как сомов на тухлых лягушек ловят? А мы прикроем...

– Надо подумать.

– Вот и думай! Голова у тебя хорошая. И я тоже подумаю. На Ирискина у тебя есть выход? От этих ирискиных вся информация на Запад ползет. Враги!

– Поищу! – пообещал я.

– Ищи и звони. Не забывай старого друга!

Я встал.

– Вот черт, совсем заработался, – спохватился Сергей Леонидович. – Ты деньгами, случайно, не богат?

– Не богат, но есть немного.

– Ты уж извини, четвертачок, как обычно! Через неделю отдам...

Я полез в карман.

16. В ожидании Витька

16. В ожидании Витька

Когда я вернулся домой, Витька еще не было. Я слегка приложился к «амораловке» и сел за пионерское приветствие. Приветствия – мой конек! Сколько я написал их, пожалуй, не сосчитаешь! Не работа – удовольствие. Некоторые специалисты считают, что во всей мировой литературе не более дюжины основных сюжетов, остальное – вариации. Если же говорить о пионерских приветствиях, то существует единственный сюжет, открытый в тридцатые годы. Все остальное – модификации.

Я достал одну из своих предыдущих работ – копии у меня подшиты в специальную папку – и начал перелицовывать. Делается это так. Например, в старом варианте читаем:

Реет над нами победное знамя, И, словно клятва, доносится клич:
Мы счастливы жить в одно время с вами, Дорогой Леонид Ильич!

Кстати, это было одно из лучших моих приветствий. Рассказывают, еле переставлявший ноги Брежнев даже заплакал от избытка чувств. В результате я не только получил обещанный гонорар, но еще и бесплатную путевку в Болгарию на Золотые Пески. Там у меня состоялся головокружительный роман с черненькой и сладкой, как лакричный леденец, Снежаной из Тырново. Мы отплывали далеко от берега и любили друг друга в открытом море, захлебываясь счастьем и горько-соленой водой. Пожалуй, лучше мне было только с Анкой... Снежана втрескалась в меня по самое некуда. Она все допытывалась, неужели после всего случившегося мы можем расстаться, а я энергично кивал головой, что у болгар, в отличие от всех других народов, означает: «Нет, никогда!» Она все время спрашивала, люблю ли я ее больше жизни, а я отрицательно качал головой, что по-болгарски, наоборот, означает «да». Неправда, что лучше всего объясняться с женщинами по-французски. Только – по-болгарски!

Но вернемся к приветствию. Понятно, что со времени написания предыдущего жизнерадостного текста политическая ситуация в стране резко изменилась, и приветствие настоятельно требовало

принципиальных коррективов, отражающих новую объективную реальность в Отечестве. Подумав, я пересочинил так:

Реет над нами победное знамя, И, словно клятва, доносится клич:
Мы счастливы жить в одно время с вами, Дорогой Михаил Сергеевич!

Конечно, не шедевр, но если чтец-декламатор сделает ударение на последнем слоге – «Сергеев^Ич», – сойдет. Работа шла радостно и споро, но впоследствии, когда текст был уже готов и сдан заказчикам, возникли трудности. В частности, с этим четверостишием. И хотя я к тому времени сбежал в Семиюртинск, меня там разыскал – через Сергея Леонидовича – идеолог Журавленко, как раз курировавший это приветствие.

– Не пойдет! – крикнул он сквозь междугородный телефонный треск. – Вы игнорируете новые реалии общественной жизни. И потом, что это еще за «Сергеев^Ич»? А производили впечатление сообразительного человека. Надо переделать!

Реалии к тому времени, не без моей помощи, действительно изменились: завывали свежие ветры и объявилась перестройка. Пришлось напрячься:

Свежими ветрами вздыблено знамя. Клич перестройки нам дорог и мил: Мы счастливы жить в одно время с вами, Дорогой Горбачев Михаил!

Новый вариант я переправил в Москву с Эчигельдыевым, вызванным на какое-то совещание. Через день снова позвонил рассерженный Журавленко:

– Вы что-то недопонимаете! Где новое мышление? И как вообще можно обращаться к генеральному секретарю по имени? Срочно переделать!

– Понимаете, я сделал это абсолютно умышленно...

– Тем хуже для вас!

– Выслушайте! Чем отличается новый лидер государства от прежних? Или вы считаете, Михаил Сергеевич ничем от Леонида Ильича или Константина Устиновича не отличается?

– Нет, я так не считаю! – поспешно ответил Журавленко. – Он руководитель нового типа.

– А раз он руководитель нового типа, то и обращаться мы к нему должны по-новому! Согласны?

– Согласен.

– А если мы обращаемся к нему по-новому – «Горбачев Михаил», то подчеркиваем тем самым его прирожденный демократизм!

– Вы так считаете? – после долгого молчания спросил Журавленко.

– Ну сами посудите: американцы ведь не обращаются к своему президенту Рональд Уилсон Рейган?

– Резонно. Я должен подумать.

Он подумал и разрешил все оставить как есть, только попросил дописать еще кусок про новое мышление. Я дописал: очаровательные девчушки с большими белыми бантиками в косах под звонкий смех зала уносят со сцены «старое мышление» – мерзкие, неприлично сморщенные мозги из раскрашенного папье-маше, и приносят из-за кулис другие – из того же папье-маше, но большие, красивые, налитые соком созидательной мысли... Горбачев присутствовал на конференции и пришел от пионерского приветствия в восторг. Он только что встречался с Маргарет Тэтчер в Лондоне, и железная леди звала его попросту – Майкл. Генсеку очень понравилось, что во вверенной ему стране даже дети зовут его просто «Михаил». Приступая к реформам, он очень переживал, сможет ли расшевелить эту дремлющую азиатскую машину, а тут – сразу такой энергичный отзыв с самого юного фундамента державы! Забегая вперед, скажу, что Журавленко за чуткость к общественным переменам резко повысили. Впрочем, он и в самом деле оказался чутким человеком: одним из первых переметнулся на сторону Ельцина и в следующий раз позвонил мне как руководитель предвыборной кампании первого российского президента. По его заказу я придумал плакат, который вы все, конечно, помните: на огромном глянцевом листе в цвете изображены три богини (позировали, между прочим, победительницы конкурса «Мисс Бюст-1989»), а чуть в сторонке – задумавшийся Парис, очень похожий на рядового избирателя. Но главное – мои стихи:

На месте Париса Я б выбрал Бориса!

Этот плакат был перепечатан всеми демократическими газетами и журналами. Меня пригласили в семиюртинский общественный комитет поддержки Ельцина и выдали в качестве премии сто долларов – это была первая честно заработанная валюта в моей безвалютной жизни! Вполне возможно, что меня ждала блестящая политическая карьера, и Журавленко даже справлялся, когда же я наконец вернусь в

Москву, но по трагическим обстоятельствам я медлил и к тому же имел неосторожность почти бесплатно сочинить агитационные стихи для кумырского отделения либерально-демократической партии:

Хочешь порядка во всем и всегда — Смело скажи Жириновскому — да!

Моя мелкая политическая беспринципность стала известна, это все и погубило. Увы, я слишком поздно понял, что беспринципность должна быть последовательной и крупномасштабной — только в таком случае можно рассчитывать на политическую карьеру. Именно так поступал сам Журавленко. Кстати, он уже сбежал от Ельцина и теперь организовал собственную партию демократического патриотизма. Подозреваю, что Журавленко сам теперь будет баллотироваться в президенты. Незадолго до вылета в Катанью я сочинил по его просьбе такую подпись к будущему предвыборному плакату:

Есть у демопатриота Ежедневная забота — Смысл и жизни, и борьбы: Отряхнуть народ от лени И поднять его с коленей, А Россию — на дыбы!

Но денег пока не получил...

Да, Горбачева погубила любовь к чутким, сметливо-переметливым соратникам. А Ельцина доконает его нездоровая любовь к сподвижникам, владеющим иностранными языками! Понятная слабость для человека, не получившего в юности порядочного образования... Но тут трудно удержаться и не вспомнить историю, приключившуюся с Недвижимцем. Он в свое время окончил сельскую школу, где иностранный язык по причинам бездорожья и удручающей удаленности от очагов культуры вообще почти не преподавали, если не считать уроков школьного завхоза, которого в конце войны немцы угнали на работу в Германию, но подросшие наши на полпути отбили и вернули домой. Так вот, Недвижимец, даже разбогатев, долго не мог жениться, потому что непременно хотел взять девушку, в совершенстве владеющую одним из европейских языков, предпочтительно английским. Он даже сваху за большие деньги нанял, и та все же нашла. Девушка была так себе, не первой свежести, но окончила спецшколу, стажировалась за границей и на языке Шекспира щебетала, как птаха. Первое время Недвижимец был положительно счастлив. Но потом стал замечать за своей женой разные странности: то она засмеется невпопад, то яичницу на сметане поджарит... Решил

навести справки и выяснил: спецшколу она действительно окончила, но спецшкола эта была особенная, единственная в Москве, где применялась уникальная методика обучения иностранным языкам детей с дефектами умственного развития. Методика оказалась чудодейственной, ума она, правда, не прибавляла, но совершенное знание иностранных языков обеспечивала. Автор методики, он же директор школы, защитил на этом диссертацию и получил золотую медаль ВДНХ. А жена Недвижимца чуднела день ото дня. Тут как раз начались гайдаровские реформы, и она, увидав в телевизоре какого-нибудь министра-реформатора, хлопала в ладоши, пускала пузыри и кричала: «А я с ним в одной школе училась!..» Недвижимец хотел было развестись, да куда там – она уже забрюхатела. Сначала он очень переживал, особенно за будущего ребенка, но потом рассудил: если после окончания этой спецшколы люди аж до министров выросли, то что, собственно, беспокоиться... Сейчас его странноватенькому сыну только три года, но Недвижимец уже заранее оплатил ему место в этой замечательной спецшколе!

Витек воротился поздно и был хмур до неузнаваемости.

– Ну и как воспоминания? – спросил я.

– Иди ты со своей старухой!

Далее последовало замысловатое крупноблочное ругательство, которое, конечно, не под силу выдумать одному человеку, и могло оно родиться только усилиями многих поколений отечественных строителей в условиях чудовищной организации труда. Выразившись, Витек проследовал в ванную. Но сразу вернулся с тюбиком шампуня:

– А поядреней у тебя ничего нет?

– В каком смысле?

– Ну, какого-нибудь хозяйственного мыла?

– Нет.

– А стиральный порошок есть?

– Есть, под ванной.

Из любопытства и сострадания я пошел за ним следом. Витек нашел непочатую коробку «Лотоса», надорвал и полностью высыпал в горячую воду. Потом разделся и влез по горло.

– Спинку потереть?

– Иди ты!

Далее последовало еще более замысловатое ругательство, отличающееся от предыдущего примерно так же, как «Фауст» Гёте отличается от «Фауста» Марло. Могуч и неисчерпаем русский народ!

В это время позвонил Жгутович:

– Спишь?

– Тружусь.

– Слушай, может, Арнольду позвонить? Пусть еще «амораловки» подошлет!

– Совсем плохо?

– Да хуже некуда... Позвони, а?

– Вот ты и позвони! Я тебе сейчас телефон продиктую.

– Нет, ты позвони. Он на меня тогда в ресторане обиделся!

– И правильно сделал! Не будешь над людьми насмеяться. Он же не виноват, что ты в Москве родился...

– Позвони, – продолжал клянчить Жгутович. – Жена уже на пределе! А может, у тебя все-таки осталось?

– Ладно, позвоню, – согласился я, глянув на бутылку, где было уже не больше стакана.

А этого, для того чтобы плавно от халтуры перейти к «главненькому», явно маловато.

– Что там наш Витек подельывает? – спросил воодушевленный Стас.

– Почему это «наш»?

– Ну, твой, твой.

– В ванной, грехи смывает.

– Заезжал в ЦДЛ – только и разговоров о нем, – тоскливо сообщил Жгутович.

– То ли еще завтра будет!

– А что будет?

– Узнаешь. Ты с Кипятковой знаком?

– Да... Она к нам в магазин заходит.

– Вот когда в следующий раз зайдет, ты ее про акашинский роман и спроси... Чего молчишь?

– А чего говорить?

– В среду читай «Литературный еженедельник», там Закусонский про моего Витька пишет.

– Ну, это еще не слава.

– Курочка по зернышку клюет!

– Ты все равно не выиграешь!

– Выиграю! Так что скорее дочитывай свою энциклопедию, я уже для нее на полке место освободил. Что ты там еще интересенького вычитал?

– Да все то же, – упавшим голосом сообщил Жгутувич. – Революцию в России, оказывается, тоже масоны сделали. Керенский был масоном. И все остальные. Ленин, наверное, тоже, но об этом не пишут. Вообще я поражен: как какая-нибудь мало-мальски историческая личность – так масон; как выдающийся человек – так масон...

– Может, они оттого историческими да выдающимися стали, что масонами были?

– Я подумаю...

– Подумай! Спокойной ночи!

Я положил трубку, очень довольный тем, как уел самонадеянного Жгутувича, и вдруг почувствовал в комнате бодряще-удушливый запах прачечной. Это был вымывшийся Витек.

– Что это за масоны такие? – спросил он.

– Как бы это тебе попонятнее объяснить, – начал я. – В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг... Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество...

– Какое же оно, на хрен, тайное, если о нем десятки книг написаны? Это вроде как у нас на стройке тайное общество было. Три парня стройматериалы с площадки коммуниздили и на сторону продавали, а нам, чтобы молчали, каждый день выпивку ставили. Прорабу, правда, деньгами отдавали...

– Накрыли их?

– Не-е... До сих пор коммуниздят!

– Ну вот, – кивнул я, – а ты про масонов удивляешься. То же самое... И ты на меня, Витек, не злись! Увы, путь к славе вымощен дерьмом. Но победа не пахнет! Ради этого стоит потерпеть. А я со своей стороны обещаю: старушек больше не будет. Договорились?

– О'кей – сказал Патрикей! Я пошел спать.

– А мне еще поработать надо...

Но ни спать, ни работать нам не пришлось: в двадцать минут первого позвонил Одуев и сказал, что я должен срочно приехать к

нему домой, что у него намечается редкостная ночь поэзии и чтоб я обязательно прихватил с собой «этого с кубиком Рубика и романом „В чашу“.

– А ты откуда знаешь?

– Вся Москва знает. Жду с содроганием!

Я растолкал Витька и объяснил, что мы едем в гости.

– Ты охренел – в такое время! – возмутился он, зевая во все лицо.

– У писателей жизнь только начинается. Привыкай! И прими душ

– ты ведь в стиральном порошке.

Виктор, пошатываясь и налетая на мебель, пошел в ванную, и я, видя его такое беспробудное состояние, на всякий случай сунул в портфель, кроме папки с романом, еще и бутылку с остатками «амораловки».

17. Ночь поэзии

17. Ночь поэзии

Родители Одуева в ту пору трудились уже в Америке, очень тосковали по Родине, но о неизбежном, как смерть, возвращении в Москву думали с ужасом. С еще большим ужасом думал об этом сам Одуев. Видеомагнитофона, правда, уже не было – его все-таки украли. Зато на покрытом реликтовой пылью столе стоял компьютер – большая диковинка в те времена.

Одуев прямо на пороге обнял меня и расцеловал. То же самое он проделал с Витьком, но при этом несколько раз чихнул из-за простынной свежести, исходившей от моего воспитанника.

– Молодцы, что приехали! Пошли, с людьми познакомлю!

В комнате двое мужчин азартно колотили по клавишам компьютера. Игра была незамысловатая: возникавший то в одном, то в другом месте экрана удав жрал кроликов, и задача состояла в том, чтобы уберечь от него как можно больше ушастых бедолаг. Если это удавалось, то на экране – в качестве поощрения – появлялось какое-то членистоногое и принималось с тем же энтузиазмом жрать беззащитных рыбешек. Задача же оставалась прежней.

Один из мужчин был мой давний знакомый Любин-Любченко, одетый, как всегда, в старенький кургузый костюмчик с галстуком необязательного цвета – такие обычно повязывают безымянным покойникам, когда хоронят их за казенный счет. (Запомнить!) Обтрепанные манжеты рубашки на несколько сантиметров высывались из коротких рукавов, и казалось, у Любин-Любченко вместо рук – копыта. Дополнялось все это длинными немытыми волосами, ассирийской бородкой и, главное, замечательно алыми, улыбочиво-лоснящимися губами. Словно он только что съел намащенный блин и теперь удовлетворенно облизывается.

Второй гость был мне незнаком: лет тридцати пяти, тощ и многозначительно хмур. На самовязаном свитере бессмысленно синел ромбик выпускника технического вуза. Я почему-то сразу вспомнил один трамвайный эпизод. Подвыпивший, уже явно успевший несколько раз упасть гражданин настойчиво предлагал хорошо одетой

интеллигентной гражданке безотлагательную и неутомимую любовь, а когда был отвергнут, начал громко кричать: «Я электротехнику закончил! А ты кто такая?» В конце концов его ссадили...

Оба мужчины неохотно оставили компьютер и встали нам навстречу.

– Любин-Любченко, теоретик поэзии! – представился Любин-Любченко и выпростал из манжеты маленькую сухую ручку.

– Виктор Акашин, прозаик, – ответил Витек с достоинством, именно так, как я и учил.

Теоретик нежно сжал Витькину лапу и, не отпуская, оглядел его, особенно почему-то задержавшись на пятнистых десантных штанах.

– Откуда вы такой? – облизнувшись, спросил он.

– Из фаллопиевых труб, – был ответ.

– Забавный юноша... А мы с вами нигде раньше не встречались? – спросил он, переводя глаза со штанов на доху.

– Вряд ли, Виктор в Москве недавно, – вмешался я.

– Может быть, мы встречались в прошлой жизни? – маслено улыбнулся теоретик.

– Трансцендентально, – буркнул Витек, покосившись на мой палец.

– Тер-Иванов, – хмуро представился второй и угрюмо добавил: – Практик поэзии.

– Акашин, автор романа «В чашу», – отрекомендовался ученый Витек.

– Вы модернист?

– Скорее нет, чем да, – ответил Витек согласно приказу.

– Модернистов презираю! – сказал Тер-Иванов.

– А постмодернистов? – уточнил я.

– Еще больше!

– Амбивалентно! – покосившись на мой палец, сказал Акашин.

– Подобное уничтожается подобным! – вздохнул Любин-Любченко и погладил узоры на Витькиной дохе.

В это время с кухни, неся блюда с бутербродами, появились две женщины. Одну из них я тоже знал. Это была Стелла Шлапоберская с телевидения, давняя подружка Одуева, от которой, как от осеннего гриппа, он никак не мог отвязаться. С ног до головы одетая во все кожаное, Стелла напоминала зачехленную вязальную машину. Она

была коротко острижена (в пору моего детства такая стрижка называлась «полубокс»), а в ушах висели огромные серьги, похожие на елочные украшения. Вторая была совсем еще девочка, в школьной форме и с толстой русой косой. Это с ней несколько дней назад Одуев ужинал в ЦДЛ.

– Настя, поэт, – представил он девочку, и она смущенно протянула розовенькую ручку с чернильным пятнышком на среднем пальчике.

– А я – просто Стелла, – сказала Шлапоберская и поцеловала обалдевшего Витьку прямо в губы. – От вас пахнет мужской чистотой!

– Вестимо, – самостоятельно отозвался Витек и покраснел, видимо вспомнив о своем купании в стиральном порошке.

– Не смущайте молодого человека! – ревниво облизнулся Любин-Любченко и, взяв Витьку под руку, повлек к дивану, усадил и пристроился рядом.

Стелла мгновение постояла в растерянности, потом решительно подошла к дивану и села, прижавшись к Витьку с другой стороны.

– Содержание алкоголя в крови упало до смертельного уровня! – крикнул Одуев и вытащил из-под стола две бутылки крепленого вина, которое тут же и разлил в разнокалиберные чайные чашки.

– За поэзию! – провозгласил он.

– Хотите на брудершафт? – спросила Стелла Витьку, не дожидаясь ответа, просунула свою чашку под его руку и выпила. – Пейте!

Акашин, неуклюже изогнувшись, выпил. И тут же был жадно поцелован Стеллой в губы. Чуть отхлебнув вина, Любин-Любченко заботливо поднес Витьку бутерброд. Настя опрокинула свою чашку резко и зажмурил глаза, точно запивала анальгин.

– Как вы относитесь к «ящичку»? – заглядывая Акашину в глаза, спросила Стелла.

– Чего?

– К телевидению, – пояснила она. – Я его ненавижу!

– Телевидение – Молох, питающийся человеческими мозгами! А вы, Стелла, его неумолимая жрица! – многозначительно сказал Любин-Любченко и погладил руку оторопевшего Витьку.

Одуев еще раз налил всем вина, заставил выпить уже без всякого тоста, потом подошел к Насте, поцеловал ее в тонкую беззащитную шею и приказал:

– Читай!

– Что? – жалобно спросила она.

– «Колонну».

Настя обхватила себя нервно подрагивающими руками, откинула голову и низким, завывающим голосом начала:

Томит одинокое лоно, И зябко раздетым плечам: Дорическая колонна Мерещится мне по ночам...

Когда она закончила, Одуев глянул на нас с той гордостью, какая бывает у хозяина, когда его любимая собака на глазах у гостей подает лапу по первой же команде.

– Высказывайтесь!

Все почему-то посмотрели на Витька, а тот скосил глаза на мои пальцы и произнес:

– Ментально.

– Какая вы еще наивная, Настенька! – вздохнула Стелла и положила свою стриженую голову на плечо моего воспитанника.

– Пластмассовые кружева, – рывкнул Тер-Иванов и закурил вонючую «Приму».

– Ну почему сразу – пластмассовые! – заступился я. – Совсем даже не пластмассовые... Это имеет право на существование.

Теперь все посмотрели на Любина-Любченко, он некоторое время в задумчивости теревил акашинский мизинец, потом заговорил:

– Да... Наверное... Вы, деточка, просто лапочка! Это, конечно же, возрастное. Дело в том, что одиночная колонна означает «мировую ось». Это космический символ. Но она может иметь и чисто эндопатическое значение, определяемое направленным вверх символом самоутверждения. Вам восемнадцать?

– Шестнадцать, – поправила она.

– Ах, даже так! – облизнулся Любин-Любченко и посмотрел на Одуева с беспокойным удивлением. – Тем не менее тут присутствует, без всякого сомнения, и фаллический символ. Древние приписывали Церере колонну как символ любви. Кроме того, древние считали колонну проекцией позвоночного столба, ибо позвоночный столб тоже знак мировой оси... Вы на уроках, Настенька, не сутулитесь за партой?

– Нет... Раньше сутулилась, а теперь уже нет.

– Ну и славненько.

– Почему же дорическая, а не ионическая или, скажем, коринфская? – полюбопытствовал я.

– Да, в самом деле? – кокетливо подхватила Стелла, поправляя Витьку уимблдонскую повязку.

– Стеллочка, – маслено улыбнувшись, произнес Любин-Любченко с тонкой издевкой. – Если вы в вашем возрасте этого не поняли, то вам лучше не беспокоить мужчин.

Сказав это, он попытался полностью завладеть акашинскими пальцами, но мой гений испуганно отдернул руку.

– А я не у вас, я у Насти спрашиваю! – огрызнулась Стелла.

– Не знаю. Я так чувствую... – растерянно объяснила девочка.

– Правильно, лапочка, правильно вы чувствуете! – успокоил Любин-Любченко и многозначительно посмотрел на Одуева.

Тот снова налил всем вина и предложил выпить за Настю.

– Вы любите Ахматову? – чокаясь с ней, спросил я.

– Не очень. Она так и не сумела переплавить оргазм в поэзию!

– А Цветаеву?

– Нет. Она так и не сумела переплавить поэзию в оргазм.

Теперь уже я посмотрел на Одуева с уважением. Тот удовлетворенно засмеялся и снова поцеловал девочку в шею. В это время хмурый Тер-Иванов молча встал, вышел на середину комнаты, заложил руки за спину и, раскачиваясь, как конькобежец, начал без всякого предупреждения:

Шур-шур, тук-тук, Крысы бегут с корабля, Скучно матросам без крыс, Шур-шур-шур-шур, Тук-тук-тук-тук.

Закончив, он так же решительно вернулся на свое место, прыгающими руками достал из кармана пачку «Примы» и снова закурил. Все посмотрели на Акашина, а он на мой дрогнувший левый указательный.

– Скорее нет, чем да!

Услышав это, Тер-Иванов нахмурился и затянулся с такой силой, что сигарета затрещала и брызнула искрами, как бенгальский огонь.

– А мне кажется, что-то есть! – вступилась Настя. И это понятно: любой поэт после похвал становится добрее к чужим стихам, даже очень плохим.

– Брр! – сообщила Стелла и подергала обомлевшего Акашина за ухо.

– А почему сразу «брр»? Это имеет право на существование! – Я решил подбодрить автора.

Теперь была очередь Любина-Любченко, который как бы невзначай перенес сферу своих интересов с руки моего несчастного воспитанника на его колено.

– Что ж вы изменяете верлибру с белым стихом? – попенял теоретик, облизываясь.

– Я не изменяю! – огрызнулся поэт-практик.

Он побурел, достал новую сигарету и прикурил прямо от предыдущей. В глазах его засветилась та тоскливая ненависть, какая бывает только у поэтов, когда ругают их стихи.

– Поэта надо судить по его собственным законам! – выдавил Тер-Иванов из себя вместе со струей сизого дыма.

– Не кипятитесь, – примирительно улыбнулся Любин-Любченко. – Я вам не судья. Но давайте порассуждаем: крыса – злое божество в Древнем Египте. Побег может означать освобождение... Согласны? Фаллический символ крысы означает отвратительное в сексе...

– Я же говорила! – обрадовалась Стелла и нежно взлохматила и без того после порошка торчащие в разные стороны Витькины волосы.

– Вы мне очень мешаете, Стеллочка! – раздраженно сказал Любин-Любченко. (И это была чистая правда!) – Теперь о корабле. Я бы на вашем месте остерегся делать такие смелые политические заявления, ведь плавание корабля с точки зрения любой философии абсолюта отрицает возможность возвращения. К примеру, корабль дураков выражает идею самого плавания без всякой цели... А если мы продолжим вашу мысль и уподобим матросов народу, к тому же скучающему без крыс... Без грязного, скотского в сексе... Вы это хотели сказать?

– Нет! – скрипнув зубами, отозвался Тер-Иванов.

– Может быть! Очень даже может быть. Но каков текст – таков контекст!

Все посмотрели на автора злополучного стихотворения с состраданием, и лишь Одуев – с предвкушением.

– Нет, я имел в виду другое... – пояснил Тер-Иванов. – Я как поэт-практик... – Он заволновался и полез за новой сигаретой.

– Да вы не волнуйтесь! – успокоительно облизнулся Любин-Любченко. – Вполне возможно, корабль у вас входит в традиционную систему символов, обозначающих мировую ось, а мачта в центре выражает идею Космического древа...

– А если трактовать мачту как фаллический символ? – спросила Настя.

– Какая умненькая лапочка! – улыбнулся теоретик. – Конечно, не исключено... Но в таком случае корабль с мачтой, символизирующей фаллос, можно трактовать как полную безнадежность на сексуальную взаимность...

– Какой вы догадливый! – обидно захохотала Стелла и, полноценно обняв бедного Витька, потянула его на себя.

– Вы тоже так считаете, Виктор? – огорченно облизнувшись, спросил Любин-Любченко.

Я по рассеянности выставил левый безымянный, означавший «отнюдь». Акашин некоторое время смотрел на него с недоумением, а потом самочинно сказал:

– Вестимо.

– Для гения вы слишком большое значение придаете условностям! – покачал головой Любин-Любченко.

– Гении – воле, – снова самостоятельно буркнул потерявший управление Витек.

Сделав ему страшные глаза, я, чтобы сменить тему, попросил почитать свои стихи хозяина, славившегося в литературных кругах самой крутой «чернухой», за которую другого бы давно уже привлекли.

– Не боитесь? – игриво спросил Одуев.

– Пуганые! – зло ответил раздраженный Тер-Иванов.

– Ну тогда слушайте! – Одуев подмигнул Насте и задекламировал:
Наш хлеб духмяней, наш кумач алее! Шагаю вдоль Кремля, е...а мать, И хочется на угол Мавзолея Мне лапку по-собачьему задрать...

Настя ответила ему горящим взором, исполненным беззаветного восхищения и жертвенной любви.

– Не задрать, а взорвать! – угрюмо поправил поэт-практик, нашедший наконец выход переполнявшей его обиде.

– Взорвать! – захохотал Одуев. – Взорвать, ты сказал?

– Он неудачно выразился! – заступился я.

– А что скажет теория? – спросил Одуев.

– Теория? Конечно... М-да... – Любин-Любченко осторожно облизнулся. – Собака – эмблема преданности. На средневековых надгробиях изображалась у ног женщины. Учтите, Настенька! В

алхимии собака, терзаемая волком, олицетворяет очищение золота при помощи сурьмы. Это вы тоже учтите!

По слухам, Любин-Любченко три года провел в лагере за что-то противоестественное и был крайне осторожен в политической тематике.

– И это все? – разочарованно спросил Одуев.

– А что вы еще от меня хотите услышать? – в свою очередь удивился теоретик, предупредительно улыбаясь.

– Ну и ладно, – кивнул Одуев. – А теперь пусть Виктор прочтет нам что-нибудь из своего романа.

– Я? – оторопел Витек.

– Читай! Давно не слушал гения! – злобно потребовал Тер-Иванов, предвкушая скорую расправу над Акашиным.

– Пожалуйста! – попросила Стелла, обвиняясь вокруг Витька, как кожаная лиана.

Я сделал пальцами «рожки».

– Не варите козленка в молоке матери его! – ответил Витек.

– А вы непростой юноша! – горестно облизнулся Любин-Любченко и глянул на Акашина с ласковой безнадежностью.

– Нет, пусть читает! – настаивал Тер-Иванов. – Нечего козлятами нам зубы заговаривать!

– А что он такого сказал? – спросила Настя.

– Что он сказал, лапочка? Он произнес только что десятую, самую таинственную, заповедь Завета, записанного на Моисеевых скрижалях!

Витек ошалело, разинув рот, переводил взгляд то на Любина-Любченко, то на меня. Он и не подозревал, какой глубокий смысл содержался в этой смешной фразе про козленка! Вдруг я услышал шепот над моим ухом: Одуев предлагал мне выйти на пару слов. На кухне царила такая грязь, которой даже при большом желании не достигнешь в одночасье – она должна накапливаться месяцами и даже годами, как угольные отложения. Дело в том, что одуевские родители в целях экономии уже третий год не приезжали в отпуск, а уборкой квартиры, как я понимаю, занимались только они. Стелла для этого была слишком творческой женщиной, а Настя – слишком юной. Но своего поэтического сына родители все же не забывали: на разделочном столе, среди высохших до легкости мушиного крыла

колбасных шкурок стояла новенькая микроволновая печь – тоже большая редкость в ту пору.

– Как тебе Настя? – блудливо почесывая подбородок, спросил Одуев.

– Где познакомились?

– Как где? На вечере контекстуальной поэзии... Где ж еще?

– Не боишься? Родители узнают...

– Знают. Отец уже прибегал. Представляешь, пацан, на год меня моложе! Орал тут на кухне: «Посажу!» А я ему ответил: «Может быть, вы мечтали, чтобы вашу дочь лишил невинности какой-нибудь пэтэушник в подъезде?» Убежал. Потом мамаша прискакала. Ты знаешь, «выглядн», как выражаются поляки, вполне еще товарный. Говорит: «Мы с мужем посоветовались. Возможно, вы и правы. Тем более что Настя вас любит. Она у нас девочка сложная, вот еще и стихи пишет... А у поэтесс в этом отношении все иначе. Я знаю, я про Цветаеву книжку читала. Только вы ее не обижайте! И конечно, главное, чтобы это на учебе в школе не отразилось...» Теперь перезваниваемся. Когда Настя уходит, звоню, а они на троллейбусной остановке ее встречают. Сначала просили, чтобы она домой ночевать возвращалась, а теперь и вообще оставаться у меня разрешили. Передовые родители! Мамаша даже как-то созналась, что сама замуж рано вышла и ничего не видела, пусть хоть дочь...

– Ну и как, на учебе не отражается? – поинтересовался я.

– Что ты! Я же дневник у нее проверяю. Если вижу «тройку» – наказываю, сплю отдельно. Родители счастливы. Она ж до этого неделями в школу не ходила – мечтательная девчонка! Между прочим, очень советую... Юность есть юность!словно новую жизнь начинаешь. Помнишь, как в школе в сентябре первый раз чистую тетрадочку со склеенными еще страничками открывал? Помнишь?! Примерно такое же ощущение! Одна беда: Стелла, как узнала, что у меня с Настенькой серьезно, сразу скандалить начала: мол, на телевидение больше не пустит! И ведь не пустит, стерва! А у меня, говорят, здорово получается! Видел?

Дело в том, что Одуев стал недавно вести по учебной программе цикл передач для школьников «Гений чистой красоты» – об адресатах любовной лирики русских поэтов, и его начали узнавать в метро, чем он страшно гордился и даже старался на улицу выходить в той же

куртке, в которой вел передачу. Но настоящая слава все-таки пришла к нему позже, когда он опубликовал свою знаменитую книжку «Вербное воскресенье».

– Видел, – сдержанно ответил я. – Неплохая передача.

– А Стелка говорит: «Я тебя с разными соплюшками делить не собираюсь! Раз ты такой мерзавец, ищи мне мужика на замену. Самой мне некогда и негде...» Понять-то ее можно: у них же там на телевидении сплошной «Голубой огонек», вроде нашего теоретика! И потом, женщина она требовательная, привередливая, с кем попало не заведется! Я уж месяц чуть не каждый день смотрины устраиваю. Никто ей не нравится. Сегодня, как этого Тер-Иванова увидела, на кухню меня вызвала и чуть не избила, кричала: «Кого подсовываешь! Я себя что, на помойке нашла?» Я так растерялся, что с испугу Любченке позвонил... А потом про тебя вспомнил! Кажется, понравился ей твой бармалей! Чудные они, бабы, ей-богу!

– Теперь осталось, чтобы твоя Стелка моему бармалею понравилась. Он себя тоже не в мусоропроводе нашел!

– Да ладно! Ты объясни, что она его по телевизору покажет. За это можно потерпеть. Я же терпел! Отдаю ему Стелку, но при одном условии...

– При каком условии?

– Когда она его в эфире будет спрашивать, кого он больше всего ценит из современных поэтов, он должен назвать меня...

Мы вернулись в комнату. Стелла ласково гладила бедного Витька по голове, Тер-Иванов мрачно курил свою вонючую «Приму», а слабенькая Настя задремала, уронив головку на руки. Любин-Любченко все еще говорил:

– ...запрет на смешанную пищу распространен почти среди всех народов. Особенно это касается смешения мясного и молочного. Конечно, такую устойчивую традицию можно объяснить и симпатической магией: вскипятишь молоко – повредишь корове или, скажем, козе: не будет удоя... А если сваришь козленка в молоке матери его...

– Не будет козлят! – радостно вставила Стелла.

– Совершенно правильно! – удовлетворенно облизнулся теоретик.

– Однако последние исследования наводят на мысль, что запрет на смешанную пищу – это, скорее всего, зашифрованный символ

взаимного отчуждения носителей разного типа хозяйствования – земледельцев и скотоводов и шире – разных типов культуры... Вы это имели в виду, Виктор?

– Амбивалентно, – без подсказки ответил тот.

– Амбивалентно? – удивился Любин-Любченко и посмотрел на моего друга с безнадежным восхищением. – Попробуем тогда взглянуть на эту проблему с другой стороны. Козел в символической философии ассоциируется с дьяволом. Но помимо этого он является также мистическим знаком отца...

Расходились утром, когда за окном посерело, точно кто-то развесил выстиранные солдатские подштанники. Настя так и не проснулась – ее перенесли на диванчик и укрыли пледом. Не знаю, снилась ли ей в этот момент дорическая колонна, но на пухлых детских губах играла безмятежно-счастливая улыбка. Тер-Иванов, нещадно куря, писал на листочке бумаги какие-то сложные математические расчеты: в разговоре выяснилось, что по профессии он инженер-сопроматчик, и Одуев попросил его рассчитать, сколько понадобится тротила, чтобы взорвать Мавзолей. Я попытался вмешаться, но ведущий передачи «Гений чистой красоты» метнул в меня холодный взгляд, означавший – не мешай работать. Я понял, что несчастного поэта-практика он из своих рук уже не выпустит. Любин-Любченко, окончательно убедившись, что бороться со Стеллой бесполезно, зачем-то оставил Витьку свой телефон и уехал – часа в четыре. Акашин тоже уже начал клевать носом, и я, чтобы взбодрить, вызвал его на кухню и дал ему приложиться к бутылке с «амораловкой».

На улицу мы вышли втроем. Машину поймали довольно быстро. Усадив Витька со Стеллой, я уточнил, где именно в Коньково она живет, и спросил водителя, во что обойдется мне это свадебное путешествие. Шофер критически осмотрел мою одежду, оценил степень моего алкогольного опьянения, потом оглянулся на пассажиров, задержавшись взглядом на Стелле, все норовившей залезть рукой под Витькину майку с надписью «LOVE IS GOD», и назвал чудовищную сумму. Вздохнув, я расплатился.

– А ты? – испуганно вскричал Витек, сделав попытку выбраться из машины.

Совместными усилиями мы его удержали.

– Порошка купи, гад! – успел крикнуть Акашин перед тем, как автомобиль рванул с места.

А я, побренчав в кармане оставшейся мелочью, отправился к ближайшему метро. По пути я думал о том, что если в иссушенной социалистическими экспериментами России хоть в ком-то и остался дух здорового предпринимательства и рыночного мышления, то это, без сомнения, таксисты. С них, должно быть, и начнется возрождение Отечества.

18. Бостон – город хлебный

18. Бостон – город хлебный

Добравшись домой, я завалился спать. И мне снова приснилась Анка, но одетая почему-то наподобие Стеллы во все кожаное – даже на руках у нее были длинные перчатки. Анка сидела в моей комнате, за моим письменным столом и печатала на моей «Эрике» под мою диктовку. А я ходил из угла в угол, курил, как Тер-Иванов, одну сигарету за другой и диктовал мой «главненький». Мною владело то упоительное, восторженное, редчайшее и потому особо памятное любому пишущему человеку состояние, когда кажется, что ты можешь все, когда твое стремительное, безжалостное, когтистое слово бросается на зазевавшуюся мысль, как коршун на куропатку, когда придуманные тобой люди начинают жить своей собственной непридуманной жизнью, а ты сам вдруг становишься для них чем-то вроде судьбы, античного рока, милующего или перемалывающего, когда ты ощущаешь себя бессмертным, ощущаешь еще даже острее, чем в объятиях любимой женщины. Но, упиваясь своим задыхающимся бессмертием, ты боишься только одного – внезапно умереть и не закончить работу. Да, умереть и лежать под презрительными взглядами прохожих на заплыванной и замусоренной окурками обочине, словно чудище из «Аленького цветочка», которое только-только начало превращаться в юного принца, но так и сдохло, недопревратившись... (Ай да я! Ай да сукин сын! Запомнить.)

Но сон был не об этом, а вот о чем. Диктуя, я шагал из угла в угол, каждый раз на какое-то мгновение поворачиваясь к стукащей на машинке Анке спиной, и вот когда в очередной раз я оказался к ней лицом, то от неожиданности замолчал на полуслове: она сидела на табурете совершенно голая – только «командирские» часы блестели на тонком запястье. Тело у нее – долгое, нежное, загорелое, с узенькой светлой поперечной полосочкой от купальника. Она оглянулась на меня, призывно изогнулась, точно от затылка к ямке между ягодицами протянулась невидимая тугая тетива, и облизнула губы. «Ты любишь меня?» – дрожащим голосом спросил я и начал торопливо и бестолково раздеваться. «Скорее нет, чем да...» – покачала головой

Анка. «Я люблю тебя, люблю тебя!» – задыхаясь, повторял я, стаскивая с ноги ботинок. «Обоудно!» – ответила она, по-кошачьи потягиваясь. Наконец, сняв последнее, я бросился к ней и вдруг увидел, что она снова одета, на руках снова длинные перчатки и она продолжает быстро стучать по клавишам, хотя я давно уже не диктую. Потом внезапно Анка остановилась, повернула голову и с мучительным вниманием посмотрела на мою постыдно и неуместно напрягшуюся плоть – и начала хохотать, сначала хрипло, пытаясь подавить смех, потом, откинув голову, все громче и беспощаднее... Я покраснел и попытался закрыть руками свое осмеянное вожделение, а она все продолжала хохотать...

Разбудил меня, как обычно, Жгутович:

– Привет! Прошу отметить, что специально звоню тебе днем, дабы не потревожить твой почтенный сон!

– Спасибо, ты настоящий друг... А который час?

– Без десяти два. Работаешь?

– На износ... Чего надо?

– Ты звонил Арнольду?

– Нет еще...

– Позвони!

– Сейчас.

– А как там наш... твой Витек?

– Я сдал его на ценное хранение.

– Кому?

– Скоро узнаешь. А что ты так волнуешься?

– Я не волнуюсь. Я переживаю. Ко мне в магазин утром заходили несколько писателей, сказали, что Кипяткова нашла какого-то гения. По приметам похож на нашего... на твоего Витька!

– А я тебя честно предупреждал.

– Еще был Медноструев. Ругал масонов и евреев, но предупреждал, что из Сибири приехал какой-то молодой парень, который всем им скоро утрет нос.

– Интересно!

– Еще был Ирискин. Намекнул, что познакомился с одним очень талантливым юношей, который скоро утрет нос Медноструеву... Неужели они все имели в виду Витька?

– А кого же еще? Ты читаешь энциклопедию-то?

– Дочитываю... А как ты думаешь, в Советском Союзе есть масоны?

– Точно не знаю, но по полезным ископаемым мы на первом месте. Должны быть.

– Мне тоже так кажется. Ну, пока... Позвони Арнольду!

Он повесил трубку. Я чертыхнулся, вспоминая сон, и пошел в ванную. Умылся. Налил воды с пенящимся шампунем и нырнул в этот теплый сугроб. Со стороны я, наверное, был похож на наполеоновского солдата, оставшегося в коварных снегах России. Я лежал и думал, думал о том, почему-таки Анка приснилась мне сидящей за пишущей машинкой. Почему она приснилась мне голой и хохочущей – понятно. Объяснимо даже то, почему сначала одетой, потом обнаженной и снова одетой: она любила позлить меня. Но почему за машинкой? Она никогда мне не печатала! В ванной я так ничего и не надумал, а вот завтракая пельменями с чаем, я все-таки понял, в чем дело! Мне всегда хотелось иметь настоящую писательскую жену. Кстати, со своей первой супругой я – подсознательно, конечно, – разошелся именно по этой причине. Она была ненастоящей писательской женой: ей было скучно слушать мои разглагольствования о смутных творческих замыслах и мои искрометные суждения о том, что Пруста можно дочитать до конца, если только ты парализован и по этой причине ничего другого делать не в состоянии. Мне хотелось, чтобы она тайком записывала за мной и складывала записи куда-нибудь в заветную женскую коробочку. Смешно, конечно, но мне очень этого хотелось! Я бы, заметив, как она записывает, подшучивал над ней, называл ее записи «Евангелием от Матвеихи» и был бы счастлив! Но она относилась к моей профессии с терпеливой брезгливостью, как к неопасной, но неприятной болезни, вроде псориаза, когда раза два-три в год все тело обсыпается огромными шелушащимися болячками. Скрепя сердце на редакционные звонки она еще как-то отвечала, но чтобы сесть за машинку – об этом не могло быть и речи. И не потому, что я был непечатающимся литературным ничтожеством! Если б она была замужем за Достоевским, точнее, будь я Достоевским, она все равно, входя в комнату, некоторое время иронически смотрела бы, как, склонившись над столом, я сочиняю, допустим, «Бесов», потом

вздыхала бы и говорила насмешливо: «Федор Михайлович, а картошка-то тю-тю – кончилась!»

Значит, это был просто сон о настоящей писательской жене! Вроде жены этого травматологического верлибриста Неонилина, которая берет трубку и говорит, всегда умирая от гордости: «Извините, муж не может подойти – он работает!» И я сразу представляю себе, как Неонилин работает – выжимает из двух своих оставшихся при исполнении извилин бездарную верлибрияину, точно мыльную воду из перекрученного белья! Но настоящую писательскую жену – в самом подлинном смысле этого слова – я встречал только один раз в жизни. Речь, конечно, о знаменитой супруге прозаика Бодалкина! Это была уникальная женщина: ее можно было часто встретить в издательстве, сидящей вместе с редактором над рукописью своего мужа, или в бухгалтерии, возмущающейся издевательски низким гонораром, или в приемной Николая Николаевича – пришедшей требовать дачу в Перепискино... Иногда она появлялась вместе с мужем и напоминала при этом заботливую сестру, выведшую на прогулку своего беспомощного братца-дауна, который, вопреки сложившейся психиатрической традиции, не пускал радостные слюни, но задумчиво курил дорогую английскую трубку.

Она даже на писательские собрания ходила вместо него, объясняя, что муж обдумывает новый роман и никак не может прийти сам. Кстати, это обстоятельство очень выручило Бодалкина во время знаменитой травли Пастернака. Когда всех мало-мальски приличных писателей заставляли ругать бедного автора «Доктора Живаго», жена, выскочив на трибуну и сославшись, как обычно, на занятость мужа, так отчихвостила Бориса Леонидовича, что вскоре им выделили давно уже обещанную квартиру в писательском доме. Рассказывают: уже плохо соображавший Брежнев, вручая в Кремле прозаику Бодалкину орден, по ошибке чуть было не приколот его к груди этой самоотверженной писательской жены, конечно же, пришедшей на вручение вместе с мужем.

Забегая вперед, скажу: когда разразилась гласность, писателям, громившим Пастернака, стало мучительно стыдно и они начали виниться. И тут Бодалкина заявила, что к тому выступлению ее муж, обдумывавший роман, не имеет никакого отношения, что это было ее глубоко личное мнение, в котором она, разумеется, раскаивается.

И тогда выяснилось: Бодалкин – единственный из писателей старшего поколения не имеет прямого отношения к мрачным временам идеологического насилия над свободным художественным словом. На попытки завистников через прессу доказать, будто в данном случае чрезвычайно уместна поговорка «Муж и жена – одна сатана», Бодалкина остроумно ответила тоже через прессу, что хоть муж и жена – едина плоть, но не один мозг!

И вдруг, понервничав из-за того, что вместо обещанного восьмитомного собрания сочинений мужу выделили всего-навсего шеститомное, она скоропостижно скончалась. Хоронила ее вся литературная Москва, трогательно прощаясь с единственной и последней настоящей писательской женой. Вскоре после этого я встретил Бодалкина в Доме творчества «Перепискино» – румяного, бодрого, с неизменной английской трубкой в зубах. Напористый старичок приставал к официанткам и шумно ругался по телефону с издателем, готовившим к выпуску его воспоминания о том, как он не травил Пастернака. Это, кстати, была последняя работа, в которой ему помогала покойная супруга. Больше он так ничего и не написал. «Видите ли, – объяснял мне в баре Бодалкин за рюмкой водки, – работали мы так: я диктовал, а она печатала на машинке. Потом правила. Потом несла в издательство. Потом держала корректуру. Потом приносила домой сигнальный экземпляр, который я, конечно, не читал, чтоб не отвлекаться от следующего романа. Вы не представляете, какая это была женщина! Она даже с девушками меня знакомила, когда видела, что я закисаю. Такой жены у меня больше уже не будет...»

Вот какие бывают писательские жены! Вздохнув, я выпил «амораловки» и сел за статью о пользе закаливания холодной водой. А в перерыве все-таки дозвонился по межгороду Арнольду. Он принялся долго и нудно (за разговор-то платить мне) рассказывать о том, каких трудов ему стоило добиться разрешения на расширение производства «амораловки» в подсобном хозяйстве редакции, о том, что каждому самому мелкому чиновнику помимо непременных подарочных бутылок с чудодейственным напитком приходится давать на лапу наличными! Дело вообще чуть не сорвалось из-за того, что главный санитарный врач города, вскормленный вроде бы с конца ланцета и вспоенный медицинским спиртом, после работы взял да и по-

дилетантски выкушал целую бутылку подаренного снадобья, и в результате его еле откачали. Но в конце концов все-таки разрешение выдали. Потом Арнольд стал жаловаться, что из-за суеты с организацией производства писать совершенно некогда, а тем временем Москву заполоняет разная агрессивная и бездарная литературная поросль. Вчера из столицы вот вернулся председатель местной писательской организации и рассказал про какого-то парня из глубинки, написавшего якобы гениальный роман, о чем теперь только и говорят в Первопрестольной.

– Так это ж Витек! – засмеялся я.

– Какой Витек? – не сообразил Арнольд.

– Акашин. Племянник вашего редакционного шофера.

– Иди ты! – после пространной паузы оторопел Арнольд.

– Ей-богу!

– Ну ты даешь! А я думал, вы это все в шутку... Значит, твоя берет! Молодец! Так его, книгопродавца ледащего!

В итоге он пообещал через несколько дней подослать мне с оказией пару бутылок «амораловки» при условии, что Жгутович не получит ни капли!

Витек в течение всего дня так и не позвонил – должно быть обиделся. Честно говоря, без него было пусто и тоскливо. Перед сном я, как обычно, слушал радио «Свобода». Специальная передача была посвящена Бейкеровской премии. Оказывается, ее в конце прошлого века учредил американский булочный король Джон Спенсер Бейкер из Бостона. В наследство от родителей он получил маленькую захолустную пекарню с магазинчиком и еле сводил концы с концами: клиентов было мало. Обычно, засунув в духовку противень с очередной порцией булок, Джон, одиноко поджидая за прилавком покупателей, увлеченно читал романы, в основном приключенческие. Однажды ему попала в руки особенно интересная книга про то, как два закадычных друга, перестреляв из засады индейцев, забрали какой-то золотой тотем с алмазными глазами, потом, понятное дело, один закадычный друг подпоил и прирезал второго закадычного... И как раз в этот захватывающий момент мистер Бейкер почувствовал, как из духовки потянуло дымком. Обжигая руки, Джон вытащил противень: так и есть – булки подгорели и вышли не белые, как обычно, а коричневатые и противно хрустели на зубах, будто свиные хрящи.

Мистер Бейкер страшно расстроился, подсчитывая убытки, но потом на всякий случай выложил бракованный товар на прилавок, предполагая продать его по сниженной цене. А тут как раз в магазинчик заглянули шедшие со смены проголодавшиеся фабричные рабочие, которые и купили подпорченные булки, прельстившись большой скидкой. Но самое удивительное началось на следующий день, когда Джон испек и выставил на продажу булки обычного качества. Заходившие покупатели требовали от него передержанных, хрустящих булок. Желание покупателя – закон для хлебопека. Мистер Бейкер срочно изготовил несколько противней булок по нечаянно открытой им технологии – пока дымком не потянет. Слава о необыкновенном хрустящем хлебе быстро разлетелась по городу, и с утра у магазинчика выстраивалась длинная очередь. Бейкер был вынужден нанять дополнительных рабочих и расширить производство, а потом даже запатентовать свое хлебобулочное изобретение. Вскоре по всему Бостону стали открываться магазинчики с красочными вывесками: «Только у нас – настоящий хрустящий бейкеровский хлеб!»

Двадцатый век мистер Бейкер встретил одним из самых богатых людей Америки. А перед смертью, уже удалившись на покой и передав детям процветающую фирму, он решил разыскать и отблагодарить автора той чудесной книги, которая сделала его богачом и теперь как семейная реликвия хранилась на самом почетном месте в его огромном доме в центре Бостона. Но автор, оказалось, давным-давно умер, причем в страшной нищете и безвестности. Потрясенный мистер Бейкер выделил значительную сумму из своего гигантского состояния и учредил ежегодную премию за лучший роман, присуждающуюся специальным жюри из самых авторитетных американских хлебных магнатов.

К своему удивлению, я узнал из передачи, что этой престижной премии за много лет был удостоен весь цвет мировой литературы. Из русских на нее выдвигался Лев Толстой, и дело было почти решенное, но тут до Бостона дошла информация, что на старости лет выдающийся граф принялся собственноручно пахать землю, и в этом трогательном факте высокое булочное жюри усмотрело косвенное покушение на их кровный бизнес, поэтому в последний момент кандидатура автора «Войны и мира» была отклонена. С тех пор ни

один русский писатель не фигурировал в качестве претендента на замечательную премию. Правда, недавно, прослышав, будто Костожогов пишет или написал какой-то роман, Бейкеровский комитет заслал к нему депутацию. Приехали в село кавалькадой «Мерседесов», но Костожогов к ним даже не вышел. И только после этого соискателем вдруг стал знаменитый прозаик Чурменяев с его на шумевшим романом «Женщина в кресле». Об этом как раз и сообщалось в передаче. Я не вынес и плюнул в радиоприемник. В качестве ответного плевка радио «Свобода» наградило меня интервью с Чурменяевым. Этот мерзавец, захлебываясь, рассказывал о том, что самое яркое впечатление от его недавнего пребывания в США – это американский хлеб, нежный, воздушный, ароматный, питательный и никогда не черствеющий. Потом он стал мрачно повествовать о полном упадке хлебобулочной промышленности в СССР и о невыразимо низком, унижающем человеческое достоинство качестве советского хлеба, о длинных, угрюмых очередях к булочным, о постоянных драках у прилавков, когда покупатели буквально убивают друг друга из-за черствой корки...

В этом месте я выключил приемник, пошел на кухню, достал из деревянной хлебницы свежий батон, который купил как раз в булочной, расположенной в одном доме с районным управлением КГБ, разрезал его вдоль, намазал маслом, медом, посыпал сахаром и съел, запив чаем. Это меня как-то успокоило.

На следующий день Витек снова не позвонил. И хотя, конечно, я мог узнать у Одуева телефон Стеллы и выяснить, в чем дело, но решил тоже выдержать характер. Ишь ты, какой обидчивый Буратино выискался! Характер показывает. Да если я захочу – завтра о нем все забудут, как и не знали! Но все-таки без Витька мне было тоскливо и одиноко. Я даже зачем-то набрал номер Анки, но услышал только унылые длинные гудки.

Неожиданно позвонил Сергей Леонидович:

– Если будешь у меня через двадцать минут – отдам долг. Премию отвалили!

– Ты где?

– В «конторе».

Поскольку после всех трат у меня оставалась какая-то мелочь, я подхватился и поехал. Сергей Леонидович сидел под портретом

прилизанного на пробор невозмутимого Дзержинского и являл ему полную противоположность, будучи взлохмаченным и страшно озабоченным. Когда я вошел, он схватил какую-то бумажку, которую перед этим изучал, и перевернул ее чистой стороной вверх. Но я успел все-таки узнать: это были расчеты Тер-Иванова на предмет взрыва Мавзолея.

– Получи – теми же купюрами, между прочим! – сказал он, протягивая деньги. – Спасибо!

– Рад помочь. Ты занят?

– Очень. Тут такое серьезное дело! Все управление на ушах стоит! Что там у тебя – быстрее!

– Знаешь, я подумал... А если Витек даст интервью радио «Свобода»? Для наживки. А?

– Исключено.

– Чурменяеву можно, а Акашину нельзя?

– Чудило! Чурменяев – это большая политика. Тут не мы решаем. А Витьку – нельзя. Думай дальше. Иди, я очень занят. Мне через полчаса начальству докладывать...

– Что-нибудь серьезное? – невзначай спросил я.

– Ты даже себе не представляешь, хоть раз в жизни дело по специальности обломилось! Ладно, шагай.

И, взяв карандаш, он склонился над своими собственными цифрами, видимо проверяя, правильно ли поэт-практик рассчитал количество тротила. Я хотел было сострить, что если заложить взрывчатку как следует, то саркофаг с Ильичём может выйти на орбиту и стать первым в истории человечества космическим кораблем с мумией космонавта на борту. Но вовремя спохватился, ибо тогда пришлось бы объяснять слишком многое, а дураку Тер-Иванову уже не поможешь. Снова забегаю вперед, скажу, что этого несчастного бомбиста действительно посадили. Он отмотал полгода и вышел по личному распоряжению Горбачева, который после нашей с Витьком выходки стал срочно пересматривать политику партии и государства в отношении инакомыслящих. Начал он, как все помнят, с телефонного звонка ссыльному академику Сахарову. Со временем, как очевидную жертву тоталитаризма, Тер-Иванова избрали в парламент и определили в Комитет по правам человека. Теперь он знаменитый правозащитник, не вылезает из телевизора, а все свои выступления гнет в одну

сторону: мол, пока мы страдали в мордовских лагерях, вы тут перед прежним режимом пресмыкались... Вывод обычно он делает такой: всех, кто не пресмыкается перед нынешним режимом, нужно срочно отправить в мордовские лагеря!

Вечером Витек снова не позвонил. Я допил последний глоток «амораловки» – минут десять держал бутылку перевернутой, чтобы вытекло все до капли. Потом сел и лихо докончил статью о закаливании холодной водой. Для достоверности изложения я даже впервые в жизни, дрожа от отвращения, принял ледяной душ. Поставив точку, я решил заодно уж перевести и поэму знаменитого кумырского поэта Эчигельдыева «Весенние ручьи созидания»:

Весело бегут ручьи созидания по землям дружных народов великой страны. Спешат и впадают они в реки трудового энтузиазма, которые соответственно несут свои воды в океан мирового социализма...

Я быстро подрифмовал «Весенние ручьи созидания» и, поскольку действие «амораловки» еще не кончилось, чтоб не пропадало добро, заполнил на два года вперед расчетные книжки платы за газ, электроэнергию, телефон и прочие коммунальные услуги. Тут я почувствовал, что «амораловка» выдыхается и меня неодолимо тянет в постель.

И был мне сон...

Мне грезилось, что Витек в Нью-Йорке произносит свою бейкеровскую речь. Он волнуется и не знает, о чем говорить, а мы с Анкой, одетой почему-то в свадебное платье, сидим в первом ряду, и я, манипулируя пальцами, подсказываю Витьку. Председатель жюри, похожий на не очень строгого и все понимающего учителя, грозит мне из президиума пальцем. Я смущаюсь и прекращаю подсказывать. Витек тоже останавливается и вопросительно смотрит на меня. Воцаряется тягостное молчание. Анка толкает меня в бок. А молчание все длится и длится. Витек краснеет от волнения и, достав из кармана хлебный мякиш, начинает лепить какие-то глупые фигурки. Возникает ропот. Он становится все громче, насыщеннее, неодобрительнее. Встает и, сердито хмурясь, выходит из зала Маркес, следом за ним Фаулз под руку с Коллин Маккалоу. Назревает скандал. Витек мнетяся, как школьник, не выучивший урок, Анка пытается помочь ему и тоже начинает делать знаки пальцами. Но он не понимает. Я осознаю:

спасти его может только одно – звонок на перемену. И звонок раздается – оглушительно-громкий, но очень странный, прерывистый, пульсирующий, очень похожий на телефонный...

Это и есть телефон. Дама с голосом Софи Лорен кокетливо сообщает, что за мной – междугородный должок и что вообще я очень уж долго беседовал с Красноярском, но она из сострадания написала в счете вместо двадцати трех минут всего-навсего шесть! Сказав все это, она ждет... Я хмуро благодарю и вешаю трубку. Потом набираю номер Одуева. После некоторых колебаний он дает мне телефон Стеллы.

– А как там этот Тер-Иванов? Не заходил? – зачем-то спрашиваю я.

– Нет. Наверное, куда-то уехал, – не дрогнув голосом, говорит Одуев.

У Стеллы никто не отвечает. Если Витек не позвонит и сегодня, решаю я, завтра придется ехать и спасти его от этой кожаной телевизионной Цирцеи...

Поскольку «амораловка» закончилась, а новая партия еще не прибыла, полноценно трудиться я не мог и занялся развозом выполненной работы по заказчикам. Намотавшись по Москве и получив кое-какие деньги, я заехал выпить чашечку кофе в ЦДЛ, но почти сразу же вынужден был сбежать оттуда: буквально каждый второй бросался мне навстречу и расспрашивал, куда же я подевал моего гениального друга, о котором такие замечательные вещи рассказывают Кипяткова, Ирискин, Медноструев и Горынин. Уже у самых дверей меня догнала Надюха и, нервно вытирая руки о передник, тоже спросила про Витька.

– Забудь о нем, – посоветовал я.

– Не могу...

– Понимаю! – грустно кивнул я, вспомнив про Анку. – Но это бесполезно...

– Я буду за него бороться! – вдруг с какой-то чернышевской интонацией сказанула Надюха.

– Эх ты, борчиха! – улыбнулся я, погладив ее по голове. И ушел.

Когда в половине девятого, купив на ужин пельменей и бутылку сухого вина, я вставил ключ в замок, из-за двери донеслась трель телефонного звонка. Мое сердце многообещающе екнуло. И действительно, это был Витек.

- Приезжай скорее! – плачущим басом орал он.
- Ты где? Что случилось?
- Она меня по телевизору показывать везет! Через час этот... как его... э-э-фир... Прямой!
- Расслабься! Все идет по плану. Я еду! Если буду опаздывать, к телекамерам близко не подходи! И не открывай рта! Понял?
- О'кей – сказал Патрикей, – отозвался он, видимо немного успокоившись.

19. Катастрофа в ночном эфире

19. Катастрофа в ночном эфире

Нет, я не опоздал, я даже приехал раньше, чем они, минут на десять и, как кот ученый, бродил возле стеклянного подъезда с вращающимися дверями. В отдалении, светясь огоньками на фоне ночного неба, торчала Останкинская башня. Давно, еще будучи молодым, томимым метафорической озабоченностью поэтом, я, помнится, сочинил:

Останкино, словно огромный термометр, Торчит из горячей подмышки Москвы...

А вот Медноструев пишет в своем исследовании «Тьма», что Останкино – это ядовитый сатанинский рог, пропарывающий православные небеса. Второй рог, поменьше размерами, торчит в районе Шаболовки. Далее Медноструев поясняет, где в Москве можно обнаружить также копыта и хвост, но я забыл, где именно... Ирискин же в своем труде «Темнота» сравнивал Останкино с надменно поднятой пикой безграмотного казака, нагло въезжающего на потной кобыле в поверженный Париж – столицу европейской культуры!

Они подкатили на такси. Сегодня Стелла сбросила свою кожаную шкурку и была одета, как классная дама, в строгую темную юбку и кружевную кофточку: времена, когда у телевизионных дикторш от резкого движения бровей перси вываливаются из декольте, еще не наступили. На голове у нее было свежее, не остывшее после укладки феном парикмахерское сооружение, а на лице – нежный, словно постель Дега, макияж. Акашина я бы просто не узнал, если б не мой кубик Рубика с буквами. Парня подменили! Дорогая модная стрижка, темно-синий блейзер с золотыми пуговицами, светло-серые брюки и шелково-изысканный галстук. Ботинки – лакированные и с серебряными пряжечками. Одуев как-то рассказывал, что щепетильная Стелла для своих мужчин, которых чаще всего она собирает по обочинам жизни, специально держит несколько комплектов одежды разных размеров: для выгула в эфир.

– А на тебя я пропуск не заказывала! – увидев меня, пролепетала она.

– Закажешь! – голосом, не допускающим возражений, приказал я.

– Но...

– Никаких «но»! Иначе эфира не будет! Мы уезжаем! Да, Витек?

– Вестимо, – ответил он вполне самостоятельно.

– Хорошо, – покорилась она, ибо за срыв прямого эфира можно было запросто вылететь с работы.

– Подожди. Еще одно условие: я буду стоять в студии так, чтобы он видел меня во время всей передачи.

– Но это же запрещено! – захныкала Стелла.

– Витек, поехали! – распорядился я.

– Хорошо. Не уезжайте! Я постараюсь договориться.

– Тогда пошли, – смилостивился я.

Она оставила нас в большом, ярко освещенном холле рядом с бюро пропусков и убежала хлопотать, чтобы меня допустили в эфирную зону. Я принял: от Витька вдобавок ко всему пахло французским одеколоном.

– Что ж ты, паршивец, даже не позвонил! Обиделся?

– Сначала – да, а потом некогда было.

– А чего трубку не снимали?

– Говорю, некогда было...

– Так не бывает!

– Бывает. Я больше всего боялся, что она разговоры со мной начнет разговаривать: то да се. Ну, я и... А что я еще умею!

– Неужели так и не поговорили?

– Говорю – некогда было!

– Молодец. – Я хлопнул его по плечу. – Теперь слушай меня внимательно: я встану рядом с камерой. Следи за моими пальцами. Никакой самодеятельности! Это – прямой эфир, а он шуток не любит! От сегодняшнего выступления зависит наше будущее. Если она спросит, кто твой любимый писатель, назовешь меня... Понял? Меня.

– А Стелка... Это... – замялся Витек. – Она за Одуева просила... Она сказала, что вы договорились.

– Никаких Одуевых! Назовешь меня! Понял?

– О'кей – сказал Патрикей.

Вернулась запыхавшаяся Стелла с пропуском, и, миновав полусонного от многочасовой бдительности милиционера, мы помчались в примерную. Там оцепеневшего Витька усадили в кресло,

обвязали простынкой и стали пудрить, подмазывать, подрисовывать, подкрашивать, обрызгивать лаком для волос. На его лице во время этого процесса играло то же смятение чувств, как давеча, когда к нему приклеивался Любин-Любченко со своей масляной улыбочкой. Уже выходя из гримерной, Акашин шепнул мне в ухо:

– Мужикам на стройке расскажу – не поверят: как шару на красюкали!

Пока по бесконечным коридорам и переходам, то и дело предъявляя пропуски все новым милиционерам, мы шли к студии, Стелла нервно инструктировала:

– Витюша, я тебя умоляю! Весь эфир – десять минут. Это очень, очень мало. Не заметишь... Ответы должны быть короткими, четкими, никаких особенных рассуждений и примеров. Раз – и ответил! Понял, Витюнчик?

– На этот счет, Стеллунчик, можешь не волноваться! – успокоил ее я. – Виктор Семенович будет краток, как приговор судьи-заики!

– Все шутите... Ох, попадет мне за вас!

Войдя в студию, Витек замер на пороге. И было от чего, особенно для непривычного человека. Представьте себе огромную залищу, где вполне можно разместить пару теннисных кортов. С потолка, словно в каком-то угрюмом магазине электротоваров, свисают вниз сотни черных единообразных светильников: некоторые горят, но большинство из них мертвы. Еще павильон напоминает гигантский чулан: в пыльном полумраке свалены самые невообразимые вещи. Но в отличие от классического бабушкиного чулана, где наткнешься на старый трехколесный велосипед (привет из детства!), поломанную птичью клетку и выношенную обувь, в павильоне все по-другому! Здесь можно вдруг увидеть настоящую кухню со всей необходимой кастрюльной утварью. Это осталось от передачи «Варим-парим», которую ведет знаменитый рок-певец Комаревич, похожий на счастливого кролика. Чуть правее – натуральный колодезный сруб с «журавлем». Его не успели вывезти после закончившегося на прошлой неделе фольклорного фестиваля «Пойду ль, выйду ль я!». А слева можно обнаружить огромный валун – наверное, все-таки из пенопласта – с надписью, сделанной церковно-славянской вязью:

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Тоже от какой-то передачи для абитуриентов. Я не говорю уже о завалах разной мелочи – стульях, креслах, ломберных столиках, полочках, подставках, горшках с вечнопластмассовыми фикусами и прочем не поддающемся учету разнообразия. И вот посреди этого захлавленного полумрака расчищена и ярко освещена совсем крошечная площадка, а на ней – журнальный столик с затейливой икебаной и два кресла. Именно на эту площадку направлен свет горящих на треногах юпитеров. Именно на эту площадку нацелены большие черные телевизионные камеры, возле которых стоят хмурые люди в огромных наушниках. Именно на этой площадке толкуются несколько суетливых женщин, без конца что-то замеряя, поправляя, подвигая, просовывая и бранясь при этом промеж собой... То там, то здесь раздается полный ужаса вопль: «Скорее!.. Через семь минут эфир... Где эта чертова ведущая со своим идиотом?!» Рядом с операторами в кресле сидит обессиленная и белая как мел женщина. Когда-то она с помощью химии сделала соломенной блондинкой, но потом в телевизионной суматохе совершенно позабыла про это, отчего ее прическа стала напоминать двухслойное черно-белое суфле. Ей, обессиленной, капают в стакан валерьянку. Ей плохо: внезапно и, очевидно, навсегда она утратила смысл жизни заодно с верой в людей. Такое случается с ней перед каждым прямым эфиром. Она – режиссер. Жуткая профессия!

Увидев появившихся на пороге Стеллу и Витьку, она отпихивает протянутый ей стакан с успокаивающими каплями, вскакивает, как ужаленная, и кидается навстречу вошедшим с тем жутким выражением лица и с теми ужасными выражениями, с какими доведенный до бешенства рецидивист бросается, чтобы порезать бритвой оборзевшего фраера. Однако на бегу лицо ее вдруг меняется, возникает застенчивая улыбка, а брань сама собой привычно преобразуется в счастливое воркование:

– Стеллочка, у вас изумительная прическа! Дайте телефончик мастера. А вы и есть знаменитый Акашин? Очень приятно... Прощу на площадку! Стеллочка, где вы нашли такого импозантного мужчину? Писатели обычно лысые и скрюченные... Ах, озорница, поделитесь!

Шлапоберская даже не успела ответить, а режиссерша, подхватив Витьку, вывела его на освещенное место и усадила в кресло. Рядом устроилась Стелла и, взглядываясь в свое изображение на экране

монитора, как в зеркало, начала поправляться и припудриваться. Подскочила длинноногая девушка и пристегнула обоим крошечные черные микрофончики-петлики. Витек испуганно покосился на микрофон, точно на ползущую по лацкану осу. Подбежала еще одна девушка, одетая в коротенький нейлоновый халатик, и специальной мягкой кисточкой припудрила бисерно вспотевший от волнения и жара юпитеров Витькин лоб.

– Эфир через минуту! – сверху, точно из поднебесья, раздался оглушительно усиленный динамиками мужской голос. – Всем приготовиться!

– Стеллочка, работаешь на четвертую камеру! – напутствовала крашенная режиссерша.

Стелла расправила плечи, выкатила вперед небогатую грудь и намертво улыбнулась. Витек, глядя на нее, попытался сделать то же самое, но без особого успеха. Я тем временем пристроился рядом со смотревшей прямо на Акашина камерой и ободряюще кивнул: мол, не волнуйся, я здесь!

– Приготовиться! – снова раздалось сверху. В студии стало тихо, как в ночном морге.

– Газета! – вдруг, страшно побледнев, выдохнула Стелла.

– Газета, газета, газета... – разнеслось по павильону.

Черно-белая режиссерша схватилась за сердце. Но тут, словно молния, к столику метнулось нечто джинсово-длинноволосое, и перед Стеллой появилась сложенная вчетверо газета.

– Работаем! – донеслось свыше.

Стоящий со мной рядом оператор плавно махнул рукой.

Режиссерша судорожно дернулась.

Стелла глубоко вздохнула, как перед нырянием, и заговорила совершенно приторным голосом:

– Добрый вечер, дорогие телезрители! Я – Стелла Шлапоберская. Точнее, доброй ночи! И сегодня наш полночный гость – а передача наша так и называется «Полночный гость» – молодой, но очень талантливый писатель Виктор Акашин, автор еще не опубликованного, но уже на шумевшего романа «В чашу». Передо мной свежий номер «Литературного еженедельника», где известный своим требовательным вкусом критик Закусонский пишет буквально следующее: «А вот и он – давно чаемый и востребованный нашей

словесностью молодой талант, бурлящий теплой художественной отвагой! Имя этому природному явлению – Виктор Акашин...» – Она отложила газету и посмотрела на моего питомца так, словно видела его впервые. – Виктор, я тоже много о вас слышала, теперь вот рада возможности познакомиться лично и представить вас нашим телезрителям!

– Обоюдно! – напряженно ответил Витек, глянув на мой правый безымянный.

– Итак, первый вопрос, Виктор. Почему вы не расстаетесь с этим кубиком Рубика?

– Это... э-э-э... это я ищу культурный код эпохи...

Я облегченно вздохнул, точно тренер боксера, удачно ушедшего от первого удара соперника-мордворота. Здорово я его все-таки вымуштровал: даже подсказывать не пришлось.

– Ну и как, удается? – чуть насмешливо спросила Стелла.

Это, кстати, меня всегда раздражает в телевизионщиках. Конечно, одна мысль о том, что в данный момент на твою глупую физиономию вынуждены любоваться миллионы ни в чем не повинных людей, невольно настраивает на иронический лад. Но всему есть предел. Я показал Витьку правый указательный палец, точно пригрозил.

– Амбивалентно! – четко отреагировал он, и Стелла, уже начавшая беспокоиться из-за паузы, тоже облегченно вздохнула.

– Это помогает вам в творчестве? – уже серьезно спросила она.

То-то же! И я показал большой палец левой руки.

– Скорее да, чем нет.

– Скажите, Виктор, а писать трудно?

– Гении – волны! – глянув на мой левый мизинец, ответил Витек.

– Меня всегда страшно интересовало, как писатели находят сюжеты. Как вам вообще пришла в голову мысль сесть за роман?

– Трансцендентально! – сообщил Витек согласно моему правому большому.

Я перехватил укоризненный взгляд режиссерши, которая решила, что, выставя большой палец, я подбадриваю и тем самым отвлекаю молодого гения от работы в эфире.

– Я так и думала, – кивнула Стелла. – А когда вы пишете, вы думаете о ваших будущих читателях?

– Вестимо, – подтвердил Акашин, сверившись с моим левым мизинцем.

– Когда же мы увидим роман напечатанным?

Я выставил вперед средний палец левой руки, что, конечно, для непосвященного человека выглядело крайне непристойно, и поймал на себе теперь уже гневный взгляд режиссерши.

– Вы меня об этом спрашиваете? – послушно поинтересовался мой воспитанник.

– Да, действительно, – согласилась Стелла. – Об этом надо бы спросить наших издателей, которые не торопятся замечать молодые таланты. Или я ошибаюсь?

– Скорее нет, чем да! – подтвердил бдительный Витек.

– Ну, раз уж мы заговорили о современной литературе, скажите, кого из современных писателей или поэтов вы цените больше всего? – спросила Стелла и выжидательно посмотрела на Витьку.

– Я? Э-э-э... – затосковал он и беспомощно глянул в мою сторону.

Я подсказывающе ткнул пальцем себя в грудь, но по его испуганному взгляду вдруг понял: он попросту забыл от волнения мою фамилию. Стелла краешком телевизионно улыбающегося рта что-то шепнула Витьку. Я же, беззвучно артикулируя, старался ему напомнить, как меня зовут. Пауза затягивалась. Крашенная режиссерша показала мне острый кулачок.

– А я догадываюсь, кого вы цените больше всего, – нервно кокетничая, пошла на выручку Стелла. – Телезрители знают его по передаче «Гений чистой красоты». Его зовут...

– Пушкин... – вдруг выпалил Витек.

– Да, – разочарованно вздохнула Стелла. – Пушкин – наш современник. Все мы вышли из шинели Пушкина...

– Ментально, – в полном соответствии с инструкцией отреагировал Витек.

Для этого мне снова пришлось выставить средний палец, но теперь уже правой руки. Во второй раз увидав этот неприличный жест, режиссерша не выдержала и решительно двинулась ко мне, чему я, к величайшему моему сожалению, в тот момент не придавал особого значения.

Стелла кивнула и покосилась на часы, светившиеся на экране одного из мониторов: до конца прямого эфира оставалось меньше трех

минут. И тут ей, как каждой ведущей, под занавес захотелось задать какой-нибудь оригинальный, нетрадиционный вопрос, разумеется, заранее согласованный с руководством. Хотя, если учесть, что два дня они не подходили к телефону, тут, возможно, имела место импровизация личного свойства.

– Скажите, Виктор, – игриво спросила она, – какое место в жизни писателя занимают женщины?

– Не вари козленка в молоке матери его! – буркнул Витек, даже не дожидаясь моей подсказки.

Лицо Стеллы вытянулось от неожиданности. Здорово! Так ее, выпендренницу! Молодец, Витек! И я чисто механически, повинувшись эмоциональному порыву, без всякой гнусной семиотики, показал ему сразу два больших пальца. Молодец! Свою оплошность, конечно, я бы тут же заметил и исправил, но как раз в этот миг, обходя юпитеры и камеры, ловко перешагивая провода, до меня добралась разъяренная режиссерша и зашипела, чтобы я не мешал писателю глупой жестикуляцией и сейчас же выкатывался из студии. Отвлеченный этим, я вовремя не убрал свои злополучные большие пальцы. А тут, как на грех, прозвучал новый вопрос Стеллы, которая, вероятно решив, что переборщила с личной тематикой (не будем забывать, когда все это происходило!), предпочла закончить встречу идейно-выверенным вопросом:

– Что ж, Виктор, будем надеяться, что скоро ваш роман увидит свет и продемонстрирует неисчерпаемые возможности метода социалистического реализма! Кстати, как вы относитесь к этому методу?

Вопрос, надо заметить, по тем временам был традиционным, я бы даже сказал, рутинно-ритуальным и, конечно же, не требовал никакого иного ответа, кроме утвердительно-восторженного. Даже простодушный Витек с некоторым удивлением посмотрел на мой совершенно неуместный знак – два больших пальца – и пожал плечами. Потом он рассказывал, что очень удивился в эту минуту, но, посомневавшись, решил: его дело – озвучивать, а думать – мое дело. Тем более что лексикон за исключением одного-единственного слова был исчерпан. Это слово в результате моей невольной подсказки он и вывалил в прямой эфир:

– Говно!

– Спасибо! – еще не вникнув в смысл услышанного и выдавая заранее подготовленный текст, радостно поблагодарила Стелла. – Напоминаю: нашим полночным гостем был писатель Виктор Акашин. До новых встреч!

Осознав сказанное Витьком, я с ужасом посмотрел на свои большие пальцы. Режиссерша стала белее чем мел, Стелла, наконец освоив услышанное, так и осталась сидеть с открытым ртом. А из поднебесья раздался сдавленный стон. На мониторе сначала крупным планом появилась икебана, и было видно, как по синтетическим листьям ползает муха. Потом возникла картинка с ночным Кремлем. Нас вывели из эфира.

Это была катастрофа!

20

В ту ночь Витек уснул знаменитым. Ему даже не понадобилось, как некогда Байрону, дожидаться утра. Дома, на нервной почве, он вобрал в себя глазунью из семи яиц, пакет молока, батон хлеба и рухнул в своем чуланчике, не ведая, что угрюмая его слава уже бьет в дверь здоровенной колотушкой. Эти удары мне пришлось принять на себя, о чем я, конечно, сейчас расскажу. Но сначала объяснимся...

А что, собственно, спросите вы, произошло? Ну, обозвал Витек соцреализм полупечатным словом, кстати, далеко не самым полупечатным из могучих полупечатных запасов русского языка, не говоря уже о непечатных запасах! Подумаешь, делов-то! К тому же обозвал какой-то там социалистический реализм, сомнительный творческий метод, похожий на искусственный мед, который я однажды ел в несуществующей уже ГДР. Ныне выросло целое поколение, понятия не имеющее, что такое соцреализм и с чем его едят. А люди постарше, даже неплохо в свое время подзаработавшие на этом творческом методе, если и вспоминают о нем, то как о давно усопшем родственничке, часто дававшем на мороженое, но при этом все время читавшем нудные нотации... Одним словом, ерунда все это, если еще учесть, что буквально на наших с вами глазах (и на наши с вами головы) рухнула целая страна заодно с социально-экономическим строем...

Но время! – возражу я вам. Вы совершенно не учитываете время – этот неостановимый поток нечистот, в который нет даже никакой необходимости вступать дважды, ибо одного раза вполне достаточно, чтобы безнадежно измараться на всю оставшуюся жизнь... (Запомнить!) К тому же происходило все это в пору, когда Горбачев уже начал мечтать о невинных демократических удовольствиях, но еще не решался скинуть пояс марксистско-ленинского целомудрия. Однако жажда принципиально новых ощущений уже бурлила в нем и для начала вылилась в полусухой закон и средневековые гонения на заслуженно выпивающих после работы граждан. Должен сказать, этот первородный – в условиях нашего Отечества – грех до самого конца

тяготел над Михаилом Сергеевичем и в конечном итоге предопределил крах всех его реформ. Жена, во время застолий хватаящая своего мужа за руку, несущую к устам наполненную рюмочку, всегда плохо заканчивает! (Тоже запомнить!)

А еще Горбачев стал выезжать за рубежи, и это имело далекие последствия. В сущности, он был похож на девочку-подростка, которую строгие родители впервые свозили в гости к родственникам, и там эта отроковица, перезнакомившись с кузинами, вдруг с завистью узнала, что они, оказывается, давно уже курят и целуются с мальчиками. И девочке страшно захотелось стать похожей на своих раскованных кузин. Но как? При таких строгих и неумолимых родителях, при таком сурово-размеренном внутрисемейном быте это невозможно! Но хитрая девочка все же сообразила: начать надо с мелочей, с колебания почти незаметных устоев, даже – устойчивиков. Например, отказаться от утренней тарелки геркулесовой каши, каковую безропотно лопают в их семье по утрам уже четвертое поколение. И с кашей вроде получилось... Теперь можно дожидаться другого случая и однажды капризно объявить: в девять часов ложиться спать я больше не буду, ибо как раз в это время по телевизору идет сериал о мексиканской девице, сходящей с ума из-за того, что она никак не может определить, кого любит больше и темпераментнее – Педро или Диего. Тоже получилось... Тогда как-нибудь после школы можно не прийти домой обедать, а отправиться шататься по улицам, строя глазки проезжающей мимо шоферне... Пройдет совсем немного времени, и родители, внезапно вернувшись домой из вынужденной отлучки, вдруг обнаружат свою обкурившуюся травкой дочку в постели с двумя неграми... Неужели, вы думаете, в этот миг родители поверят, что все началось с той давней поездки к родственникам и с отвергнутой тарелки геркулесовой каши? Впрочем, с неграми – это я уже заехал в ельцинский период отечественной истории...

Но именно такой геркулесовой кашей и стало для России выпущенное Витьком в эфир – не без моей помощи – уже известное вам словечко. Да, как ни горько признать, но именно это слово было в начале всего того, что случилось впоследствии с нами. Конечно, об этом никто сейчас и не вспоминает, как несчастные родители, увидев бесчувственного ребенка с двумя чернокожими извращенцами, не вспоминают о тарелке геркулесовой каши. К тому же передача шла

прямо в эфир и никакой записи не сохранилось, поэтому доказать документально истинность своих слов я не могу. Но я взываю к вашей памяти! вспомните давно уже закрытую – кстати, именно после того случая – передачу «Полночный гость»! вспомните ваше потрясение! вы не могли его забыть! Услышать такое с робкого советского телеэкрана, который и существовал-то тогда в наших квартирах вроде лишь для того, чтобы прямо или исподволь настойчиво внушать нам: когда в конце времен солнце окончательно остынет, своим прощальным лучом оно осветит склоненную фигурку школьника, конспектирующего статью Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин». Правда, сейчас экран с тем же упорством доказывает нам, что при тех же обстоятельствах луч умирающего солнца высветит того же школьника, только склоненного над свежей сводкой долларовых торгов... Но вернемся, вернемся в то безмятежно-тоталитарное время: вот вы полудремно раскинулись в кресле перед включенным телевизором – и вдруг подскочили, услышав, каким восхитительно-срамным словом молодой писатель Акашин обозвал постылый соцреализм, как бесшабашно он боднул пусть не устои, а всего-то один устойчивик осточертевшего режима. Боднул-таки! И не по вражьему голосу боднул, а по родному советскому телевидению... «Ну, началось!» – подумали вы и принялись криком звать с кухни жену. Мол, иди сюда! Тут такое! Наверное, медведь в Кремле сдох. Неужели забыли? Забыли... Понимаю, с тех пор столько всего произошло... Но это было! Было это слово! И было оно – в начале!

Как только погасли юпитеры и осветители унесли лишившуюся чувств крашеную режиссершу, Стелла зарыдала и, размазывая по лицу поплывшую тушь, убежала куда-то за колодезный сруб. Опытная телевизионщица, она, конечно, понимала, чем ей грозит это сквернословие на всю страну! Витек пожал плечами, встал и тут же запутался в длинном проводе от «петлички», но потрясенный телеперсонал даже не решился подойти и отстегнуть микрофон. Это пришлось сделать мне.

- Вроде я чего-то не так сказал? – настороженно спросил Витек.
- Все было отлично! – фальшивым голосом успокоил я.
- Ты извини, у меня твоя фамилия из башки совсем выскочила!
- Нормально. Зато Пушкин был на месте...

– Еще бы! У нас учительница по литературе такая стерва была! Я ей на огороде картошку окучивал, а она мне «Евгения Онегина» наизусть шпарила.

– Повезло.

– Поехали домой – жрать хочется, сил нет! – взмолился Витек.

– Через двадцать минут будем дома! – самоуверенно пообещал я.

На самом деле я, конечно, так не думал и даже побаивался, что нас возьмут прямо в Останкино. Не взяли, хотя милиционер, проверявший на обратном пути наши пропуска, зачем-то связывался со своим начальством, но команды, видимо, не получил и отпустил нас с явным огорчением. На улице стояла абсолютная ночь, и добраться домой на муниципальном транспорте было делом безнадежным. Но не успели мы подойти к стоянке такси – понятное дело, пустынной, – как откуда-то из зловещей темноты выскочила черная «Волга» и, завизжав тормозами, остановилась возле нас. «Главное, до того, как начнут бить и допрашивать, позвонить Сергею Леонидовичу!» – подумал я и, сложив две руки вместе, чуть выставил их вперед, чтобы удобнее было застегивать наручники. Но это оказался решивший подзаработать водитель служебной машины. Всю дорогу он ругал московские дороги в частности и коммунистов в целом самыми последними словами, по сравнению с которыми наше словечко в эфире было невинным пустяком.

О том, как повел себя Витек, придя домой, вы уже знаете. Я же, несмотря на поздний час, оказался прикованным к телефону. Кстати, когда мы вошли, он беспрерывно звонил и, казалось, уже охрип, как младенец, вывезенный подышать воздухом на балкон и там позабытый. Первым был легкий на помине Сергей Леонидович.

– Достукался? – грозно спросил он.

– В каком смысле? – прикинулся я.

– Ладно ваньку валять! Почему не согласовал акцию?

– Какую акцию?

– Ладно, сказал, придуриваться: твой телефон только завтра на прослушку поставят. Почему, спрашиваю, не согласовал?

– А ты бы разрешил?

– Нет, конечно!

– Поэтому и не согласовал. Надо было на месте решать. А другого такого случая не представилось бы! Ну, в общем, я решил взять

ответственность на себя...

– Лучше б я, бляхопрядильный комбинат, тебе подпольный журнал разрешил издавать... – вздохнул он. – Но это хорошо, что ты свою ответственность понимаешь! Неужели поинтеллигентнее нельзя было? Ты ж писатель, едрена вошь! Пихнул бы в подтекст – и ажур.

– Не тот эффект. Ты ведь тоже профессионал, должен соображать: западники только на жареное реагируют. А что я еще эдакого придумать мог – не Мавзолей же мне взрывать, ей-богу!

На том конце провода образовалась напряженно-соображающая тишина.

– А вот это не твое дело, – наконец промолвил Сергей Леонидович. – У тебя есть свой участок – на нем и работай! Но учти, если ситуация выйдет из-под контроля и пойдет выше, мы с тобой незнакомы. На следствии будешь проходить как свидетель. А парню твоему самое большое года три дадут, я его потом вытащу. Ты ему про меня, случайно, ничего не ляпнул?

– Обижаешь!

– Смотри!

– Неужели так плохо?

– А черт его знает! Все зависит от того, как начальству доложат!

Может, и обойдется...

– А кто докладывать будет?

– Я.

– Ну и доложи получше!

– Это не от меня зависит. Доложу так, как начальство прикажет.

– Не понял.

– Только сейчас или вообще? – иронично спросил Сергей Леонидович. – Ладно, умник, суши сухари! Шутка... Но я тебя на всякий случай предупредил. Понял? Пока!

Вторым был Николай Николаевич. Я даже сначала его не узнал и вообще решил, что слышу магнитофонную запись, и только потом сообразил: Горынин записывает свое телефонное заявление на пленку – для вышестоящих товарищей.

– Считаю своим долгом выразить вам от имени Союза писателей СССР, – говорил он голосом диктора, повествующего об авиационной катастрофе, – решительное возмущение безответственной и дерзкой выходкой всячески разрекламированного вами так называемого

молодого литератора Акашина В. С., замахнувшегося в своем телевизионном выступлении на одно из самых высших духовных завоеваний нашего общества, нашей советской культуры – метод социалистического реализма, давший человечеству такие замечательные произведения, как «Мать» Горького, «Разгром» Фадеева, «Цемент» Гладкова, «Прощай, Гульсары!» Айтматова, «Прогрессивка» Горынина, и др. Для дачи объяснений предлагаю вам явиться в правление завтра в двенадцать ноль-ноль. При себе иметь писательский билет.

– Понял, приду, – ответил я. – Скорблю вместе с вами.

Послышался щелчок выключаемого магнитофона, а затем жаркая скороговорка Николая Николаевича:

– И никакой матпомощи я твоему поганцу не выписывал. Запомни!

Третьим был Медноструев, который старательно измененным голосом спросил:

– Ну что, сионистские морды, доигрались?

Не успел я среагировать, как он повесил трубку, не дожидаясь ответа, потому что вопрос был, собственно, риторический.

Четвертым был Ирискин.

– Алло? Здравствуйте, – сказал он. – Какие-то странные помехи в трубке... Алло!

– Не волнуйтесь, Иван Давидович, – успокоил я. – Это самые обыкновенные помехи. А вот завтра будут уже те, которых вы боитесь.

– Понимаю... – Голос Ирискина посвежел. – Передайте Виктору, что мы все гордимся (говдимся) его мужеством! Пусть он не волнуется: о судилище над ним и несправедливом приговоре узнает все прогрессивное (пвогвесивное) человечество. Вы понимаете? Но я умоляю, на допросах он ни слова не должен говорить о своем папе! Мы не имеем права давать такие козыри в руки медноструевым. Они только этого и ждут, чтобы устроить погромы (погвомы)! Вы меня понимаете?! Обещайте!

– Торжественно обещаю!

– Мы не забудем... Я пока вам больше звонить не буду. До свидания!

Пятым был Одуев.

– Спасибо, друг! – проговорил он с чувством.

– За что? – удивился я.

– Как за что? За то, что в эфире меня не заложили! Представляешь, в каком бы я был сейчас говне? Передачу мою точно закрыли бы! Никакой Леонидыч не помог бы. Стелка звонила, вся в истерике... Говорит, это я во всем виноват – познакомил ее с Витьком. Я ей ответил, что с таким темпераментом, как у нее, на телевидении работать нельзя! Правильно?

– Вестимо.

– Слушай, между нами, он по дури ляпнул или специально?

– Амбивалентно.

– Я почему-то так и думал... Жалко парня! Талантливый, черт. Подожди-ка... – Одуев на мгновение умолк, а потом закричал возбужденно: – Настька «Свободу» поймала – про вас чешут! Включай!

Я бросился к приемнику. В те времена он у меня всегда был настроен на эту станцию. В трещаще-пищащем эфире знакомый женский голос с неуловимым антисоветским акцентом говорил:

«...Судя по той неожиданной оценке, какую в своем телевизионном интервью дал известный писатель Виктор Акашин насаждаемому коммунистическим режимом методу социалистического реализма, можно заключить, что в кремлевских коридорах власти резко усилилась борьба между политическими кланами и, похоже, верх одерживает реформаторское крыло. Теперь все зависит от того, чью сторону примет генсек Горбачев. Однако, по последним данным, Виктор Акашин арестован и находится на Лубянке. Жена академика Сахарова Елена Боннэр сообщила, что ее муж готовится выступить в защиту отважного писателя, смелое слово которого он, исходя из своего опыта физика-атомщика, назвал началом сокрушительной цепной реакции...»

Дальше шла информация о зверстве Хонеккера, приказавшего стрелять в немцев, пытающихся перелезть через Берлинскую стену. Можно было подумать, во всех прочих странах граждан, пытающихся нелегально перейти границу, забрасывают цветами и свежими фруктами.

Шестой была Анка.

– А он смешной! – сказала она.

– Кто?

– Твой гений. Смешной и смелый.

– М-да...

– Ты бы никогда на такое не решился!

– Почему же?

– Не знаю. Ты все всегда просчитываешь. А он взял и сказал. Это поступок! А ради мужчины, способного совершить поступок, женщина готова на все. Ты думаешь, почему декабристки молодых любовников побросали и за своими постылыми мужьями в Сибирь поехали? Именно поэтому!

– Но ты-то пока с Чурменяевым в Нью-Йорк за «Бейкером» собираешься! Интересно, какой поступок он совершил?

– Никакого. Он для меня просто средство передвижения. Ты разве не понял? Вроде метлы...

– Он, случайно, это не слышит?

– Конечно, слышит – он рядом лежит. А Витьку своему передай, что я его почти уже люблю!

– Он спит.

– Передай, когда проснется!

Седьмым и последним был Жгутович:

– Я так и знал, что ты еще не спишь!

– Ложусь.

– Вообще интервью было неплохое, насыщенное, я даже от Витька не ожидал: на вид ведь дурак дураком. Зря ты его не предупредил, что в прямом эфире ругаться нельзя!

– Так получилось.

– Плохо получилось. Могут антисоветскую пропаганду пришить. С использованием средств информации. А тебя за подстрекательство пристегнут! Но ты не волнуйся, если что, я, пока ты сидеть будешь, за квартирой присмотрю, как и договаривались. У нас, кстати, на работе индийское постельное белье давали, я комплект взял... Надо будет к тебе завезти. Сам понимаешь, жена увидит – на шнурки меня порежет!

– Ты зря губы раскатал! Я на следствии расскажу о нашем с тобой споре. Так что за подстрекательство отбывать будем вместе. Деревья валить. Ты будешь пилу за одну ручку тянуть, а я за другую...

– Шутишь? – затосковал он.

– Ничего подобного!

– Да-а, – после длительного раздумья сказал Жгутович. – Воистину сказано: «Подобно тому, как волны океана омывают, лаская, берега, нежная забота Провидения не покидает масона, пока он проявляет добродетель, умеренность, стойкость ума и справедливость...»

– Это ты в энциклопедии прочитал?

– А где же еще такое прочитаешь? Зря мы с тобой все это затеяли. И он повесил трубку.

Дело прошлое, но в ту ночь я долго не мог уснуть, терзаясь жгучим чувством совершенной непоправимой ошибки и гнетущим предчувствием, что расплата за нее будет чудовищна. Я проклинал все: и дурацкий спор со Жгутовичем, и Витька, и Арнольда с его «амораловкой», и дуру Шлапоберскую, но прежде всего – собственную самонадеянность и неосмотрительность.

Среди ночи я проснулся от каких-то странных звуков, вообразив, будто нас пришли уже брать. Но оказалось, что это проголодавшийся во сне Витек встал и вскрывает столовым ножом банку тушенки. Всю оставшуюся ночь мне снился лесоповал. Мы с Анкой, оба совершенно голые, по колено в снегу, двуручной пилой валили деревья. Почему-то пальмы...

21. Страх и трепет

21. Страх и трепет

На следующий день, перед тем как выйти из дому, я растолкал спящего Витька и строго-настрого приказал:

– К телефону не подходи!

– О'кей – сказал Патрикей, – не открывая глаз, кивнул он.

В метро до меня дошуршал обрывок тихого разговора. Два субъекта с ярко выраженной инженерной внешностью, загородившись большими черными портфелями, поставленными на колени, обсуждали вчерашнее происшествие в эфире.

– Думаешь, не случайно? – тихо спросил один.

– А у нас случайно кирпичи на голову не падают! – ответил другой.

– Провокация?

– Конечно, мы – прыг, а они – хоп!

– Что делать?

– Ничего. Поливать редиску оружейным маслом!

Это был намек на популярный в ту пору анекдот про деда, схоронившего в грядках пулемет и каждый день поливавшего его маслом, чтобы не поржавел до нужного часа. Какие же мы были тогда все-таки наивные дураки!

А по тому, как сердобольно глянула на меня старушка-администраторша в дверях ЦДЛ, я понял, что информация о моей причастности ко вчерашнему эфирному скандалу уже овладела массами. Очередь возле буфета, завидев меня, дернулась и затаилась. Я встал в самый конец. Кто-то, пристроившийся сзади, шепнул, по-прибалтийски растягивая гласные:

– Мужа-айтесь!

Я оглянулся: это был известный литовский поэт Сидорас Подкаблукявичюс, автор знаменитой поэмы «Битва в дюнах», посвященной подвигу Красной армии, освобождавшей край от фашистского ига. Поэма была даже удостоена Госпремии. Через несколько лет, когда Литва стала суверенной республикой, Подкаблукявичюс вдруг объявил, что на самом-то деле «Битва в

дюнах» посвящена мужественным «лесным братьям», до последней капли крови боровшимся с советскими оккупантами. Поскольку поэма была написана сложным экспериментально-метафорическим языком, выяснить из текста, кому конкретно посвящено произведение, оказалось делом невозможным. Пришлось верить на слово автору. Он стал лауреатом Гедиминовской премии.

Итак, я оглянулся, но на мой вопросительный взгляд Подкаблукявичюс никак не отреагировал, словно и не он воодушевлял меня свистящим шепотом секунду назад. Буфетчица, когда подошла моя очередь, вопреки традиции сама положила мне сахар в кофе и старательно выбрала на блюде бутерброд с ветчинкой попостнее.

Отойдя от стойки, я внимательно осмотрел зал и решил подсесть к Закусонскому, сокрушенно пившему пиво.

– Можно? – спросил я, кивая на свободный стул.

– Теперь все можно!

– А что такое?

– Что такое! Предупреждать надо... Боже, зачем я про него написал? Зачем? А эта дура Шлапоберская еще мою фамилию назвала! Это – конец...

– Может, обойдется.

– Не издевайся. Мне уже позвонили из «Литежа» и сказали, что больше сотрудничать со мной не будут! Из «Литобоза» тоже позвонили. Из «Воплей» позвонили! Из «Совраски» позвонили.[1] Это кошмар! Теперь жду, когда из КГБ позвонят...

– Чем я могу помочь?

– Ничем. Я погиб.

– Ну хоть что-нибудь может скрасить твою гибель?

– Двадцать пять рублей.

Я отдал.

В приемной Горынина было, как всегда, многолюдно, но я не увидел ни одного просителя. Да и кто ж пойдет выпрашивать материальную помощь или тем более машину, когда хозяин кабинета не в духе. Верный способ остаться ни с чем. Секретарша Мария Павловна только грустно взглянула на меня и сказала:

– Жди. Освободится – без очереди пуцу.

Сегодня в приемной были не просители, а письмоноscopy. И лица у них были не плаксиво-требовательные, но вдохновенно-

бескомпромиссные. Такова наша писательская традиция: как только случается что-то внезапное, сразу же бегут к начальству делегации с письмами протеста. Их, кстати, никто не организовывает, это какая-то произвольная реакция литературного организма, вроде икоты. Такое я наблюдал неоднократно, и состав всегда примерно один и тот же, независимо от повода. А повод может быть любой: диссидентская выходка вчерашнего собрата по перу, утеснение арабов в секторе Газа, неудачная шутка американского президента в обращении к своему народу и т. д. Все делегации, а их было три, встретили мое появление взглядами, выражавшими различные оттенки и разновидности негодования.

Самыми искренними и непримиримыми были ветераны партии и литературы во главе с женой Бодалкина, который не объявил еще в ту пору о своем неучастии в травле Пастернака. Мужчины были облачены в костюмы времен пакта Молотова – Риббентропа. Женщины держали в руках доисторические ридикюли и кутались в горжетки, несмотря на теплый июньский день. Наверняка они принесли письмо протеста против издевательства над идеологическими святынями советского общества. Почему-то среди них оказался нахмуренный и раздосадованный своей безвестностью Свиридонов: прославится он только в августе девяносто первого, когда догадается собрать иностранных журналистов и на их глазах сжечь партбилет.

Вторая группа, поменьше, смотревшая на меня с агрессивной гадливостью, выражала настроения патриотически мыслящей части писательского сообщества. Думаю, их петиция клеймила антирусский смысл вчерашнего недоразумения, направленного, по их убеждению, против вековых традиций отечественной культуры, логическим продолжением которой и даже вершиной является метод социалистического реализма. На самом же деле они, конечно, считали соцреализм интернационалистской дьявольщиной, с трудом, но все-таки переваренной национальным организмом во благо Отечества. Одеты они были с москвошвеевской скромностью, а Медноструев влез по такому поводу даже в расшитую украинскую рубаху и начистил до блеска сапоги. В ту же компанию зачем-то затесалась свиридоновская жена, до сих пор ни в каком таком почвенничестве не замеченная.

Наконец, самой многочисленной была группа либерально настроенных писателей – одетых со вкусом и европейским лоском, а

его в ту пору литератору могла придать только творческая командировка за границу. Они тоже смотрели на меня с осуждением, но это было осуждение хорошего коллектива, обиженного на своего коллегу, который дал петуха в самом неожиданном месте. (Запомнить!) Возглавлял их Перельгин. Они принесли сразу два письма. Одно держал в руках Неонилин, одетый в совершенно антисоветский клетчатый пиджак, второе – огорченный Ирискин, грустно моргнувший при моем появлении. В первом письме, скорее всего, они требовали: раз и навсегда исключить из Союза писателей и выместить из творческого процесса всех тех, кто замахивается на гуманистические традиции советской литературы и сеет межнациональную рознь в писательских рядах. Во втором, более мягком варианте они, наверное, предлагали срочно провести общенародную дискуссию о социалистическом реализме, а уже потом, независимо от результатов, выгнать из рядов всех недостойных носить высокое звание советского писателя... Среди этих свободолюбцев я заметил прыщавую свиридоновскую дочку. Свиридонов-сын маялся тут же в коридоре, видимо, на тот случай, если появится еще какая-либо группа писмоносцев. По-своему это было мудро и называлось семейным подрядом или тотальным охватом идейно-творческого пространства силами одной семьи.

Судя по обрывкам разговоров, в приемной все три делегации томились из-за того, что начальство никак не могло получить конкретные указания сверху и выбрать одно из принесенных писем для публикации в центральной печати. Шептались, поглядывая на меня, будто бы о вчерашней телевизионной выходке уже шла речь на заседании Политбюро, но к какому выводу пришли отцы государства, было пока неизвестно. Однако все понимали: от того, чье письмо отдадут предпочтение, чье письмо появится завтра-послезавтра в прессе, зависит расстановка сил в литературе на ближайшие годы.

Между прочим, в кабинете Горынина имелся специальный несгораемый шкаф, набитый сотнями подобных писем, скопившихся за полвека существования Союза писателей и аккуратно подшитых. Их публикация уже в наши годы могла бы полностью перевернуть представление о литературном процессе советского периода и роли в нем отдельных популярных писателей, считающихся чуть ли не отцами нынешнего вольномыслия. Но в августе девяносто первого,

когда крах режима стал очевиден и толпы писателей ринулись штурмовать правление, первое, что они сделали (тут старались все, независимо от направления мысли), – уничтожили содержимое несгораемого шкафа. И только потом, тоже сообщая, отобрали гербовую печать у несчастного Николая Николаевича, выбросив его самого в окно на клумбу гладиолусов. После этой совместной акции интересы разошлись, и в результате ожесточенной потасовки печатью завладели либерально настроенные литераторы, усиленные вышедшими на свободу диссидентами и раскаявшимися коммунистами. Неувядаемой славой покрыли себя яростный Тер-Иванов и Свиридонов-старший. Обладание печатью и определило, в сущности, дальнейшее развитие литературного процесса. Горынин до сих пор не может простить себе, что не успел вывезти содержимое шкафа куда-нибудь в укромное местечко и не зарыл гербовую печать где-нибудь в клумбе. История российской литературы могла пойти совершенно другим путем!

Мне, кстати, известен прелюбопытный и совершенно достоверный случай. Один мой знакомый в августе девяносто первого, когда многие (даже некоторые неглупые люди) ликовали, празднуя победу демократии, отправился в ближайший, всеми покинутый райком партии и купил у одиноко дежурившего там пенсионера за две бутылки водки шесть мешков партийных билетов, которые нестойкие коммунисты второпях подавали, трепетно предчувствуя наступление новой эры. Дома он их разобрал по алфавиту и разместил в специальных картотечных ящиках, загромоздив полквартиры. Мы тогда посмеивались над ним. Но, будучи убежденным диалектиком и зная, что история, как моль, движется по спирали, он на наши насмешки не отвечал и терпеливо ждал. И можете себе представить, дождался. В сентябре девяносто третьего, когда Ельцин и парламент вошли в клинч, когда стали поговаривать, что все может вернуться назад, народ потянулся к моему приятелю. Мало ли что! А вдруг? За возвращенный бывшему владельцу партбилет брал он недорого, но, однако, и не дешевил. На вырученные деньги он купил себе двухэтажную дачу в Кратово и автомобиль «Ситроен», подержанный, но вполне приличный. Теперь он терпеливо ждет нового витка истории и уверяет, что на заработанные деньги отстроит себе виллу на Кипре. Я ему, между прочим, верю...

Внезапно дверь в кабинет распахнулась, и оттуда вышел нахмуренный секретарь писательского парткома, а следом за ним, точно денщик за суровым офицером, семенил, озаряясь бессмысленной комсомольской улыбкой, кудрявый юноша с ранним, но уже вполне отвислым брюшком – лидер писательского комсомола, насчитывавшего в своих рядах четырех членов – больше взять было негде, так как средний возраст члена Союза в ту пору превышал шестьдесят восемь лет. Ожидаящие с надеждой уставились на них. Но секретарь парткома только тихо выругался себе под нос и вышел из приемной. Кудрявый, стараясь шагать в ногу с начальством, последовал за ним. Кто мог тогда подумать, что, воспользовавшись начатыми мной переменами, этот пузатый мерзавец через несколько месяцев достанет из стола и опубликует скандальную повестушку «ЧП районного масштаба» и не оставит на комсомоле, вскормившем его своей грудью, живого места!

– Заходи! – кивнула мне Мария Павловна.

Я зашел.

В кабинете было три человека. Николай Николаевич сидел за своим столом-«саркофагом», грустно обхватив голову. Журавленко разговаривал по телефону. Сергей Леонидович жадно пил минеральную воду из горлышка запотевшей бутылки, а из раскрытого холодильничка сумрачно тарачился ледяной Маяковский.

– Явился? – вздохнул Горынин.

Я молча кивнул.

Журавленко оторвался от телефона и посмотрел на меня долгим, грустным взглядом. Сергей Леонидович только болезненно сморщился, борясь с мощной газовой отдачей, неизбежной при одноразовом поглощении большого количества нарзана.

– Что же нам с тобой делать? – с суровой задумчивостью произнес Горынин.

Я покорно развел руками. По всему, никаких указаний о том, что со мной и с Витьком делать, они еще не получали. Иначе разговаривали бы совсем по-другому.

– Где Акашин? – спросил Сергей Леонидович.

– Спит.

– Уйдет в бега – будешь отвечать!

Я кивнул.

– Что ж ты нам такого проходимца подсуропил? – снова заговорил Николай Николаевич. – Мы тут запросили его прежнее место работы. Оказывается, он и там хулиганил! Вот ведь: сначала на бригадира руку поднял, а теперь эвона на что замахнулся! Да и роман у него, когда вчитаешься, с душком! Ясно теперь, на чью мельницу он воду из своей чаши льет! стыдно!

Я послушно покраснел.

Трудно сказать, чем бы закончился разговор, но в этот момент в кабинет ворвалась Ольга Эммануэлевна. Она была страшно взволнована – парик съехал на затылок, как пилотка у солдата после марш-броска. Не замечая меня или делая вид, что не замечает, она закричала:

– Я буду звонить Горбачеву! Я ему все объясню! Меня обманули! Я должна все лично объяснить Михаилу Сергеевичу! Я все ему расскажу про этого мерзавца Акашина! Все, что знаю...

И она ринулась к «вертушке». Конечно, это было явное преувеличение: всего она, конечно, не рассказала бы. Но испуганные мужчины повскакали и, образовав стенку, как в футболе во время опасного штрафного удара, заслонили священный телефон своими телами. Воспользовавшись суматохой, я покинул кабинет. Члены трех делегаций встретили мое появление с брезгливым любопытством. Правда, брезгливость либеральной делегации имела легкий родственный оттенок.

– Звонят Горбачеву! – многозначительно сказал я и покинул приемную, заметив, как зашевелились письмоноscopy, перегруппировываясь для броска в кабинет.

Я спустился в туалет и заперся в кабинке, чтобы, помимо прочего, перевести дух и обмозговать ситуацию. Неожиданно сверху появилась рука и протянула мне бумажку. На запястье я успел заметить знакомые «командирские» часы – это был Чурменев. Развернув листочек, я прочитал написанные печатными буквами по клеточкам слова:

Сегодня. В 18.00. Перепискино. Улица Довженко, дача 12-А. Прошу быть вместе с В. А. и романом. Немедленно. Жду. Ч.

Когда я вернулся домой, Витек уже проснулся и ел.

– Какие новости? – спросил я.

– Никаких. Какой-то Сахаров звонил из Горького. Спрашивал меня или тебя.

– Я же тебе сказал: не подходить к телефону!

– Ну, я ему и ответил, что никого нет дома. Он обещал перезвонить через два часа...

И тут раздался звонок, я сорвал трубку.

Это была моя знакомая телефонистка с голосом Софи Лорен. Она объявила, что за неуплату отключает телефон. Полагая, что ее просто задела моя невежливость во время нашего предыдущего разговора, я завел свою обычную песню про необыкновенную мистическую сексуальность ее голоса и, чувствуя внезапную неуступчивость, пошел на крайность: пригласил незнакомку к себе в гости – на чай. В гости она зайти как-нибудь пообещала, но сказала, что телефон все равно отключает, так как это распоряжение самого высшего начальства. В трубке щелкнуло, и воцарилась мертвая тишина. Академик Сахаров напрасно старался теперь дозвониться до меня из своей горьковской ссылки.

22

Вечером, в половине шестого, мы с Витьком стояли на платформе «Перепискино». Электричка, только что привезшая нас из Москвы, с шипением сомкнула двери, прищемив какого-то гражданина, слишком увлекшегося прощанием с друзьями. Потом состав дернулся и пополз, постепенно набирая скорость, дальше – в Голицыно. Гремящая и все быстрее мелькающая зеленая стена поезда вдруг оборвалась, и мое тело, подхваченное какой-то мгновенной невесомостью, шатнулось к обрыву платформы, вниз – к призывно гудевшим рельсам. Я невольно ухватил Витьку за руку.

– Ты чего? – спросил он.

– Все нормально... Ты все равно не поймешь! – отмахнулся я, приходя в себя.

– Чего ж тут непонятного? У меня так в метро часто бывает: как будто на рельсы сдувает.

Чтобы скрыть неловкость, я переложил завернутую в газету папку «с романом» под мышку и из-под руки посмотрел вслед удалявшейся электричке: хвостовой вагон, расцвеченный с торца ярко-красными полосами, был еще отчетливо виден. На обратном пути в Москву машинист просто перейдет в этот вагон – и хвост превратится в голову. Такова же переменчивость жизни!

На автобус мы, разумеется, опоздали и решили не ждать следующего, а пойти пешком. Это примерно два километра, если идти не по шоссе, а напрямик, через старинный сосновый бор. Тропинка, усыпанная хвоей, во многих местах бугрилась толстыми, похожими на варикозные вены корнями высоченных сосен. Витек споткнулся, выругался и стал внимательнее смотреть под ноги. Я же хорошо знал эту тропинку. Сколько раз я мчался по ней, трепеща нетерпеливыми крылышками вождения, к горынинской даче. Однажды я тоже зацепился ногой за корень, набил себе здоровенную шишку, и неумоимо-нежная Анка всю ночь звала меня «мой носорожек». Кто знает, возможно, если б шишка не сошла, мы бы никогда не расстались и я бы навсегда остался «ее носорожком»? Кто знает...

Был теплый июньский день, а точнее, тот переломный миг дня, когда солнце еще ярко бьет сквозь прорехи сосновых крон, но в воздухе уже реют острые вечерние запахи, а в тених, отбрасываемых деревьями, начинает накапливаться мрак будущей ночи. (Почти Бунин! Запомнить.)

– Хорошо! – шумно вздохнув, сказал Витек. – Как у нас в Мытищах!

Поселок Перепискино называется так потому, что построили его недалеко от деревеньки Переписки. А сама деревня называлась так потому, что в начале прошлого века ею владел один страшно занудливый старикашка, который постоянно переписывал свое завещание. Глянет наследник недостаточно почтительно или просто без выражения – старикашка тут же его гонит прочь и зовет к себе стряпчего, бумаги переписывать. Перепишет, вызовет следующего наследника, а тот возьмет да и опоздает к назначенному обеду. Старикашка его тоже в шею – и опять за стряпчим посылает. Чем дело закончилось, кому досталась деревенька в конце концов, никто уже и не помнит, но с тех пор это место так и прозвали – Переписки...

А писательский поселок возник здесь гораздо позже, в начале тридцатых, когда Алексей Максимович Горький вернулся с Капри – посмотреть, чего тут в России понадрызгали друзья его молодости, взявшие власть в семнадцатом году. Приехал, изумился, да так в изумленном состоянии и остался. Как уедешь снова на Капри, если здесь твои книжки в школах проходят, а члены ВЦИК хлопают по плечу и упрекают: «Что это ты, в самом деле, Максимыч, разъездился?!» Осмотрелся Горький, изучил обстановку и как-то на обеде принялся упрекать Сталина: мол, сколько писатели для революции сделали, а ты, Сосо, их в черном теле держишь! «А золотой телец писателям вреден!» – усмехнулся Сталин. Но Горький не отступал и однажды во время ужина напомнил вождю, что при старом режиме писатели летом жили и творили исключительно на дачах, а не в городской духоте и шуме. И какая литература была – Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов! Сталин, говорят, пыхнул трубочкой и молвил: «Так они, на дачах сидючи, царизм и свергли! Ты хочешь, Максимыч, чтоб они и нас так же?!» Горький испуганно замахал руками и начал объяснять, что имел в виду совсем другое! Тогда Сталин покивал и сказал: «Ладно. Ты – основоположник пролетарской

литературы, поступай со своей сволочью как знаешь!» Возможно, это была самая большая ошибка отца народов за все годы его правления...

Переписки для строительства писательского дачного поселка Горький выбрал не случайно. Во-первых, само название местности до смешного подходило для компактного проживания пишущей интеллигенции. А во-вторых, места чудесные: сосны, река и всхолмленная голубоватая даль. Кстати, в молодые годы Алексей Максимович тут бывал на рабочих маевках, которые, как мы бы теперь выразились, спонсировал текстильный миллионер Савва Морозов, застрелившийся задолго до накликанной буревестником и проплаченной им самим революции. Приехал Горький сюда, огляделся, всплакнул, по своему обыкновению, а вечером написал в Париж Ромену Роллану: «Будем, Рома, возделывать свой садик. Приезжай!» Роллан приехал, погостил, но не остался, а вернулся в свою Францию.

Дачи строились, конечно, за казенный счет – большие, двухэтажные, рубленые, с затейливыми верандами и беседками, окруженные глухими заборами. Распределяли их между заслуженными писателями Горький и Сталин сообща, спорили, составляя списки. Вождь старался, чтобы дачи достались хорошо поработавшим на революцию литераторам, и упрекал классика: «Что-то ты, Максимыч, одних попутчиков мне подсовываешь!» А Горький махал руками, оправдывался, но все-таки добился нескольких дачек и для хороших писателей. Сложный был человек и трагическая фигура отечественной культуры. Потому и псевдоним такой – Горький. Да и время было непростое: только литератор заселится, семью разместит, рукописи разложит, как приедет ночью черный автомобиль и увезет всех обитателей в неизвестном направлении. И снова начальство ломает голову – кому освободившуюся дачу выделить. Подумают, поспорят, выделят, а там глядь – снова ночные шины на дорожке зашуршали... После смерти Горького Сталин распределял дачи вместе с Фадеевым, а с хрущевских времен передали это непростое дело в ведение правления Союза писателей. Сколько скандалов и обид было, с ума сойти! Горынин въехал на свою дачу вскоре после выхода «Прогрессивки», когда ему поручили выступить с речью на съезде партии и он пожаловался, что трудно ему писать такое ответственное выступление в шумной городской квартирке.

Но еще задолго до Николая Николаевича, при жизни Горького, получил дачу в Перепискино поэт Яков Чурменяев, дед нынешнего Чурменяева. До революции служил он приказчиком в мануфактурной лавочке купца Галкина и фамилию носил обыкновенную – Еропкин. Когда пришли красные, он первым делом выдал им своего хозяина, схоронившегося между штуками ситца. Галкина шлепнули, а Яшу Еропкина, признав тружеником аршина и пролетарием прилавка, взяли в отряд писарем. Но скучно ему было перебеливать приказы да списки, завел он себе кожанку, папаху и маузер. А когда очередную партию «контриков» в расход пускали, попросил у командира разрешения – пристрелять новое оружие. Командир подивился таким склонностям бывшего приказчика и откомандировал его в ЧК – там можно каждую ночь маузер пристреливать. И хотя именно там Яков познакомился со вторым мужем Кипятковой, став свидетелем его трагической гибели, но все-таки не остыл и не одумался. Через некоторое время Еропкина назначили командиром продотряда, наводившего ужас на уездных крестьян, которые по своей прирожденной тупости, о чем так хорошо писали товарищи Бухарин и Троцкий, ну никак не хотели отдавать хлеб голодающим рабочим Москвы и Питера, а прятали его даже в навозных кучах. Темные мужики вообще додумались считать Еропкина чертом. Когда он, одетый в кожаную тужурку, внезапно влетал в деревню на своем черном коне и, глядя в цейсовский бинокль, размахивал шашкой, насмерть перепуганные селяне крестились, приговаривая: «Чур меня! Чур меня!» Было из-за чего пугаться: по своему обыкновению, Еропкин сначала рубил мироедов шашкой и, лишь утомясь, спрашивал, где хлеб. Этим «чур меня» Еропкин страшно гордился, видя в нем невольное признание врагами своих революционных заслуг. Но все кончилось плохо. Однажды – дело было в селе Желдобино, – намахавшись шашкой и погубив народу бесчисленно, он, поостыв, спросил: «Где хлеб?» – и выяснил, что селяне зерно сдали вполне добровольно, и оно, погруженное на подводы, полдня как дожидается возле комбеда. За такое бессмысленное самоуправство Еропкина вызвали в губком, пропесочили и выгнали из командиров к чертовой матери.

Оказавшись, как тогда выражались, в «первобытном состоянии», Яков задумался о том, где заработать на хлеб насущный. Конечно, можно вернуться в приказчики, но торговать нечем, так как все

распределялось начальством. И чтобы добыть справные башмаки, нужно было получить мандат в каком-нибудь подотделе или ячейке. Да и стыдно после шапки снова в руках аршин держать. За что ж тогда боролся? Размышляя о том, кем бы стать, Еропкин вспомнил, что самые дорогие отрезы в лавке купца Галкина всегда покупал один литератор, писавший святочные стихи и рассказы в губернскую газету. Прикинув все «за» и «против», Еропкин стал поэтом, благо грамотой владел и почерк имел писарский. Оставалось только подобрать псевдоним, ибо без одного и соваться в молодую пролетарскую литературу было как-то неловко. На дворе стояла эпоха псевдонимов, вся страна, начиная с Ленина и заканчивая каким-нибудь последним Сашей Красным, сочинявшим подписи к революционным плакатам, носила псевдонимы. И, вспомнив испуганно крестившихся при его появлении мироедов, Еропкин подписал свои первые стихи «Чурменяев». Да так и остался в литературе. Замечу как бы вскользь, некоторые его собратья по перу, поленившиеся взять псевдонимы, кончили плохо – Есенин, Маяковский, Мандельштам и другие...

Писал Чурменяев в основном для детей. Нет, конечно, сначала он сочинил большую поэму о борьбе за советскую власть для взрослых и послал ее на отзыв Горькому. Тот и подсказал начинающему автору обратиться к юным читателям, начертав на полях рукописи резолюцию: «Детский лепет!» Этот автограф великого пролетарского писателя потом очень помог Чурменяеву в жизни – открыл ему редакции журналов и газет, где и появились его первые стихи, посвященные борьбе за личную гигиену, столь необходимую молодой республике, изнывавшей от вшей и нехватки медикаментов:

Чтобы мама не бранила Поутру тебя, дружок,
Как проснешься, в руки – мыло,
В зубы – мятный порошок!

Вообще критика сразу отметила мягкость и задушевность его стихов, что было большой редкостью в те суровые литературные годы. У Чурменяева появилась определенная известность, пошли благодарные письма от читателей, которые только-только выучились читать да писать благодаря всенародной борьбе с неграмотностью. Теплое письмо пришло даже от девушки из села Желдобино. Юная ликбезовка, сочинившая его, не могла себе вообразить, что страшный командир продотряда Яков Еропкин и добрый поэт Чурменяев – одно и то же лицо! К тому времени он женился и бедствовал с молодой

женой и сыном в маленькой комнатухе, полученной по ордеру КАРПа (Красной ассоциации революционных поэтов). Тогда он снова обратился к Горькому, и тот переслал его прошение по начальству с припиской: «Жалкий человек. Помогите. Ваш Горький». Кстати, любознательный читатель может найти это письмо с автографом Горького в полном собрании сочинений Якова Чурменьева. Но там почему-то значится несколько иначе: «Жалко человека. Помогите. Ваш Горький». После этого детскому поэту дали крошечный флигелек в Перепискино, поначалу задуманный как банька, но из-за нехватки места переоборудованный под жильё.

Творческий процесс продолжался. По-доброму, увещательно поэт доводил до детишек линию партии, направленную на изучение языков вражьих стран:

Чтобы, прошмыгнув границу, У врагов секрет узнать —
Надо хорошо учиться, Вражьи буквы изучать!

Правда, сын Чурменьева не очень хорошо учился, а все больше катался по дачным окрестностям на велосипеде, лазал за яблоками в соседние сады и заодно слушал разговоры, которые вели знаменитые писатели, выпивая со своими гостями за столами, накрытыми прямо в саду. Разговоры он обычно пересказывал папе. Тот задумчиво кивал и записывал, а вскоре по усыпанным хвоей дорожкам зашуршал чёрный автомобиль. И хотя, конечно, это было простое совпадение, ибо такие же автомобили шуршали по всей стране, но со временем семья Чурменьевых перебралась в освободившуюся большую дачу, где и осталась навсегда.

После войны Чурменьев умер. Произошло это так: к старости его стали мучить ночные кошмары, он вскакивал, хватал старую боевую шашку и с воплями «Чур меня!» начинал отмахиваться от напиравших на него призраков, которые, по его словам, каждую ночь приносили ему в своих разрубленных черепах зерно для голодающего Питера. Его лечили. На время он утихал, а потом все начиналось сначала. Однажды ночью он по неосторожности зарубил себя собственной шашкой. Похоронили его торжественно: как он и просил, на перепискинском кладбище. Все центральные газеты вышли с некрологами и статьями «Детская литература осиротела», «Любимый ученик Горького» и т. д. А через неделю пришли отбирать дачу – ведь Чурменьев-сын, как я уже сказал, учился не очень хорошо и в писатели не вышел, став всего

лишь руководителем среднего звена. А поселиться в огромной даче желающих было очень много, началась даже тайная война за право внести свой диван в исторический дом. В этой войне серьезно пострадали несколько «космополитов». И тут Чурменяевым пришла в голову замечательная идея – они объявили дачу домом-музеем выдающегося писателя, а себя хранителями. А против хранителей не попрешь, и беспардонные соискатели, рыча и облизываясь, отступили. Надолго ли? И поэтому своего наследника Чурменяев-средний воспитывал с твердой установкой на то, чтобы сын стал писателем. «Пиши! – повторял он ему. – Пиши, сынок, а то, не ровен час, вышибут нас всех с дачи!» А как заметил древний педагог, детская душа – восковая табличка, на которой родители пишут свои мечты. Внук, как вы уже знаете, писателем стал, и дача осталась за родом Чурменяевых.

Забегая вперед, скажу: когда вслед за Советским Союзом обрушился и Союз писателей, перепискинские дачи достались тем, кто в них тогда обитал. Правда, прежней роскоши уже не было: немногие сохранили за собой, как Чурменяевы, целые дома, большинство коттеджей были поделены на несколько писательских семей. Но пока все они оставались советскими писателями, проблем не возникало, жили дружно. И вдруг все изменилось. Оказалось, что под одной крышей подчас собрались демократ, консерватор, монархист, коммунист или анархист. Мирная жизнь кончилась: люди месяцами не разговаривали друг с другом, даже не здоровались, выдергивали из грядок чужой укроп или, еще хуже, морковь, рвали на клочки телеграмму, принесенную почтальоном в отсутствие адресата, и т. д. Только однажды они снова все объединились – когда толпа безданных писателей приехала на электричке из Москвы и попыталась восстановить справедливость. Оборону возглавил уже выгнанный с работы за сыновние штучки Чурменяев-средний – сказался многолетний опыт умеренно руководящей работы. Он вооружил обитателей дач охотничьими ружьями, сам взял отцовскую шашку, и в течение дня они отбивали атаки размахивавших дрекольем неимущих литераторов. Милиция не вмешивалась, считая это внутренним творческим спором тружеников пера. К ночи, проголодавшись, нападающие уехали в Москву с последней электричкой, на прощание спалив пару беседок... Наутро наметившееся было единство снова

распалось. Но все это произошло несколько лет спустя после описываемых событий.

Мы вошли в поселок, и нас с двух сторон обступили большие деревянные терема, видневшиеся за сплошными зелеными заборами. Откуда-то потянуло волнительным шашлычным дымком.

– Кучеряво живут! – присвистнул Витек.

– Я же не зря из тебя писателя хочу сделать!

– А чего, мне тоже дачу здесь дадут?

– А как же. Как только – так сразу!

– Трансцендентально!

Возле чурменяевской дачи стоял роскошный новенький «Мерседес» – такие в те времена можно было встретить разве что у подъезда посольства да еще в Перепискино. Калитка оказалась предусмотрительно не заперта...

23. Гости съезжались на дачу

23. Гости съезжались на дачу

Поднявшись по ступенькам крыльца, мы попали в полутемную прихожую и, толкнув первую же дверь, очутились в просторной комнате, где висел большой конный портрет какого-то головореза в кожаной тужурке и с шашкой наголо, а в углу, в стеклянной витрине, были выставлены те же самые тужурка и шашка, но уже в натуральном качестве. У окна располагался письменный стол, а на нем – старая пишущая машинка с заправленным в каретку листом бумаги, на котором были напечатаны две строчки:

Восьмилетняя Наташа Очень не любила кашу.

И я понял, что мы по ошибке забрели в музейную часть дома, а на листке – последнее незаконченное стихотворение, сочиненное Чурменяевым-дедом перед тем как зарубиться... Я чертыхнулся и потащил Витька к другой двери. За ней нашим взорам открылась зала с горящим камином и кабаньими шкурами, устилавшими пол. В центре залы со стаканами в руках стояли Любин-Любченко, Одуев и Настя.

– А вот и мы! – сообщил я.

– Заждались! – облизнулся теоретик, нежно глядя на Витька. – Чурменяев с американцем в кабинете беседуют. Сейчас придут.

– С каким американцем? – изумился я.

Одуев подошел ко мне, взял под руку и отвел в сторону:

– А ты ничего не знаешь?

– Нет...

И тогда он объяснил мне, в чем дело. Оказывается, Чурменяев пригласил на дачу мистера Кеннди – секретаря жюри Бейкеровской премии, человека, от которого все и зависит. У жюри возникли некоторые сомнения насчет «Женщины в кресле». Во-первых, потому, что всплыла история чурменяевского дедушки, крайне неосторожно обращавшегося с шашкой. А во-вторых, и это главное: в Венгрии появился писатель-диссидент, сочинивший роман «Плесень», где описываются страдания венгерского народа под коммунистическим игом. Тираж романа конфисковали, а автору пришлось попросить

политическое убежище в Австрии. Впрочем, с венгром Чурменяев был на равных, так как дедушка мадьяра-разоблачителя тоже был коммунистом, устанавливал советскую власть в России и чуть ли не участвовал в расстреле царской семьи. Между прочим, сам мистер Бейкер, учредивший премию, некогда горячо этот расстрел приветствовал и даже устроил по сему радостному поводу бесплатную раздачу хрустящих булок. Но времена, как говорится, меняются, а вместе с ними меняются и поводы для бесплатной раздачи булок. Жюри колебалось, кому вручить премию, и вот мистер Кеннди прилетел в Москву...

– Для этого Чурменяев тебя с Витьком и высвистал, – объяснял Одуев, – чтобы показать: вот, мол, с какими я людьми вожусь! Ведь об акашинском выступлении у них сейчас все газеты орут! Въехал?

– А роман зачем? – спросил я.

– Не знаю. Наверное, мистер Кеннди просил.

– А ты как сюда попал?

– Я... Я представляю здесь движение поэтов-контекстуалистов, – скромно потупил глаза Одуев.

– И все?

– Нет. Еще Леонидыч просил передать, чтоб глупостей ты больше не делал. Понял? Иначе он тебя не отмажет...

– Понял.

В это время открылась дверь, в каминную вошел Чурменяев в потертых джинсах и показательно ветхом свитере. Он бережно вел под локоток высокого сухощавого иностранца в приталенном темном пиджаке. Лицо иностранца было покрыто дорогим загаром, а приветливая улыбка свидетельствовала об очевидном превосходстве западной школы зубопротезирования над отечественной.

– А вот и наш герой! – воскликнул Чурменяев.

Он бросился к Акашину и обнял с такой радостью, точно это был его лучший брат, найденный после многих лет разлуки. На запястье Чурменяева блеснули знакомые «командирские» часы. Скотина!

– Мистер Кеннди, это наш отважный Виктор! Витя, это мистер Кеннди... Я тебе о нем много рассказывал!

– Вестимо, – не дожидаясь подсказки, ответил Витек.

– Отчэнь рад! – тщательно артикулируя, произнес американец. – Я много наговорен про вас... – Он с восхищением оглядел Витькины

пятнистые штаны, майку с надписью «LOVE IS GOD», закарпатскую доху и уимблдонскую повязку на голове. Но особенно, как и следовало ожидать, ему понравился кубик Рубика с загадочными буквами.

– Обоюдно, – снова самостоятельно ответил Витек.

Мистер Кеннди недоуменно посмотрел на Чурменяева, и тот начал жарко и долго переводить ему что-то на ухо. Американец слушал, кивая и поглядывая на Витька со все возрастающим интересом. Я почувствовал внезапную обиду из-за того, что Витек отвечает без всякого со мной согласования, а меня самого даже не представили американцу. Я тихонько пнул обнаглевшего Акашина в бок, но он сделал вид, что не заметил.

– Вы есть... – Мистер Кеннди запнулся, видимо исчерпав запасы русских слов. – You are a brave man!

– Ты смелый мужик! – вымученно улыбаясь, перевел Чурменяев.

– Отнюдь! – тут же отреагировал Акашин, которому, судя по всему, моя помощь уже и не требовалась.

– И скромный... – ядовито добавил я.

– Sorry? – не понял американец.

– A modest guy, – перевел Чурменяев.

– Yes... I was told they were going to arrest you, weren't they?

– Мне сказали, что вас хотят арестовать, не так ли? – завистливо вздохнув, перевел Чурменяев.

– Вы меня об этом спрашиваете? – улыбнулся Витек, продолжавший, и надо отметить, вполне удачно, пороть самодеятельность.

Чурменяев перевел. Американец засмеялся – и все дружно засмеялись следом. Потом он оглянулся на сервировочный столик с бутылками, и Любин-Любченко услужливо подал ему бокал виски. Чтобы налить себе, я положил сверток с романом на диван.

– Но! Водка! – перешел снова на русский заморский гость.

Теоретик растерянно облизнулся и налил ему водки. Мистер Кеннди взял стакан, зачем-то посмотрел его на свет и начал говорить по-английски. Спич был пространен.

– Мистер Кеннди, – переводил Чурменяев, кисля на глазах, – предлагает выпить замечательной русской водки за то, что в России еще есть люди, для которых права личности на свободу слова святы и

нерушимы! Он надеется, что для отважного Виктора годы заключения в ГУЛАГе станут тем же, чем стали они для великого Солженицына!

– И Пастернака! – краснея, добавила Настя.

– Пастернак не сидел, дура, – мягко поправил Одуев.

– Жизнь всякого честного писателя – тюрьма! – громко сказал я, решив наконец обратить на себя хоть какое-то внимание.

Американец бросил на меня взгляд, потом вопросительно посмотрел на Чурменяева, и тот что-то прошептал ему на ухо. Выслушав, мистер Кеннди снова перевел глаза на меня и благодетельствовал улыбкой, какой обычно награждают удачно пошутившего официанта.

– Коллеги, – подняв стакан и озарившись своей масляной улыбкой, заговорил Любин-Любченко, – разрешите алаверды?

– Sorry? – не понял американец.

– Backtost, – неуверенно перевел Чурменяев.

– Okay! – кивнул мистер Кеннди.

– О'кей – сказал Патрикей! – заржал Витек и победительно глянул на меня.

– Коллеги, – продолжил Любин-Любченко, облизываясь, – я хочу обратить ваше просвещенное внимание на одну важную деталь. Все, конечно, помнят то слово, которое отважно бросил в эфир наш Виктор! Не буду повторять это слово при даме...

– О, shit![2] – радостно воскликнул внимательно слушавший американец.

– Так вот... – выжидательно поулыбавшись, продолжал Любин-Любченко. – Это слово было услышано миллионами! Согласно исследованиям Губернатиса и Фрейда, экскременты ассоциируются у людей с самым ценным. Например, с золотом! Недаром великий Ницше говорил: «Из самого низкого самое высшее достигает вершины!» И я предлагаю выпить за нашего юного друга, чей путь из нечистот бытия лежит к высотам сияющего искусства!

– Great![3] – воскликнул иностранец и чокнулся с Витьком.

– Обоюдно! – ответил тот, даже не посмотрев в мою сторону.

Все бросились к Витьку, чокаясь, поздравляя и напутствуя. А Чурменяев чуть не задушил его в объятиях. И только я, стукнув своим стаканом о его стакан, сказал сквозь улыбку:

– Ты что, совсем оборзел, сволочь?

Но меня оттеснил Любин-Любченко, норовивший поцеловать Акашина в губы.

– Я тоже хочу с ним выпить! – раздался вдруг громкий женский голос.

Все обернулись: на пороге стояла Анка, одетая в какой-то воздушный комбинезон, сквозь который отчетливо просвечивались трусики. Она была уже прилично пьяна. Американец вопросительно посмотрел на Чурменяева.

– It is my girl-friend,[4] – смущенно пояснил тот.

– О, отчэнь рад! – улыбнулся мистер Кеннди.

– А я нет! – крикнула Анка. – Мне противно! Чему вы радуетесь? Золота хотите? Из любого дерьма вам бы лишь золото сделать! А на то, что человека завтра посадят, вам наплевать!

– Анна! – Чурменяев, мучительно озираясь на опешившего американца, двинулся к ней.

– Не подходи! Бой-френд... Думаешь, не знаю, зачем я тебе понадобилась? Знаю. Хочешь и меня в своем гинекологическом кресле раскорячить, чтоб все узнали, как дочка классика советской литературы тебе минет делает! За это могут еще и Нобелевку дать...

– What is «minnet»?[5] – спросил американец.

– Oral sex,[6] – обреченно объяснил Чурменяев.

– О-о!

Тут решительно выступил вперед Одуев:

– Анна Николаевна, вам лучше уйти! Я вас провожу. Все-таки иностранец...

– А что мне твой драный иностранец?! Я ничего не боюсь! Это ты бойся! Думаешь, если ты стукач, то можно школьниц портить?

Настя всхлипнула и закрыла лицо руками.

– What is «stjuckatch»?[7] – спросил мистер Кеннди.

– Плотник... А carpenter... – объяснил взмокший Чурменяев, для убедительности демонстрируя, как молотком заколачивают гвозди.

Любин-Любченко облизнулся, собираясь что-то сказать, но не успел.

– А ты вообще молчи! – истерично крикнула Анка. – А то я сейчас всем расскажу, за какие художества тебе три года дали! Я у папашки интересную бумажку про тебя прочитала!

– А я молчу, – сник Любин-Любченко.

– Вот и молчи!

Возникла тягостная пауза. Надо было что-то делать.

– Анка! – взмолился я.

– А-а... Ты тоже хочешь узнать, что я о тебе думаю?

– Нет, не хочу.

– Почему?

– Потому что я знаю. Потому что я тоже о тебе думаю...

– Не стоит думать о такой дряни, как я. Но я всего лишь маленькая дрянь, даже дрянцо... А вы все – извращенцы!

– What is she saying?[8] – спросил американец, чувствуя, что Чурменяев доносит до него происходящее в крайне адаптированном переводе.

– Perverts.[9]

– О-о-о, my God![10]

Анка вдруг тихо засмеялась, подошла к Витьку и положила ему на плечи руки:

– А ты, глупенький гений, ты-то здесь зачем? Беги от них, пока таким же не стал! Беги... Где твой роман?

– Вон. – Витек растерянно кивнул на газетный сверток, лежащий на диване.

– Ах, вот он где! – Она подбежала, схватила сверток, дразня, издала показала его американцу. – Это тебе, спиннинг трехчленный, нужно? (В этом месте Чурменяев запнулся от полного переводческого бессилия.) Ну-ка, отними! Сейчас мы посмотрим, горят рукописи или нет?!

И на глазах ошеломленной общественности она швырнула папку в камин. Сверток упал прямо на горящее полено и сбил пламя. По комнате прокатился вздох потрясения.

– Ну, мистер, не-знаю-как-вас-зовут-и-знать-не-желаю, достаньте! Или вы привыкли, чтобы вам рукописи из огня другие таскали?

Американец смотрел на все это с трепетным туристическим восторгом, с каким, наверное, смотрел бы на дикаря, глотающего живую кобру. Чурменяев вытирал пот платком и ничего ему не переводил. Анка тем временем снова подошла к Витьку, снова положила ему на плечи руки и заглянула в глаза так, точно старалась прочитать на роговице крошечные буквы правды. Каминный огонь,

видимо, оправился после удара, и газета по краям начала стремительно коричневеть.

– Скажи, глупый гений, – спросила Анка, – тебе очень жалко? Это ведь твой роман! Он сейчас сгорит... Если жалко, я сама сейчас достану. Достать?

– Скорее нет, чем да... Да хрен с ним, с романом! – великодушно ответил Акашин. – Пусть горит к едрене фене!

– Молодец! Ты единственный человек среди этих извращенцев! – И она страстно поцеловала его в губы.

– Ментально... – только и вымолвил мой ошарашенный воспитанник, на глазах перевоплощающийся в моего соперника.

Мне показалось, что я чувствую на губах ее пьяное нежное дыхание. Тогда я бросился к камину и схватил щипцы...

– Не смей! – завизжала Анка. – Если ты это сделаешь – между нами все кончено.

– Между нами и так все кончено!

– Нет, ты еще не понимаешь, что значит – все... Только достань – тогда узнаешь!

Я остановился. Ее лицо горело сумасшедшим счастьем. Она сорвала с Витька уимблдонскую повязку, выхватила из его рук кубик Рубика и отшвырнула в сторону:

– Глупый, несчастный гений, тебе нужно бежать от них! Тебе нужно спрятаться! Все очень плохо! Я слышала, как отец говорил о тебе по телефону! Хочешь, я помогу тебе спрятаться? Хочешь?

– Скорее да, чем нет...

– Пошли! Ты меня боишься, глупый гений?

– Не вари...

Не дав договорить, она потащила его к выходу.

– Витька! – крикнул я. – Вернись, не ходи с ней, дубина.

Он растерянно посмотрел на меня и замедлил шаг.

– Не слушай его! – заговорила Анка. – Он завидует. Он просто завистливая бездарность! Эй, завистливая бездарность, ты всегда хотел написать что-нибудь главненькое. Достань и возьми себе! Нам не жалко! Нам ведь правда не жалко?

– Говно, – буркнул Витек.

И они направились к двери. Папка в камине была уже полностью охвачена пламенем. Вдруг у самой двери Анка остановилась,

захохотала и, бегом вернувшись к Чурменяеву, на глазах восхищенного американца сорвала с руки автора «Женщины в кресле» «командирские» часы. Потом снова подбежала к Витьку и застегнула часы на его запястье.

– Теперь все... Пошли, глупый гений!

– Why has she taken the watch?[11] – изумленно спросил мистер Кеннди.

– It is her charm,[12] – чуть не плача, объяснил Чурменяев.

– О!

– Стойте! – заорал я. – Стой, Витька-подлец! Иначе я тоже расскажу про тебя правду!

Это было глупо, унижительно, а главное – бессмысленно. Как говорится, испугал ежа голыми руками! Витек остановился, посмотрел на меня с изумлением и сказал:

– Не вари козленка в молоке матери его!

Очнулся я, наверное, через несколько минут в кресле. Настя, расстегнув мою рубашку, массировала мне грудь, а Одуев старался влить в рот водку. Любин-Любченко, отдергивая, точно от печеной картошки, руки, отшелушивал с папки обгоревшие газетные страницы.

– Ничего... Только чуть-чуть папка обгорела, а рукопись цела! Шнайдер различает два типа огня в зависимости от его направленности. Огонь оси «огонь – земля», означающий эротизм, и огонь оси «огонь – вода», связанный с очищением и возвышением. Я думаю, тут налицо и то и другое. В доме есть какая-нибудь папка? Я рукопись переложу...

– Есть, в кабинете, – махнул рукой раздавленный Чурменяев.

Любин-Любченко подхватил обугленный сверток и понес в кабинет, я дернулся, чтоб его удержать, но Одуев с Настей не дали мне подняться с кресла. Тем временем Чурменяев жалостливым голосом начал что-то объяснять американцу.

– What a fantastic woman! – кивал мистер Кеннди. – It's Nastasija Philiprovna... really![13]

Вернулся Любин-Любченко и с недоумением протянул мне рукопись, уложенную в новенькую синюю папочку с белыми тесемками.

– No, give the manuscript to me, please![14] – замахал руками американец.

Чурменяев выхватил папку из моих рук и услужливо передал мистеру Кеннди. Тот с удовлетворением зажал ее под мышкой и дружески хлопнул хозяина по плечу:

– I must go! I'm being late for a plane! Good-bye to everybody! Stay in touch![15]

Он пошел к выходу, а за ним, тараторя извинения, поспешил Чурменяев.

– Гнида заокеанская! – глядя ему вслед, сказал Одуев.

– Почему же? – возразила Настя. – Очень приятный мужчина...

– Заткнись, соплячка! – оборвал ее лидер контекстуалистов.

Я встал с кресла. Все тело гудело от слабости.

– Странный сегодня день! – облизываясь, произнес Любин-Любченко и загадочно глянул на меня. – Столько неожиданностей...

– А вы ожидали чего-то другого? – спросил я.

– Честно говоря, да...

– Ну, и что скажете?

– Ничего. Пока ничего. Я должен подумать.

Вернулся вдрызг расстроенный Чурменяев.

– Как вы считаете, – спросил он, глядя на нас ошалевшими глазами, – мистер Кеннди очень обиделся?

– Наоборот, – приободрил его Любин-Любченко. – Считай, что «Бейкер» у тебя в кармане! Где бы еще он такого насмотрелся?

– Ты думаешь? – обрадовался будущий лауреат.

– Вестимо! – подтвердил я. – Купишь себе на премию новые часы – «Сейко», например. «Командирские» ходят слишком быстро! Не угонишься...

24

На Ярославском вокзале я купил из-под полы у какого-то деда водку и портвейн «Агдам»: мне было необходимо напиться. Дома я постелил чистую скатерть, аккуратно нарезал хлеб, колбасу, еще кое-какую закусочную мелочь и сразу зачастил, сознательно чередуя два этих несопоставимых напитка. Мне было так плохо, что единственным выходом было сделать себе еще хуже. Но поначалу мне, конечно, стало лучше – я подобрел, ведь это забавно: Буратино уводит у папы Карло бабу. Обхохочешься! Выпив еще, я решил поделиться этой уморительной новостью с Жгутовичем, а заодно сообщить, что хотя пари я, по сути, выиграл, он тем не менее может пользоваться моей квартирой начиная прямо с сегодняшнего дня, точнее, ночи. Я даже придумал хорошую хохму, а это очень важно, когда проигрываешь. Хохма такая: мол, фривольных штукатурщиц можешь в квартиру водить – только вольных каменщиков не смей!

Но телефон не работал. Ну, конечно, его же отключили еще утром! Портвейн оказался мне сладковатым, и я начал по вкусу добавлять в него водку, мысленно называя этот коктейль «Битва при Калке».

А все-таки я проиграл! Жгутович этого еще не понимает, а я понимаю. Облизывающийся теоретик, когда менял папку, наверняка увидел, что никакого романа нет, и теперь он разболтает об этом всем. Не ко времени! Ох, не ко времени! Еще не все успели восхититься глубиной и стилистической мощью знаменитого романа «В чашу». Железный расчет разбился о бумажную случайность. Что мы имеем в результате? Акашина могут загрести. Раз. Мне тоже достанется, особенно когда выяснится, что я раздавал всем папки с чистой бумагой. Это – два. Горынин теперь с одобрения Сергея Леонидовича перекроет мне кислород, по крайней мере, на некоторое время. Это – три. Изголодавшийся Жгутович превратит мою квартиру в остров внебрачной любви. Четыре. Мальвина спуталась со свежееоструганным Буратино, и сейчас он терзает ее тряпичное тельце своими деревянными конечностями! Пять! Я попытался вообразить, чем в этот

момент занимаются Анка с Витьком, представил себе моего «глупого гения» и эту нежнокожую гадину совокупляющимися в самой непристойной позе, какую только можно придумать. А придумать можно было многое! Стерва-а-а! Я схватил стакан с «Битвой при Калке» и швырнул его об стену: осколки разлетелись по всей комнате, а на обоях расплылось коричневое пятно, формой напоминающее Апеннинский полуостров. Я понял, что должен найти ее, дозвониться и сказать, проорать: между нами теперь уже на самом деле все кончено. И первым говорю это я. Я – а не ты!

Телефон не работал. Его отключили еще утром.

Что же мне теперь делать? Что? Я знал, что делать. Я поеду в деревню к Костожогову и расскажу ему все – про себя, про Анку, про Витьку, про этот дурацкий спор. Он посмотрит на меня своими яркими-преярыми глазами и простит. Я объясню ему, что сделал выбор. Наконец сделал. И он похвалит меня. Но тут я сообразил, что давно потерял бумажку с его адресом. Ерунда! Я выйду на улицу и у каждого встречного буду спрашивать, где находится такое село, черт его знает, как оно называется, но там еще есть школа, где нет даже звонка, а есть завхоз, который, когда наступает перемена, звонит в большой колокольчик. И есть там еще одна примета: старинный вяз – к нему французы, когда шли на Москву, привязывали лошадей. Люди добрые – они подскажут. Ведь хоть кто-то обязательно знает. А если Костожогов меня не простит, если он будет сидеть не поднимая глаз... Что тогда? Нет, я не поеду к Костожогову, я поступлю по-другому. Я поступлю, как и должен поступить подмастерье дьявола! И я расхохотался голосом оперного Мефистофеля. Как именно я поступлю, мне было еще неясно, но почему-то я захотел поведать о своем решении мерзавцу Одуеву. Но телефон не работал.

А что я, собственно, хочу сделать? Погоди... Решение очень простое, даже элементарное, многократно описанное в литературе, и оно разом избавит меня от всех мучений. Я старался нашарить его в себе и назвать, но оно глумливо ускользало от меня, точно с детства знакомое слово, вдруг закатившееся в какую-то темную щель памяти.

Я продолжал пить и с каждым стаканом все ближе подбирался к этому уже принятому, но все еще не пойманному и не названному решению. И вдруг я совершенно отчетливо понял, что должен сделать. Я убью их – обоих! Убью. И черное теплое счастье разлилось по всему

телу. И этим своим непереносимым счастьем я должен был поделиться с Сергеем Леонидовичем. Только с ним. Он тоже хотел убить свою жену и, хотя потом передумал, меня, конечно, поймет и одобрит. Я потянулся к трубке и, потеряв равновесие, грохнулся со стула.

Но телефон все равно не работал. А вот подняться я уже не смог...

Я лежал, вглядываясь в коричневое пятно на обоях, и постепенно куски моей плоти какими-то головокружительно бесплотными сгустками стали отрываться от распростертого на полу тела и устремляться к стене, втягиваясь в это гудевшее с пылесосной жадностью пятно. А там, по другую сторону пятна, сгустки собирались, состыковывались, слеплялись, снова образуя меня, при этом ссорясь и попискивая, как крысы. Наконец я воссоединился: последними нашли свое прежнее место замешкавшиеся глаза. И я увидел, что стою в спальне горынинской дачи, перед знакомой широкой кроватью, и сжимаю в руке мельхиоровый столовый нож. А на сбитых простынях лежат они. Но Анка почти не видна из-за широкой белой Витькиной спины, лоснящейся от пота и потому похожей на блестящую консервную жезь. Чтобы пробить этот панцирь, надо ударить со всей силы двумя руками и в то место, где бурый загар шеи резко граничит с металлической белизной загривка. Я замахваюсь... «Это бесполезно!» – тихо говорит Анка, выглядывая из-под Акашина, как Царевна-лягушка из-под коряги. Она пристально смотрит на меня. Он тоже оглядывается, но молча, причем голова его поворачивается на сто восемьдесят градусов, точно шея – это вставленный в туловище штифт. «Почему?» – удивляюсь я. «Разденысь – тогда скажу!» – предлагает она. «Ты опять обманешь!» – «Нет, раздевайся!»

Я снимаю одежду и втягиваю живот, чтоб выглядеть поатлетичнее. «Ты похудел...» – вздыхает она. «Почему?» – повторяю я свой вопрос. «Потому что ты просто убьешь себя...» – «Почему?» – «Да потому, что вы сиамские близнецы!» – смеется она. «Почему?» – «Боже, какой ты тупой! Виктор, покажи ему». – «О'кей – сказал Патрикей!» – ухмыляется Акашин и встает. И я вижу, что мы действительно сиамские близнецы: из его мохнатого паха тянется глянцево-красная, напряженно-подрагивающая пуповина, и заканчивается она в моем собственном паху, там, где прежде

существовало мое мужское начало. «Трансцендентально», – говорит Витек. «Что же делать?» – вопрошаю я. «Как что? – хохочет Анка, откидываясь на подушки. – Прыгать! Девочки очень любят прыгать через веревочку! Ты забыл?»

Нет, я не забыл... У нас во дворе были две подружки, они привязывали веревочку к бельевому столбу, потом одна из них крутила свободный конец, а другая прыгала. Затем они менялись местами. Это – правда. Но я-то тут при чем? «Как при чем? Виктор, покажи ему!» Акашин хватает пуповину у самого основания и начинает раскручивать, а я стою, как столб. Анка вскакивает с кровати и начинает прыгать, словно через скакалочку: сначала на двух ногах, потом чередуя правую и левую, потом скрещивая ноги... Virtuозно, не задевая пуповину, описывающую свистящие, сливающиеся в красное свечение круги. Ее груди мечутся вверх-вниз, а светлые волосы на лобке трепещут от встречных потоков воздуха... «Ну, что же ты стоишь? – задыхаясь, кричит она. – Неужели ты ничего не хочешь?» – «Тебя!» – отвечаю я. «Меня? Глупый, для этого нужно разрезать! Но никому в мире еще это не удавалось. Все операции заканчивались смертью. Кто-то один всегда умирал!» – «Я не боюсь!» – «Тогда режь! У тебя же нож... Режь!» – подпрыгивая все выше и даже зависая над полом, кричит она. «Режь, козел!» – орет Витек, все быстрее раскручивая пуповину. Я взмахиваю ножом: из рассеченной плоти, как из двух брандспойтов, начинает хлестать горячая кровь, заливая кровать и обрызгивая нас всех с ног до головы. Анка подставляет пригоршни и жадно пьет дымящуюся кровь.

Я ощутил восхитительное облегчение и умер...

25

Утром я умирал.

Напиваться так дико, бессмысленно и антигигиенично мне, кажется, не приходилось еще никогда. Очнулся я на полу и долго лежал, стараясь не шевелиться, даже не думать ни о чем. Любое усилие, даже мысленное, даже попытка просто сосредоточиться могли стоить мне жизни. Во рту была скрежещущая сухость, в голове клубилось причудливое облако боли, а в животе пружинистым, готовым к броску гадючьим крендельком свернулась тошнота... К вечеру мне стало чуть лучше, я дополз до кухни и выпил литровый пакет кефира, потом доковылял до ванной и смыл с себя весь вчерашний позор. С трудом воротившись в комнату, я включил телевизор, лег на диван и уснул. В эту ночь мне, к счастью, ничего не приснилось.

На следующий день я очнулся часов в двенадцать и понял, что уже в состоянии целенаправленно думать, хотя мыслительный процесс очень напоминал движения человека, который, страдая болезнью Паркинсона, пытается вдеть нитку в игольное ушко. Про свой страшный сон я старался не вспоминать. Я просто лежал, недоумевая, как мне могла прийти в голову мысль убить их обоих. За что? Как вообще можно убить близкого человека, даже если он и виноват перед тобой?

А далекого человека? Не знаю... Но Анка была моей самой близкой, самой любимой женщиной, мы в самом деле – пусть недолго – были едина плоть, не в пошлом, пространственно-физиологическом смысле, но совсем иначе, совсем по-другому. Это похоже на то, когда смешиваешь два цвета, скажем, синий с желтым, и получаешь новый – зеленый, живой и клейкий, как только что вылупившийся из почки листочек... Да, пожалуй, именно так! А Витек? Витек был простым поленом, валявшимся под забором, и я вырезал из него смешного говорящего человечка. Говорящего то, что прикажу я. Но человечек вышел из повиновения, спрыгнул с верстака и начал безобразничать, лукаво поглядывая на часы... Сволочь! Когда «командирские» часы

носил Чурменяев, мне было просто обидно. Сейчас мне невыносимо обидно. Но за это тоже не убивают, разве если только себя... Приехали!

Я с трудом поднялся и выключил телевизор, где показывали какие-то утренние соревнования по спортивной стрельбе из лука... И я вспомнил одну очень поучительную историю. Впрочем, что же это я вру?! Не мог я тогда вспомнить эту историю: она случилась гораздо позже. Но какая, в сущности, разница!

Жила-была обыкновенная советская семья: он – опытный инженер-программист, в нерабочее время ведущий исключительно прителевизорный образ жизни. Она – учительница химии в старших классах, эдакая складненькая, спортивная дамочка: в походы с учениками любила ходить... Жили нормально, как и все, – копили на машину, возделывали шесть соток, на которых, правда, ничего пока, кроме туалетной будки, где хранились лопата и грабли, не было. Детей заводить не торопились – зачем нищету плодить. Всем бы сейчас такую нищету! И тут, как мордастый тать в ночи, подкрался девяносто второй год. Деньги на книжке – полторы тысячи – испарились. А тут еще в НИИ, где трудился муж, начались сокращения, его из старших программистов перевели в обыкновенные, он психанул и уволился, а нового места найти не смог. Оказалось, программистов в стране больше, чем тараканов в общепите. Жили сначала на зарплату жены, но цены в магазинах росли каждый день, а оклад – нет. Продали дачный участок, но и эти деньги таяли просто на глазах. Инфляция, понимаешь ли! Муж, глядя на других, решил заняться бизнесом, тут и подвернулся ему друг детства, надежный, кристально честный человек, собиравший деньги для верного дела. План был хороший: сколотить сумму, слетать в Америку, закупить большую партию ширпотреба, с выгодой продать, а прибыль поделить. Взяли то, что оставалось от участка, загнали женино золотишко, уместившееся в баночке из-под черной икры, а главное – еще и заняли под проценты у другого человека, приятеля молодости, в институте вместе учились. Друг детства улетел с деньгами в Америку и больше не вернулся. А приятель молодости подождал-подождал и заслал «трясунов». Они встретили мужа вечером в подъезде, потрясли до неузнаваемости, «включили счетчик» – дали месяц сроку, пообещав, если не вернет деньги, убить...

Супруги подумали и решили из двухкомнатной квартиры переехать в комнатку, а разницу вернуть: жизнь дороже. Стали уже варианты по объявлениям искать. Вдруг жена ушла из школы и устроилась на новую работу, очень хорошую, с умопомрачительной зарплатой. Что-то связанное с нефтью и прочими богатствами недр. Только в командировки нужно было ездить часто и надолго. Она даже себе специальный чемодан завела, длинный такой. Готовила мужу пятилитровую кастрюлю его любимого фасолевого супа из рульки, нажаривала полсотни котлет, ставила все это в холодильник и уезжала. Но стряпня заканчивалась задолго до ее возвращения, и мужу приходилось по неделе, а то и по две питаться всухомятку, грязного белья тоже накапливалось прилично. Сначала – только в прямом смысле...

Из командировок она никогда не звонила, говорила, что жить приходится в полевых условиях и со связью очень плохо. Звонила только из аэропорта: мол, еду домой! Возвращалась загорелая, обветренная, с темными кругами под грустными глазами. Ахала, оглядывая по-холостяцки запущенную квартиру, бросалась стирать, наводить чистоту, готовить вкусные блюда и всячески заботиться о муже. Потом был, разумеется, не по-супружески бурный после разлуки секс, а когда они, расслабленные, курили, муж обычно говорил: «Может, хватит тебе мотаться? Пусть другие эту чертову нефть ищут!» – «Другие... А жить на что будем?» – сонно спрашивала она. «Суперменка ты моя!» – ласково целовал он ее в ухо.

Зарабатывала она в самом деле очень прилично. Вернули долг, даже отметили этот факт с приятелем молодости в кооперативном ресторане. Приоделись, особенно муж, – никогда у него таких костюмов и курток не было. Мебель поменяли. Ну, понятное дело – разные там видео-шмидео... Муж-то и на работу устраиваться не торопился, все ждал хорошего места по специальности. Так и жили, лучше прежнего. Правда, после одной из командировок жена приехала совсем высохшая и больная, даже в клинике отвалялась. И как-то у них после этого с сексом не заладилось: ей совсем не хотелось, несмотря на разлуку. А он на этом даже особенно и не настаивал. Дело в том, что в ее отсутствие он, мужчина видный, хорошо одетый и с деньгами в кармане, не терялся: сначала разных отдельно взятых девушек водил, а потом познакомился с симпатичной пухленькой хохотушкой из

соседнего подъезда. Роман не роман, но связь, близкая к любовной. У соседки был страшно ревнивый и параноидально подозрительный муж, поэтому встречались на квартире нашего героя, благо все условия: оба на службу не бегали – весь рабочий день в их распоряжении.

И вот однажды жена возьми и не позвони из аэропорта: тогда только-только пластмассовые жетоны ввели, а их у нее не оказалось. Приехала без звонка и застала их, как говорится, при исполнении. Вошла, поставила чемоданчик и застыла как вкопанная. А соседка нервно засмеялась в том смысле, что такую пикантную внезапность ей раньше только во французских фильмах видеть приходилось. Жена постояла, послушала, подхватила чемоданчик и – к входной двери. Закрыла ее на ключ, потом пошла на кухню. Муж впрыгнул в брюки – и за ней, бормоча, что сейчас все, мол, ей объяснит. Хотя, собственно, что можно объяснять в подобных случаях?

Войдя на кухню, он обмер: жена открыла свой чемоданчик, а там в специальных замшевых углублениях уложена разобранная на части оптическая винтовка.

– Зачем тебе это? – шепотом спросил он.

– Деньги зря, милый, не платят. Я по контрактам работаю. Мог бы догадаться!

И тут до него дошло. Жена, правда еще до знакомства с ним, занималась биатлоном, а следовательно – отлично стреляла из любого положения. А тут еще по телевизору чуть ли не каждый день говорили о каких-то «белых колготках», женщинах-снайперах, воюющих то в Приднестровье, то в Карабахе, то в Абхазии...

– Но тебя же могли убить! – вскричал он.

– Могли. Но не убили. Только один раз изнасиловали вшестером. Или всемером – не помню... Хотели шлепнуть, но наши отбили. Поэтому я после этого с тобой... Ну, это неважно... Теперь неважно, потому что я вас сейчас пристрелю, как блудливых собак! – Говоря все это, она привычно собрала винтовку и вставила обойму.

– Ты что, серьезно?

– Конечно! Я сейчас вас убью. За такие вещи нужно убивать. Обоих!

– А ты сможешь? – спросил муж, которому ста-ло так стыдно, что он даже и страха не чувствовал.

– Конечно. Это очень просто. Она будет у меня тридцать четвертой. Ты – тридцать пятым...

– Но ведь ты же...

– А я буду тридцать шестой. Это неважно. Пошли!

Жена втолкнула его в комнату и, пихнув стволом в грудь, заставила сесть на кровать с соседкой, которая от неожиданности не то что убежать, даже одеться не пыталась, только простынкой прикрылась. Она хоть и была классической постельной дурой, сразу сообразила: происходит что-то страшное. И заорала.

Жена вскинула «оптарь» и прицелилась.

– Не ори! – обреченно сказал муж. – Она права. Я бы тоже ее убил, если б вернулся оттуда и застал ее с мужиком...

– Вы оба больные! – еще пуще завопила соседка. – Я-то здесь при чем?! Что уж такого случилось? Меня муж три раза заставлял и даже пальцем не тронул. Он меня лю-ю-бит...

И вдруг жена отшвырнула в угол нацеленную винтовку, подскочила к соседке и дала ей затрецину, одну, другую, третью, – только голова у той в разные стороны моталась. Потом вцепилась в ее шестимесячные кудри и несколько раз как следует ударила затылком о металлическую спинку итальянской кровати, приговаривая:

– Если тебя твой муж, сука, так любит, что ж ты, лярва немытая, по чужим мужьям бегаешь?! А?

Потом за волосы же она выволокла ее в прихожую, сорвала простынку и вытолкнула абсолютно голой на лестничную площадку, а одежду потом в мусоропровод спустила. Правда, у соседки все обошлось. Она сказала обалдевшему своему супругу, что ее ограбили в лифте, и тот, чтобы успокоить безутешную подругу, купил ей норковую шубу. А наша суперменка, выставив соперницу, спокойно пошла на кухню, разобрала винтовку, уложила в чемоданчик и начала готовить любимый суп мужа – фасолевый, из рульки. Больше она никуда не ездила, вернулась преподавать химию в свою школу. А муж устроился около дома торговать «Московским комсомольцем». Но соседка газет у него никогда не покупает. Зато жена, прибежав из школы, несет ему в термосе и судках горячий обед. Вот такая история...

Походив по комнате, я осознал: окончательно вернуть меня к жизни и сделать полноценным членом общества могут, как и советовал

в таких случаях великий Булгаков, только сто граммов водки, закушанные солянкой с маслинами. Я представил себе, как буду наливать водку в рюмочку из казенного с золотыми ободками графинчика, и не ощутил никакой тошноты, а только сосущую сладость во рту. Организм победил!

На улице я зажмурился от солнца и вдохнул неизъяснимый воздух раннего московского лета, настоящий на свежей тополиной листве, выхлопных газах и сырых подвальных сквозняках. Так бывало в детстве, когда после долгого гриппа в первый раз выходишь из дому, чтобы отправиться в поликлинику. А друзья за время твоей болезни даже немного подросли...

ЦДЛ встретил меня все тем же настороженным любопытством. Закусонский отвел глаза. А Ирискин, обедавший в компании других писмоношцев, приветливо дернул мельчайшим лицевым мускулом. Но мне было наплевать! Да, коллеги, я жив, я на свободе, более того – свободен и сейчас буду обедать! У меня даже есть деньги: шинники заплатили! А если еще и пионеры мне отстегнут, я вообще буду богат, как инкассатор...

Я сел и, как всегда, не раскрывая меню, стал озираясь в поисках официанта. Ко мне подошла Надюха – снова в форменном фартучке и с кружевной наколкой в волосах.

– Обедать или поправляться? – спросила она.

– Поправляться. А тебя что – простили?

– Простили... А где Витек?

– Нарушаешь последовательность! – упрекнул я, и она, даже не уточняя, что принести, убежала на кухню.

Я огляделся. В углу с дамой обедал поэт Евгений Всполошенко; он, размахивая руками, громко читал ей стихи, ревнивым глазом успевая проверить, какое впечатление на окружающих производит его лиловый, с золотым переливом, как у конферансье, пиджак. За соседним столиком по-восточному звучно жевал известный среднеазиатский поэт, пишущий в основном о прохладных арыках, зеленых кишлаках и влюбленных хлопкоробах, но почему-то исключительно на русском языке. Странное занятие – похожее на плов из гречневой каши. Не уважаю! Уважаю Эчигельдыева, он хоть свою лабудень на кумырском пишет...

А Надюха на крыльях неразделенной любви уже летела ко мне с графинчиком водки:

– Ну, что там с Витьком? Метриха мне такого наговорила!

– Опережаешь события! – улыбнулся я, и она снова убежала на кухню.

Я посмотрел на графинчик, напоминающий химическую колбу, на которую по глупой прихоти нанесли два золотых ободка, и решил доказать себе, что бытовой алкоголизм еще не одолел мою волю и выпью я, лишь когда принесут солянку. Это было непросто, и, чтоб отвлечься, я стал прислушиваться к тому, о чем говорят за столиком Ирискина. А говорили вот о чем: сверху никаких команд еще не поступало и подписанты все эти дни дежурили в приемной, подменяясь, чтобы перекусить и справиться нужды. Но надолго отлучаться нельзя, ибо, не ровен час, позвонят с высот – и судьбу целого умонаправления может решить одно лишнее напористое плечо и один лишний зычный голос...

Солянки все не было. Прикинув, что уже достаточно испытал свою алкогольную независимость, я наполнил рюмку по всем законам поверхностного натяжения и «немедленно выпил», как сказал бы Венедикт Ерофеев. Кто хоть раз в жизни злоупотреблял, тот поймет мои ощущения: целебное тепло, зародившись в желудке, через несколько мгновений уже нежно приняло форму всего моего тела, а затем, выйдя за его пределы, образовало вокруг меня радостное марево, трепещущее, как воздух над раскаленными камнями. Я закусил корочкой хлеба и увидел Надюху, несущую над головами всей этой литературной сволочи судок с моей солянкой – серебряную чашу, почетный приз за несуетную жизнестойкость! (Обязательно запомнить!)

– Ну, что там с Витьком? Не посадили хоть? – ставя судок, спросила она.

– А где маслины? – в свою очередь спросил я, огорченно повалав ложку.

– Не завезли... Вы чего не отвечаете! Втянули его в разные пакости, а теперь отлыниваете! Где Витек?

– А где маслины?

– Не завезли, говорю!

– А его, наоборот, увезли...

– Куда?

– Не знаю...

– Кто?

– Дама. Дама с «командирскими» часами.

– Горыниха! – всплеснула руками Надюха. – А я думала, врут на кухне!

– На кухне никогда не врут.

– Дурак вы. Предупреждала я Витьку, чтоб не связывался... Связался! Если с ним что-нибудь случится, я вам горячий бульон на голову вылью!

– Твои угрозы, словно розы, а позы, словно туберозы! – процитировал я, кажется, себя самого.

– Да ну тебя... кофе будешь? – спросила Надюха, переходя на «ты».

– Вестимо.

Она снова ушла. А я бодро помахал ручкой печальному Закусонскому. Он в ответ только мотнул головой и скуксился еще больше. Я бы на его месте просто повесился на клейкой ленте для мух!

– Вот ты где! Слава богу! – Передо мной стояла запыхавшаяся секретарша Горынина Мария Павловна. – А я уж к тебе курьера хотела посылать. Телефон не отвечает, Николаич ругается, тебя требует. А тут Ирискин прискакал и говорит: ты в ресторане...

– Конечно, где ж еще быть настоящему писателю! А что случилось?

– Не знаю, но что-то серьезное. Пошли!

– Не могу. Без кофе не могу. Обед без кофе, как жизнь без смерти...

– Вот, правильно понимаешь: прибьет Николаич. Пошли!

И я пошел. Без кофе.

26. Гроздь славы

26. Гроздь славы

Приемная Горынина была набита томившимися в ожидании подписантами: они сидели третий день, поникли и осунулись. Мужчины заросли щетиной. Женщин явно не красил неловкий макияж, выполненный в полевых условиях. Делегаций теперь стало четыре: появились еще защитники природы, принесшие письмо против загрязнения эфира ненормативной лексикой. К ним примкнул болтавшийся без дела Свиридонов-младший.

В кабинете я застал странную картину.

Трое мужчин – Горынин, Сергей Леонидович и Журавленко – боролись с Ольгой Эммануэлевной. Выглядело это так. Видный идеолог, прикрыв «вертушку» своим телом, одной рукой придерживал на носу очки, а другой, стараясь сохранить уважение к старости, насколько это возможно в подобной ситуации, отталкивал атакующую бабушку русской поэзии. Горынин и Сергей Леонидович, схватив ее соответственно за талию и за руку, пытались оттащить Кипяткову от опасного аппарата. Ольга Эммануэлевна отбивалась с редкой для ее возраста энергией, а свободной рукой старалась сорвать очки с носа Журавленко. При этом она кричала:

– Дайте мне позвонить! Я скажу ему все...

– Он занят. Он не подходит к телефону! – увещевал ответработник, уворачиваясь от цепкой старушечьей лапки.

– Вы лжете! Вы отрываете руководство партии от почвы! – кричала Кипяткова. – Я скажу ему: Михаил Сергеевич...

– Не надо! – умолял Николай Николаевич. – Не надо ему ничего говорить!

– Не-ет, я скажу-у! – настаивала старушка, делая совершенно борцовскую попытку вырваться.

– Он все уже знает! Ему доложили! – кряхтя, убеждал Сергей Леонидович.

– Нет, не все! Он не знает, какой Виктор Акашин замечательный писатель! Я должна прочесть Михаилу Сергеевичу одно место из романа...

– Горбачеву не до романов! Он за целую страну отвечает! – снова вступил Журавленко.

Мое появление несколько отрезвило Кипяткову.

– Хорошо, – согласилась она. – Я напишу ему письмо...

– Прекрасно. Я передам, – переводя дыхание, но на всякий случай продолжая прикрывать телом «вертушку», отозвался идеолог Журавленко.

– Да, я напишу, – теперь уже глядя прямо мне в глаза, повторила старушка. – Напишу, что Виктор Акашин – гордость нашей литературы! И я благодарна за то, что Михаил Сергеевич это понял и остановил травлю честного человека, сказавшего народу то, что давно уже надо было сказать! Я напишу...

– Лучше на машинке напечатать, – посоветовал Сергей Леонидович.

– Отпустите меня!

Ее отпустили. Она достала из сумки зеркальце с дореволюционной монограммой, припудрилась и вышла из кабинета с таким видом, с каким путешествующая по своей державе королева покидает замок вассала, не угодившего ей ночлегом. Николай Николаевич облегченно вздохнул, вытер мокрый лоб краем лохматой бурки, подаренной Союзом чеченских писателей, и посмотрел на меня с некоторым замешательством. Я понял, что на этот раз все обошлось.

– Вызывали? – спросил я, не подав виду.

– Приглашали... – поправил Горынин. – Пляши, умник! Пронесло! Удивлен?

– Скорее да, чем нет... – неожиданно для себя самого ответил я.

– Было заседание Политбюро, – пояснил Журавленко, на всякий случай так и не отходя от «вертушки». – Лигачев требовал крови. Остальные – примерного наказания. Михаил Сергеевич всех внимательно выслушал, задумался, а потом сказал... – Тут идеолог замолчал и вопросительно глянул на Сергея Леонидовича.

– Говори: наш человек! – успокоил его Николай Николаевич.

– Проверенный, – добавил Сергей Леонидович.

– В общем, подумал генеральный и сказал: пусть писатели сами в своем говне и копаются! Партия – не нянька, а наставник общества. Запомни раз и навсегда, товарищ Лигачев!

Произнеся это, ответработник посмотрел на всех со значением. Воцарилось молчание. И хотя Горынин и Сергей Леонидович явно слышали эту фразу не в первый раз, на их лицах засветилось печальное торжество людей, по долгу службы соприкасающихся с сакральными тайнами большой политики.

– Вы понимаете, что означают эти слова? – Журавленко отнесся персонально ко мне, остальным присутствующим он, видимо, уже объяснял. – Это означает полный переворот в культурной политике партии. От контроля и мелочной опеки – к сотворчеству: социальному, идеологическому, духовному! Это означает, что партия полностью доверяет своей народной интеллигенции и полностью отказывается от роли идейного надсмотрщика, которую ей приписывают наши недобросовестные идеологические оппоненты на Западе! Это, мужики, новая эпоха!

– Что ж мне теперь, с разными чурменяевыми целоваться? – возмутился Сергей Леонидович. – Может, еще Костожогова из Цаплино пригласить и встречу ему на вокзале устроить? С букетами... Докатались!

– Поцелуетесь, если партия сочтет нужным! А насчет Костожогова – это мысль. На перспективу... И еще, между прочим, Михаил Сергеевич сказал: если люди нашу идеологию уже в прямом эфире ругают, надо идеологию менять!

– Людей надо менять, а не идеологию! – буркнул Горынин.

– Вы это серьезно? – спросил Журавленко, посмотрев на Николая Николаевича поверх очков с нехорошим интересом.

– Он пошутил, – пояснил Сергей Леонидович.

– Пошутил я, – подтвердил Горынин. – А вот что с письмами делать? История нешуточная получается. Они скоро в приемной белье развешат...

– Может, скажем им, что передадим наверх? Письма заберем, а там посмотрим... – предложил Сергей Леонидович.

– Нет, товарищи, вы ничего не поняли! – занервничал Журавленко и даже снял очки. – Надо привыкать к новому мышлению! А вы все по старинке!

– Понял, – кивнул Николай Николаевич. – Соберем актив. Обсудим письма и выработаем обращение. Выдержанное. Обобщающее. Обращение опубликуем в «Правде».

– Это лучше, – согласился ответработник. – Но где плюрализм? Михаил Сергеевич говорил о плюрализме...

– Плюрализм... – задумчиво повторил Горынин. – А поподробнее он ничего про плюрализм не говорил?

– Нет. Его дело – идею бросить. А мы должны ее до людей довести!

– Хорошо, – кивнул Сергей Леонидович. – Проводим четыре разных актива. На каждом обсуждаем по одному письму. Потом организовываем согласительную комиссию, вырабатываем обращение. Обращение печатаем в «Литеже».

– Совсем другое дело! – улыбнулся Журавленко и нацепил очки.

– Какой же это плюрализм? – вмешался я, даже не предполагая, как каким тектоническим сдвигам в отечественной истории приведут эти мои слова.

– Не лезь! – буркнул Горынин. – Радуйся, что выпутался...

– Ну почему же – не лезь! – поощрительно глянул на меня идеолог. – Надо учитывать все точки зрения, даже самые неожиданные. Что вы предлагаете?

– Да напечатайте вы все четыре письма – и дело с концом!

– Пил? – потянув в мою сторону носом, спросил Сергей Леонидович.

– Пил, – сознался я.

– А что, это мысль! – засветился Журавленко. – Вы неглупый человек. Странно, что мы раньше с вами не встречались. Так и сделаем! Надо ободрить народ, заставить его думать! Пусть печатают! А мы поможем. Дадим главным редакторам телефонограммы, чтоб не самоустраивались... Зовите писательскую общественность!

Горынин нажал кнопку селектора и сказал Марии Павловне:

– Запускай!

Через минуту кабинет был полон. Николай Николаевич обвел изможденные ожиданием лица грустным взглядом, но произнес довольно бодро:

– Вот, значит, так... Хватит ходить в коротких штанишках. Партия доверяет нам. Будем печатать.

– Какое письмо? – робко спросили из толпы.

– Что значит – какое? Все будем печатать! Плюрализм...

– Вот это по-нашему, по-русски! – рявкнул Медноструев, но соратники посмотрели на него укоризненно.

Толпа некоторое время молча обдумывала сказанное, стараясь понять тайный смысл этих слов и особенно – последнего, незнакомого, подозрительно оканчивающегося на «изм». Потом возникло движение, и четыре конверта остороженько легли на краешек стола-«саркофага». Правда, тут приключилась некоторая суматоха, потому что Неонилин положил сначала одно письмо, затем Перелыгин заменил его на другое. Потом они еще посоветались с Ирискиным и отдали оба своих конверта. Писем стало пять.

– Э, нет! – возразил Горынин. – Сами несите в газеты. Партия вам доверяет!

– Да кто ж возьмет? – раздалось из толпы.

– Возьмут! – значительно произнес Журавленко. – Будет специальное указание...

Недоумевающие ходоки разобрали письма и, ропща, покинули кабинет.

– Опять какие-то жидовские штучки, – буркнул Медноструев, уходя.

Потом дверь вдруг снова приоткрылась и всунулась голова опытного Перелыгина:

– А если?..

– Исключено! – опроверг Журавленко.

Забегая вперед, скажу, что история с письмами на этом не закончилась. Несмотря на телефонограммы, главные редакторы никак не могли определить, какое именно письмо напечатать, чтобы впоследствии не пострадать. Было собрано специальное совещание главных редакторов, на котором идеолог Журавленко долго объяснял, что каждое печатное издание должно теперь иметь свою, неповторимую общественно-политическую физиономию. Но поскольку все газеты были не то чтобы на одно лицо, но и особыми физиономиями как-то не выделялись, то снова возникли проблемы. И тогда прямо на совещании было принято решение, какая газета или журнал с какой физиономией будут теперь выходить. По требованию главных редакторов это историческое постановление закрепили в соответствующем протоколе, который, к сожалению, исчез во время захвата архива ЦК КПСС в августе девяносто первого восставшим

против тоталитаризма народом. Штурм, кстати, возглавил Журавленко, хорошо знавший, где что лежит. Вот так и произошло знаменитое размежевание единой советской прессы на коммунистическую, патриотическую, либеральную и природоохранную...

– А где же Акашин? – задумчиво спросил Сергей Леонидович, когда мы снова остались вчетвером.

При этом он посмотрел в сторону Горынина, но тот что-то старательно записывал на перекидном календаре.

– В самом деле? – озаботился Журавленко.

– А зачем он вам? – поинтересовался я.

– Как зачем? – удивился ответработник. – Будем роман печатать. С «Новым миром» уже договорились. Они специально оставили место в ближайшем номере. И «Правда» тоже кусок возьмет... Давайте прямо здесь и выберем. Где рукопись?

– Сейчас найдем, – пообещал Николай Николаевич и стал искать по выдвижным ящикам. – Куда же я ее дел? Там одно замечательное место есть – про плюрализм...

Сказал он это таким уверенно-озабоченным тоном, что было ясно: в подозрительные дни от рукописи он постарался избавиться.

– Ладно, потом найдешь, – махнул рукой Журавленко и снова посмотрел на меня. – А что вы, собственно, пишете?

– Приветствия... Иногда истории заводов и фабрик...

– Приветствия? Очень интересно! Какие же?

– Обычно просят стихотворные. Знаете, когда пионеры говорят стихами, трудно не прослезиться!

– Стихотворные! – воскликнул он. – А для профсоюзной конференции не вы сочинили?

– Я...

– Неплохо, но есть замечания...

И тут раздался звонок.

– Тебя, – кивнул Горынин Сергею Леонидовичу.

Тот взял трубку, и по мере того как он слушал, лицо его вытягивалось и озарялось одновременно:

– Е-мое... Да ты что! Во бляхопрядильная фабрика! Куда катимся?..

Положив трубку, он обвел нас торжественным взглядом.

– Ну? – в один голос спросили Горынин и Журавленко.

– Пришла шифровка из Нью-Йорка, – торжественно начал он. – Час назад жюри единогласно присудило премию «Золотой Бейкер» Виктору Акашину за роман «В чашу»...

– А Чурменяев? – опешил Горынин.

– Прокатили за недостаточно активную общественную позицию.

Мы переглянулись. Это была моя победа! Я мысленно представил себе «Масонскую энциклопедию» на своей книжной полке, но не испытал никакой радости. Напротив, сердце заныло от предчувствия, что скандал из-за папки с чистыми листами из внутреннего обещает теперь стать международным: по уставу Бейкеровской премии, роман-победитель должен быть напечатан миллионным тиражом в течение месяца с момента принятия решения. Я ждал скандала, но не такого. Это была настоящая катастрофа! Единственное, что я мог сделать теперь, – это не думать о ней, пока она не разразилась.

– Надо срочно найти Акашина! Срочно! – сказал Журавленко не допускающим возражений тоном и строго глянул на Сергея Леонидовича.

– Найдем! – успокоил тот.

– А что его искать, – вдруг весело молвил Горынин. – Он у меня на даче отсиживается...

– У тебя? – От удивления ответработник снова снял очки.

– Ну да! Анка замуж за него выходит. Наверное, уже и вышла...

27. Униженный и отстраненный

27. Униженный и отстраненный

Через три дня я провожал Витька в Нью-Йорк на церемонию, посвященную торжественному вручению премии Бейкера. Вообще-то поначалу никто меня на проводы не приглашал, и я сидел дома, тупо уставившись на заправленный в каретку чистый лист бумаги, обдумывая первую фразу «главненького». Я понял, что от нравственных мук и терзаний спасти меня может только работа. «Амораловка» от Арнольда еще не поступала, и в душе царило гневливое отвращение ко всем без исключения видам письма, изобретенным человечеством, начиная с узелкового. Я решил: пока не придет произведенное и бутылированное в Красноярске вдохновение, придумаю, по крайней мере, первую фразу. Впрочем, что значит – «по крайней мере»? Первая фраза в романе – это как первый поцелуй в любви! Он должен обещать такое, от чего твое немало повидавшее и поимевшее на своем веку тело вдруг начинает мальчишески трепетать в надежде на небывалое. Неважно, что в итоге ты получаешь бывалую женскую плоть, в той или иной мере натренированную в любовных содроганиях, и, обливаясь потом в требовательных объятиях, из последних сил борешься за свою мужскую честь. Первый поцелуй должен быть легким и загадочным, ничем не намекающим на суровую реальность биологического соития, он должен быть сорван, как роза в городском саду, даже если ты и заплатил за это сторожу со свистком. Наконец, он должен быть свеж и ароматен, а если он пахнет мятной жевательной резинкой, это – конец, и читатель закроет твой роман на первой же странице. (Не забыть!)

Итак, я сидел и, мечтая о глотке «амораловки», с ненавистью перебирал в уме самые разные первые фразы, десятки, сотни фраз. Самая короткая состояла из одного-единственного междометия, самая длинная – из восьмидесяти трех слов, образовавших длиннущее сложносочиненное предложение с гроздью подчиненных, свисавших, как аксельбанты из-под эполета. Все они были невыразимо отвратительны и бездарны. Я уже подумывал о том, чтобы начать роман с фразы о знаменитой амазонке, скакавшей по аллеям

Булонского леса, но тут в мою дверь позвонили. Я бросился отпираться, надеясь, что это – гонец от Арнольда, но это был всего лишь шофер горынинской служебной машины.

– Поехали!

– Куда?

– Туда.

– Зачем?

– Велели.

В зале вылета международного аэропорта было пустынно и торжественно, как в культовом сооружении. Немногие вылетающие, одетые в неповторимо импортные плащи и несущие в руках дорогие кожаные чемоданчики, раскланивались при встрече, словно добрые знакомые. И неудивительно: они были той особой привилегированной кастой, которую я назвал бы «регулярно выезжающими». Большинство из них состояли в дружеских, а то и родственных отношениях. Я вообще заметил, что чаще всего привилегии передаются половым путем. По-овечьи сбившаяся вокруг своего обшарпанного багажа какая-то случайная рабоче-крестьянская делегация взирала на все это благолепие со священным ужасом. Руководитель группы, явно принадлежавший к могущественной касте «регулярно выезжающих», брезгливо раздавал им красные туристические загранпаспорта, а они разглядывали их с глупым любопытством. Должно быть, беспаспортный колхозный паренек, отправлявшийся в город учиться на комбайнера, так же рассматривал выданный ему в сельсовете серпасто-молоткастый документ. Разве можно было в ту минуту поверить, что всему этому незыблемому благочинству оставалось жить год-полтора и что скоро на священных плитах аэропорта будут вповалку спать, как на Ярославском вокзале, сотни вылетающих за рубеж на постоянное жительство, за товаром или просто проветриться? Разве можно было поверить, что каста «регулярно выезжающих» исчезнет, сгинет, попросту растворится, как природные римляне растворились в ордах вольноотпущенного сброда!..

Они, все пятеро, стояли возле таможенной стойки с табличкой:

ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

На Анке были тугие бархатные брючки, полусапожки, курточка из нежной замши и широкополая фетровая шляпа, по-ковбойски надвинутая на глаза. Чуть в сторонке лежала ее цветастая спортивная

сумка. Что ж, супруга, вместе с мужем-лауреатом летящая в Нью-Йорк на торжественное вручение премии, может позволить себе некоторое легкомыслие в отношении багажа!

Витек, Горынин, Журавленко и Сергей Леонидович были по причине внезапного похолодания одеты в единообразные темно-синие финские плащи, а стоявшие рядом четыре их чемодана напоминали подороженных поросят из одного помета. Значит, в Америку отправлялись все четверо! Горынин, конечно, летел как руководитель делегации и представитель Союза писателей, открывшего молодой талант. Журавленко, видимо, в качестве посланника Института мировой литературы, где он и в самом деле несколько лет назад защитил докторскую диссертацию «Образ бригадира-новатора в романе Н. Горынина „Прогрессивка“». Ну а Сергей Леонидович, понятное дело, вошел в состав делегации в виде спецкорреспондента „Литературного еженедельника“ и похлопывал ладонью по непривычно болтавшемуся у него на боку кожаному кофру для фотопринадлежностей.

– Ну, в чем дело? – увидев меня, закричал Горынин. – Мы из-за тебя на регистрацию опоздаем! Специально машину за тобой послал...

– Ладно тебе, Николаич, – успокоил его Сергей Леонидович. – Еще время есть.

Витек заулыбался и двинулся ко мне вертляво-извиняющейся походкой собаки, сожравшей хозяйский ужин:

– Я им сказал, что без тебя не полечу. В общем, если с тобой не попрощаюсь – не полечу...

– Неужели не полетел бы? – усмехнулся я.

– Полетел бы... – сознался он. – Все-таки – Америка. С ума сойти! А ведь я, честное слово, не верил тебе, когда ты про загранку врал! Тебе чего привезти?

– Воздух свободы.

– Я серьезно!

– И я серьезно.

– Зря ты на меня обиделся! – отводя взгляд, сказал Витек. – Я же все делал, как ты говорил. Я же не виноват, что... Ну, что так получилось.

– Вестимо, – отозвался я. – Видишь, как все получилось. Как я и обещал: слава, загранка, самые лучшие женщины...

– Трансцендентально! – вздохнул Витек и глянул на «командирские» часы.

– Как часики? – спросил я. – Тикают?

– Так себе. Вот у меня электронные были с голой теткой на циферблате. Это да! Я их крановщику проиграл, когда он меня перепил. Мы тоже поспорили. Я полкружки не добрал...

– Ты просто ничего в этом не понимаешь.

– Куда нам, кудрявым!

– Ладно, ты тоже не обижайся. Рот там не разевай. Если будут вербовать, посылай всех к Леонидычу...

– Да говорили уже. Я это... Я еще спросить хотел.

– Спрашивай! Но я знаю, почему ты без меня лететь не хотел...

– Я думал, ты сам скажешь, – потупился он.

– Нет. Теперь не скажу. А вот когда эти американские хлебобулочные покровители высокой литературы обнаружат в папке чистую, как совесть дебила, бумагу – тогда...

– А если не обнаружат? – с надеждой спросил Витек.

– Обязательно обнаружат. Книга по традиции должна выйти через месяц после вручения премии... Что там начнется!..

– Жуть! Что делать?

– Ничего особенного. Когда члены делегации будут убивать тебя в роскошном нью-йоркском номере, ты посоветуй им позвонить мне в Москву. А я уж с ними как-нибудь объяснюсь. Понял?

– Амбивалентно... – задумчиво кивнул Витек.

– Ну и отлично! Мягкой тебе посадки, лауреат-обладатель! Как у тебя, кстати, с Анкой: слов хватает?

– Я... Я ее боюсь.

– И правильно делаешь – страшная женщина: мужские шкурки коллекционирует. Предсмертные желания, просьбы будут?

– Будут... Вот, передай Надюхе. И он протянул мне мелко сложенную бумажку.

– О'кей – сказал Патрикей! – Я сунул записку в карман. – Прощай, мой сиамский друг!

Я крепко обнял Витька и тут же оттолкнул от себя, потому что к нам уже направлялся обеспокоенный нашим долгим прощанием Горынин. Отослав Акашина к чемоданам, Николай Николаевич

задержал взор на моей невеселой физиономии и решил, очевидно, подбодрить меня. Но разговор вышел странноватый.

– Не журишь, хлопец! Напишешь что-нибудь стоящее – и тебе «Бейкеровку» дадут, – тепло сказал он.

– Уже пишу! – твердо ответил я.

– Ну да? – Он снова глянул на меня, но на сей раз ревниво. – Я, знаешь, тоже решил: вернусь и возьму творческий отпуск, месяца три! Нет, три не дадут – два. На роман хватит. Будет на них горбатиться! Так весь талант в справки да отчеты вбухаешь... Сюжетец у меня есть. Сила! А ты про что пишешь?

– Про жизнь...

– Да? – заперезживал он. – И ты тоже?! Ну, ничего, я все равно вперед тебя успею. Мне главное – сесть. Я, когда сяду, такой злописучий – только оттаскивай!

– Завидую! – вздохнул я.

– Ты на нас не обижайся. Ну никак тебя с собой взять не могли, хоть на торжественном секретариате все отмечали твой вклад в это дело. Понимаешь, валюту за первое полугодие перерасходовали... Свиридоновы, сквалыжники, добились!

– Понимаю. Но на случай непредвиденных обстоятельств снимаю с себя всякую ответственность...

– Это ты брось! Во-первых, ответственность с советского человека только смерть может снять. А во-вторых, какие такие непредвиденные обстоятельства? Все предвидено! А если ты из-за Анки журишься, то напрасно. Радоваться надо: расписались они. Журавленко был свидетелем со стороны жениха, а Леонидыч – со стороны невесты. Свадьбу сыграем, как только вернемся... Я уже в ЦДЛ банкетный зал зарезервировал. Готовься!

Горынин хлопнул меня по спине и отошел в сторону.

Следующим был идеолог Журавленко. Он участливо посмотрел и произнес:

– Понимаю ваши чувства, но есть еще и общегосударственные интересы. Согласны?

– Скорее да, чем нет...

– Вот и хорошо. А я вам после возвращения позвоню. Есть очень любопытная идея насчет приветствия! Время требует серьезных коррективов.

– Вы знаете, я тут за роман взялся. Боюсь...

– Бояться не надо, – успокоил он.

Затем подступил и Сергей Леонидович. Он был расстроен.

– Куда катимся?.. Командировочных четыре доллара в сутки выписали! Представляешь? Это банка пива с бутербродом. И они еще хотят за такие деньги «холодную войну» выиграть! Гроб они себе с бубенчиками выиграют, а не «холодную войну»... Ты чего такой хмурый?

– Ничего.

– Ладно уж, ничего – колись!

– Обидно.

– Конечно, обидно. А мне, думаешь, не обидно было, когда я этого идиота, который Мавзолей хотел взорвать, взял, а звезду начальнику отдела бросили...

– Да я не об этом.

– Понял. А мне, думаешь, не обидно было, когда я свою с этим авангардистским шакалом застукал? Крепись. Все они одинаковые...

– Я не об этом.

– Да что ж такое?

– Скажи им, чтоб телефон мой включили!

– Вот бляхопрядильная фабрика, забыл!.. Ладно, я им из Нью-Йорка позвоню. Не серчай!

– И ты, если что, не серчай...

Последней была Анка. Она нежно поцеловала меня в щеку:

– Улыбнись!

Я улыбнулся.

– Ну вот! Я же все-таки не с Чурменевым еду!

– Это утешает...

– Не куксись. Мы же договорились: я вроде как на войну, а ты вроде как ждешь...

– Ты в плен только не сдавайся! – попросил я.

– Если что, я тебе из плена письма писать буду... Нет, я, может быть, тебе даже позвоню из Нью-Йорка...

– Вы мне обязательно позвоните!

Она посмотрела на меня удивленно, провела рукой по моей щеке и вернулась к остальным, которые уже выстроились в очередь перед стойкой для дипломатов и официальных делегаций.

«Летите, голуби, – зло подумал я, – вы даже не подозреваете, какая замедленная мина-сюрприз ожидает вас по ту сторону океана. Несправедливость должна быть искоренена. Конечно, в жизни нет и никогда не было справедливости. Но если исчезнет хотя бы несправедливость, то жить в этом мире можно!»! (Запомнить!)

«Волги», привезшей меня в аэропорт, уже не было: классическое отношение советской власти к личности. Если нужен – машина к подъезду, а отпала необходимость – топай на своих двоих. Говорят, один член Политбюро умер от инфаркта, когда утром не обнаружил под окнами черный «членовоз». Решил: сняли с работы, а тот, оказывается, просто по пути врезался в рефрижератор. Очень даже может быть!

Добираясь домой сначала на рейсовом автобусе, потом на метро, я, чтобы убаюкать обиду, во всей красе представлял себе международный скандал, который должен разразиться через несколько дней. Я видел первые полосы американских газет с пылающими заголовками: «Литературная афера века!», «Пощечина эстетическому вкусу мистера Бейкера!», «Можно ли верить русскому медведю?». Мне виделся снятый со всех постов Горынин, которому я говорю: «Не журишь, Николаич, зато теперь попишешь всласть!» Я видел беспомощно хлопающего своими умными канцелярскими глазами идеолога Журавленко. Я видел рвущего на себе волосы Сергея Леонидовича, наконец понявшего со всей чудовищной очевидностью, куда мы катимся! Входя в свой подъезд, я представлял себе Анку, униженную, оскорбленную, плачущую у меня на плече и повторяющую сквозь рыдания: «Я же не знала, что он просто чальщик! Я думала...»

Что она думала, я так и не узнал, потому что на ступеньках возле моей квартиры, аккуратно подстелив газетку, сидел грустный Жгутович, на коленях у него лежали два свертка – один побольше, другой поменьше.

– А я звонил, звонил... Решил вот приехать.

– У меня телефон отключили, – объяснил я и, отперев дверь, пригласил его в квартиру.

Войдя, Стас тоскливо осмотрел помещение, которое могло бы стать, но все-таки не стало приютом его стреноженного полового инстинкта.

– Вот, – сказал он, – я тебе энциклопедию привез. Знаешь, до последнего не верил, что ты выиграешь...

– А это что? – кивнул я на сверток побольше.

– Это белье постельное. Индийское. Я захватил. Может, купишь у меня? Домой нести нельзя – жена не поверит, что просто так взял...

– Куплю, – кивнул я. – Сколько?

Он назвал цену, явно накинув процентов пятнадцать за доставку на дом, но я, не торгуясь, расплатился.

– Даже не знаю, что теперь делать! – тоскливо сказал Жгутович.

– Хочешь, я тебе посоветую: запишись в какой-нибудь кружок.

– Что я, мальчик, что ли?

– Почему сразу – мальчик? В Англии, например, все мужчины в каких-то клубах состоят. Представляешь, как удобно! Жена спрашивает: «Ты куда?» А муж отвечает: «В клуб!» И идет туда, куда его влекут желания.

– А жена ведь и проверить может!

– В том-то и штука. Клуб должен быть закрытый, чтобы проверить нельзя было. В Англии-то почти все клубы закрытые. Поэтому клуб любителей научной фантастики или судомодельный тебе не подходят. Надо тоже что-нибудь закрытое найти – какой-нибудь клуб любителей целебного пара, банный клуб, к примеру... Улавливаешь?

– Улавливаю. Я, знаешь, тоже про это думал, когда энциклопедию читал. Мне бы масоны подошли. Там тоже женщин не пускают, разве только по праздникам. А обычно – полная тайна и никаких посторонних...

– Отлично! Представляешь, звонит твоя половина твоему масонскому начальнику...

– Мастеру стула.

– Что?

– Начальник у них «мастером стула» называется.

– Ага, а тот отвечает: «Понятия не имею, гражданочка! У нас полная тайна!» То, что тебе нужно.

– Я это и без тебя понимаю. Но ты же знаешь, с клубом любителей фантастики просто – пошел и записался... А как масонов найти? Они же не пишут объявлений: «При Дворце культуры имени

Горбункова с первого сентября открывается ложа вольных каменщиков. Запись ежедневно с 18.00 до 20.00...»

– А ты пробовал искать?

– Пробовал... Несколько дней возле кинотеатра «Восток» продежурил после работы – жена чуть не убила!

– А почему у кинотеатра «Восток»?

– Они место, где ложа находится, называют «востоком»...

– Нет, это слишком просто. Вряд ли они так элементарно засвечиваться будут. Тут надо тоньше... Скорее, на доме должны быть какие-то тайные знаки. Какие у них знаки?

– Ну, циркуль, мастерок, наугольник... Что-нибудь в этом роде.

– Есть такой дом! – воскликнул я. – На Разгуляе. Помнишь, здоровый, с колоннами, а на фронте – разные инструменты вылеплены?

– Это инженерно-строительный институт! – вздохнул Жгутович. – Я там был. Бесполезно. И место очень людное, студенты косяками ходят...

– М-да-а... – задумался я. – Тогда зайдем с другого бока. Что ты делаешь Первого мая?

– Как – что? Иду на демонстрацию. Потом в гости к теще. А в чем дело?

– А вот в чем. Есть у масонов какой-нибудь праздник?

– Конечно, двадцать четвертое июня, Иванов день... Это у них вроде нашего Седьмого ноября. День основания.

– Ага! Сегодня у нас какое число?

– Двадцать первое.

– Значит, через три дня. Теперь поставь себя на их место. Если б Седьмое ноября отмечалось летом и жены с тещей у тебя не было, где бы ты его праздновал – дома или на природе?

– На природе, конечно! Тепло, уже купаться можно, шашлычок.

– Та-ак. Купаться. Шашлычок... Это можно, конечно, везде: отъехал в зону отдыха – и празднуй. Но масоны – люди необычные, и если они выезжают на пикник, то место наверняка выбирают особенное, масонское. Так или нет?

– Та-ак...

– А теперь давай думать, где в Москве или Подмосковье есть местечко с купанием, с шашлыками и с чем-нибудь масонским?

– Не знаю.

– А я знаю! Я, когда студентом был, гидом подрабатывал. И такое место знаю – это Царицыно. Во-первых, замечательный пруд – лодки, купание... Во-вторых, старинный парк. В-третьих, шашлыки продают. А в-четвертых, и это самое главное, там недостроенный дворец Баженова. А за что императрица запретила его достраивать?

– Точно! В энциклопедии про это есть: он в орнаментах масонскую символику использовал...

– Вот, двадцать четвертого едешь туда и действуешь по обстоятельствам. Но то, что они там обязательно будут, я не сомневаюсь. Логика – это все-таки наука!

Взволнованный Жгутович аж подскочил на стуле:

– Я их узнаю. У них жесты специальные есть, для посвященных. Слушай, поехали вместе!

– Нет, – сказал я. – В моей жизни и так много тайн. Одна из них на днях раскроется, и у меня будет много хлопот. Езжай один, потом расскажешь!

– Зря... Ладно, ты пока энциклопедию почитай – потом сам попросишься!

– Почитаю... Там видно будет.

И тут раздался долгий звонок в дверь.

– Жена! – позеленел Жгутович.

Но это была не жена, а гонец от Арнольда – мощный краснолицый сибиряк, в руках он держал полиэтиленовый пакет, обнадеживающе тугой и тяжелый. От предложения зайти и хотя бы попить чайку посыльный наотрез отказался, сообщив, что никак не мог мне дозвониться и вот заскочил буквально перед самым поездом. Закрыв дверь, я сунул сумку в тумбочку для обуви и вернулся в комнату.

– Кто это? – часто дыша от испуга, спросил Жгутович.

– Сосед за сигаретами заходил! – энергично соврал я, не желая делиться с ним вдохновенным напитком. – А знаешь, что Рембо писал о Париже?

– Нет...

– Париж – это город, где каждый гарсон – масон.

– Да ну?

– Вот тебе и «да ну»!

На самом же деле я придумал эти строчки, пока шел из прихожей в комнату.

28. Конец литературы

28. Конец литературы

Проводив окрыленного Стаса, я хотел было сразу выпить «амораловки» и сесть за машинку, истомившуюся, должно быть, без меня, как верная солдатка. Но потом рассудил, что к «главненькому» надо приступить по-особенному, торжественно или, на крайний случай, хотя бы хорошенько выпавшись. Интересно, думал я, если б Костожогову попалась бутылка чудодейственной «амораловки», воспользовался бы он ею или вылил в раковину? И вообще, можно ли с помощью дьявола стать подмастерьем Бога? Я представил себе, как повезу ему написанный роман (адрес все же надо выяснить, Леонидыч наверняка знает) и как он, прочитав, поднимет на меня свои яркие-преяркие, словно орденская эмаль, глаза и улыбнется. Потом я еще долго ворочался, продолжая вполголовы обдумывать первую фразу романа. Остальная же часть моей мыслящей колбы была заполнена помитьковски наивными картинками грядущего всемирно-исторического успеха будущего романа. Например: Габриель Гарсия Маркес хлопает меня по плечу и дарит свою электрическую пишущую машинку. Или: Солженицын называет меня «дароносцем достоподлинного слова...». Уже засыпая, я в интервью Франс Пресс наотрез отказался от присужденной мне Бейкеровской премии, мотивируя это тем, что выдающемуся писателю, каковым я, несомненно, являюсь, негоже принимать премию, которую другим дают за стопку чистых листов бумаги, уложенных в обыкновенную папку. Мистер Кеннди – а интервью у меня брал почему-то именно он – заплакал, швырнул о стену свой японский диктофон, упал на колени и, по-ветхозаветному обхватив мои ноги, умолял не позорить хлебное дело и принять премию, но я отвечал ему: «Нет-нет-нет!» – сопровождая отказ звонкими щелбанами в его розовую американскую макушку. А Анка, глядя на мое озорство, заливисто хохотала и откидывала голову...

Утром я принял контрастный душ, надел чистое белье, плотно позавтракал и распаковал посылку: там было две бутылки со знакомой темно-янтарной жидкостью. Выглядели они теперь вполне официально, даже имели криво наклеенные этикетки «Мараловый

бальзам. Принимать по назначению врача». А может быть, и легендарную сому – напиток арийских героев – делали не из растений, а из рогов? (Запомнить и выяснить!) Я взял рюмочку и наполнил ее до краев. Но потом, рассудив, что работа над романом может затянуться, разветвиться (художественная реальность всегда шире замысла автора!), я осторожно отлил полрюмочки назад в бутылку. Оставшееся я, по-дегустаторски смакуя, чтобы обеспечить наиболее полное всасывание волшебных ингредиентов в организм, выпил. «Амораловка» по вкусу напоминала водку, куда уронили селедочный кусочек, но не иваси, как прежде, а обычной, атлантической, спецпосола. Внутри у меня многообещающе потеплело. Через несколько минут тело начало наполняться зовущей легкостью и предощущением волшебного трепета. Чуть позже из недр подсознания, по-кротовьи раздвигая слежавшиеся пласты книжного хитромудрия и самостоятельного мыслительного хлама, начали выползать розовотелые эротические фантазии. Оказавшись на поверхности, они вдруг, словно созревшие куколки, выпрастывали крылья и превращались в нежных бабочек с призывно курчавыми подбрюшьями. Бабочек становилось все больше, они мелькали надо мной, сбиваясь в теплое будоражащее облачко, потом – в тучу, постепенно наливавшуюся сладострастной угрозой. И вот, когда из тучи готова была ударить неудержимая и испепеляющая, как первый оргазм, молния, я расслабился, потом резко и глубоко вздохнул, а пальцы положил на клавиши машинки...

И тут зазвонил молчавший неделю телефон.

– Я вас включила! – радостно сообщила станционная девушка голосом, похожим на голос дублерши Софи Лорен.

– Спасибо, – поблагодарил я, стараясь не выходить из своего творческого обморока.

– Вы заняты? – участливо спросила она.

– Вообще-то да...

– Тогда не буду вам мешать... Хотя сегодня вечером я свободна.

– Это замечательно! – сказал я, чувствуя, что туча начала редеть, распадаясь на юрких, бесстыжих бабочек-шоколадниц.

– Значит, ваше приглашение остается в силе? – с легкой обидой спросила она.

– Какое приглашение?

– Интересно, все писатели такие забывчивые?

И тут я вспомнил про свое неосторожное приглашение на чай.

– Ах, ну конечно... Заходите! Буду рад. Давайте я вам адрес продиктую.

– У меня есть. Я же вам все время счета оформляю...

– Тогда без церемоний! Заходите – посидим, поговорим!

– А вы разговорчивый?

– Трудно сказать. Но женщины обычно от меня очень устают! – бухнул я первую же пришедшую в голову скабрзность.

– Послушаем! – игриво подхватила она.

– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! – автоматически сэротоманничал я.

– Посмотрим... Ну, до встречи!

Я положил трубку. Но душа уже опустела. Мне даже показалось, что на полу валяются дохлые бабочки, похожие на разбросанную колоду порнографических карт. Такую же колоду я выменял в седьмом классе за японскую шариковую ручку, которую подарил мне один соискатель; ему моя мама печатала диссертацию. Кажется, у них что-то было... Во всяком случае, столько денег на кино и мороженое мне не давали ни до, ни после... Защитившись, соискатель исчез, уехал в свой город, а постоянные заказчики еще несколько месяцев интеллигентно удивлялись, что, такая обычно аккуратная и внимательная, мама сажает одну печатку на другую. Колоду я прятал в гардеробе, под старыми кофтами, и на свет извлекал, только когда оставался в комнате один. Карты были сделаны из обычной фотобумаги и представляли собой довольно грубые коллажи, составленные на основе вырезок из западных порнографических журналов – их иногда просовывали к нам в страну через щель под железным занавесом. Но белокурых девиц с осиными талиями и вздыбленными бюстами автору-изготовителю для всей колоды не хватило, и он восполнил этот недостаток несколькими любительскими снимками какой-то своей подружки, раскинувшейся на тахте под самодельным торшером. И хотя грудь у нее висела, как уши грустного терьера, а на простоватом курносом лице играла настороженная улыбка продавщицы, обвешивающей покупателя, именно эта голая советская труженица, а не журнальные красотки, волновала меня по-настоящему. Если быть уж совсем откровенным, то она и стала моей

первой женщиной! И звал я ее почему-то Инной... В этом имени была некая проникновенная таинственность! И вот однажды, придя из школы, я обнаружил колоду разбросанной по полу, а карты с Инной были разорваны на мелкие клочки. В комнате до тошноты пахло нафталином: видимо, мать боролась с молью и случайно наткнулась на мою тайну. Я собрал колоду, отнес на улицу и выбросил в помойный бак в чужом дворе. Без Инны эти настриженные из журналов красотки меня абсолютно не интересовали... Мать сделала вид, что ничего не произошло, я – тем более. Но с тех пор она никогда не отправляла меня по вечерам в кино... А может быть, у нее больше не было на это причин? Потихоньку она начинала болеть...

Вернувшись от телефона к машинке, я снова возложил персты на клавиши, однако ничего, даже отдаленно напоминающего трепет вдохновения, не ощутил, хотя несколько раз глубоко вдыхал и надолго задерживал воздух в легких. Пришлось выпить еще полрюмочки, потом еще... Мои чресла снова наполнились зноем похоти, но, сколько я ни дышал, привычной переборки энергии из животного подполья в духовный верх не происходило. И никаких новых идей, кроме желания освободиться от распиравших меня порывов пошлым библейским способом, в голову не залетало. Я вдруг подумал о том, что Инна давно уже состарилась, а может быть, и умерла. И понял наконец настоящую причину той давней материнской ярости: ведь на вид Инна была ее ровесницей! И еще одну вещь я понял совершенно неожиданно: у разорванной в клочки Инны было такое же, как и у Анки, упругое, зовущее, стремительно сужающееся книзу лоно...

И тут снова, точно стараясь восполнить свое недельное молчание, зазвонил телефон. Это был Любин-Любченко.

– Я все понял, – сказал он. – Это гениально!

– Что вы поняли?

– Все... Нам надо встретиться.

– Когда?

– Как можно быстрее!

– Хорошо, – сказал я, даже радуясь возможности отвлечься от всего этого кошмара. – Через час в ЦДЛ.

Вероятно, от моего тела исходили особые волны, потому что встречные женщины смотрели на меня с волнующим испугом. А в троллейбусе какая-то студентка, которую я зачем-то вообразил себе

голой и сладостно изгибающейся, вдруг покраснела, как маков цвет, и сердито отвернулась к окну...

В холле томился Любин-Любченко. Он сидел у журнального столика, подперев задумчивое лицо кулаками, которых из-за непомерной длины манжет видно не было, и складывалось впечатление, будто теоретик авангарда сидит опершись подбородком о копыта. Увидев меня, он затрепетал, радостно облизываясь, и я с ужасом почувствовал, что его всегда отвратительная масляная улыбка вдруг показалась мне не лишенной приятности. Доехали! Я сунул руку в карман брюк и с ненавистью ущипнул себя за ляжку.

– Ну? – спросил я, подойдя к нему.

– Это гениально! – повторил он. – Вы, конечно, знаете, что в эзотерической философии пустота определяется как то место, которое создано отсутствием вещества, требуемого для строительства небес?

– Амбивалентно, – ответил я.

– Отлично. На саркофаге Сети Первого есть изображение пустоты, представляющее собой полунаполненный сосуд. Чашу... Я сразу понял тонкость названия романа! Но такой глубины даже не предполагал...

– Вестимо, – значительно кивнул я.

– Теперь о чистых страницах. Они – белого цвета. Я даже не буду останавливаться на том, что, по Генону, белый цвет представляет собой духовный центр – Туле, так называемый белый остров – страну живых или, если хотите, рай. Кстати, Лойфлер в исследовании о мифических птицах связывает белых птиц с эротизмом... Понимаете?

– Вы меня об этом спрашиваете? – вздрогнул я всем телом.

– Но это еще не все. Чистая страница – это окно в коллективное бессознательное, поэтому, существуя в сознании автора и не существуя на страницах рукописи, роман тем не менее существует в коллективном бессознательном, куда можно проникнуть, распахнув, как окно, книгу... Понимаете?

– Скорее нет, чем да...

– А это практически и нельзя понять, не учитывая новейшие теории, трактующие человеческий мозг как особое считывающее устройство! Таким образом, чистая страница – это прежде всего шифр для выхода сознания в надсознание – к астральным сгусткам

информационной энергии, где безусловно есть и сочиненный, но не записанный роман вашего Виктора...

– Трансцендентально...

– Да бросьте! Роман мог быть не только не записан, но даже и не сочинен вообще. Неважно! Главное – это шифр, открывающий тайники астральной информации, где каждый может найти свое. Только за это Виктору нужно поставить памятник напротив Пушкина!

– Не варите козленка в молоке матери его! – ревниво сказал я.

– Я смотрю, вы тоже попали под влияние Акашина: говорите просто его словами! Но это естественно: быть рядом с гением... Надеюсь, вы одобрите название, которое я дал творческому методу, открытому Виктором! Табулизм.

– Почти – бутулизм...

– Ну что вы такое говорите? Это же – от «tabula rasa». Помните, римляне называли так чистую, выскобленную доску? Понимаете? Табулизм – это не просто возносящая нас ввысь энергия чистой страницы, это вообще запрет – табу на любое буквенное фиксирование художественного образа! Любое... В общем, подобно «концу истории» мы подошли к «концу литературы». И в этом гениальность открытия Акашина, равного открытиям Эйнштейна! Теперь-то мне ясен эзотерический смысл слова, сказанного им в прямом эфире! Ничего другого он сказать-то и не мог!

– Не мог, – согласился я.

– Вот именно: экскремент – это символ завершения духовной эволюции, в нашем случае – «конец литературы». Улавливаете? И только теперь я понял подлинный смысл его фразы: «Не вари козленка в молоке матери его...»

– И какой же смысл?

– Боже, я думал, вы умнее. Молоко какого цвета?

– Белого.

– Ну вот! Записывать литературу на бумаге так же недопустимо, это такое же табу, как у древних – запрет на смешанную пищу, на козленка, сваренного в молоке... А это значит, что даже самый невинный знак, начертанный на бумаге, навсегда закрывает нам выход к информационному полю Вселенной! Понятно?

– Теперь – да.

– А мне теперь понятно, почему мудрые американцы предпочли ненаписанный роман Виктора пачкотне этого графомана Чурменяева. Справедливость восторжествовала! Вот и все, что я хотел вам сказать. Я, кстати, написал об этом статью. «Табулизм, или Конец литературы». У нас, конечно, не напечатают... Надежда только на «тамиздат». Но услугами этой бездарности Чурменяева я пользоваться не собираюсь, да он и не согласится: разъярен... Это же пощечина ему и всем подобным! Но вот если вы через Виктора...

– Давайте статью, – кивнул я.

Любин-Любченко протянул мне большой фирменный конверт журнала «Среднее животноводство» со стилизованным барашком в уголке.

– Под псевдонимом? – уточнил я.

– Конечно! – конспиративно облизнулся он. – Автандил Гургенов.

– Хорошо, – одобрил я. – Но только вы понимаете, что об этом никто знать не должен? Никто!

– Конечно.

– Копия у вас осталась?

– Что вы! Я всегда помню, в какой стране мы живем...

– Вы кому-нибудь об этом вашем открытии уже говорили?

– Нет, вам первому...

– Я прошу вас – не говорите пока никому. Чурменяев может перехватить идею! Он ведь тоже статьи пишет.

– Это исключено! Я лучше откушу себе язык...

29. Изнасилование надежды

29. Изнасилование надежды

Забрав статью и размышляя, чем же Любин-Любченко будет облизываться, если откусит себе язык, я направился к буфету – выпить кофе. По пути я просто утомился принимать бесконечные поздравления от встречаемых писателей, точно я был счастливым родителем скрипичного вундеркинда, выигравшего международный конкурс. В холле меня перехватил и отвел в сторону Иван Давидович: оказывается, он терпеливо ждал за колонной, пока я закончу разговор с Любиным-Любченко. Взяв меня под локоток, он жарко зашептал, что ни на минуту не переставал верить в победу и чрезвычайно горд своим непосредственным участием в мировом триумфе Акашина! И как раз теперь настало время ненавязчиво довести до общественного сознания, кто конкретно в заснеженной сибирской деревне Щимыти дал жизнь будущему лауреату Бейкеровской премии. Ирискин даже посоветовал издать роман на Западе под настоящей фамилией Виктора, не изуродованной невежественным председателем Щимытинского сельсовета, что, в сущности, явится простым восстановлением исторической справедливости.

– Вы полагаете?

– Конечно. В противном случае западная критика может просто не понять масштабы его дарования (давления).

– Трансцендентально!

– Ничего тут трансцендентального, дружочек (двужочек), нет! Только так можно противостоять мировому черносотенству. Вы меня понимаете?

– Скорее да, чем нет...

– Славненько! Пусть эта крыса (квыса) Медноструев захлебнется своей желчью!

– Амбивалентно, – кивнул я.

– И еще я хотел посоветоваться! На днях наше письмо напечатают. Мы очень хотим, чтобы под ним стояла подпись нового лауреата Бейкеровской премии! Вы меня понимаете?

– Вестимо.

– Не возражаете?

– Отнюдь!

– А вы стали чем-то похожи на вашего друга, – прощаясь, заметил Ирискин.

– Трудно быть рядом с гением и не попасть под его влияние, – объяснил я.

Медноструев, бодрый и совершенно не собирающийся захлебываться собственной желчью, перехватил меня чуть позже – уже на подходе к ресторану.

– Как мы их с тобой сделали! – гаркнул он, хряснув меня по спине, будто кувалдой. – Ничего, пусть русский дух понюхают! Пусть эта сволочь Ирискин с горя мацой подавится...

– Амбивалентно, – кивнул я.

– Кстати, как его отчество, Виктора нашего?

– Семенович...

– Отлично! Так и подпишем: Акашин В. С., лауреат Бейкеровской премии...

– Что подпишете?

– Как – что! Наше открытое письмо «Окстись, русский народ!». Или мы зря в приемной у Горынина ночевали?! Пусть все знают, какие люди болеют за державу! Одобряешь?

– Скорее да, чем нет...

– А ты-то сам у нас крещеный? – вдруг насторожился Медноструев.

– Вы меня об этом спрашиваете?

– Не обижайся! Все куплено Сионом! Ну, бывай... – Он дружески бухнул меня кулаком в спину и ушел.

Буквально на пороге ресторана я был перехвачен Свиридоновым. После изматывающих предисловий, в процессе которых он зачем-то сообщил, что через два месяца они летят всей семьей в Австралию, Свиридонов пригласил Витька и меня к своей дочери на день рождения, специально перенесенный на неделю, учитывая отсутствие Акашина.

– Придете?

– Скорее да... но...

– Не надо «но»... Я хочу поближе познакомиться Виктора с моей дочерью. Она знает три языка!

– Он в определенной степени женат! – напомнил я.

– Это ровным счетом ничего не значит! – был ответ.

И, уже зайдя в ресторан, я попал в пьяные объятия Закусонского.

– Спасибо, старый! – пробормотал он и благодарно боднул меня в плечо.

– За что?

– Как это за что?! Моя статья про нашего Виктора признана лучшей! Мне заказали целый цикл. Еще звонили из «Воплей», «Литобоза», «Совраски» – просят... Даже на работу зовут! Времена-то, сам знаешь, какие наступают! Литературе вроде как вольную дают... Теперь люди с моим уровнем критического мышления на вес золота будут! Выпьешь со мной?

– Нет, спасибо, угости лучше Геру!

Дело в том, что обходчик Гера, пока мы разговаривали, приблизился к нам и почтительно замер. Услышав мои слова, он сказал:

– Благодарствуйте! И соблаговолите принять самые чувствительные поздравления по поводу первенства!

– Садись! – пригласил его Закусонский за свой столик.

– Не имеем такого привычества.

– Да какое там привычество – наливай и пей! – приободрил я. – Садись и роскошествуй!

В тот день, как мне потом рассказали, Гера не обходил столики, а впервые весь вечер просидел с Закусонским, обстоятельно беседуя и периодически в знак совпадения эстетических воззрений крепко с ним обнимаясь. Кто же мог подумать, что это сидение сыграет решающую роль в судьбах отечественной словесности?! Но в тот момент я не придавал всему этому никакого значения, ибо мысли мои были устремлены к грядущему международному скандалищу, который, разразясь, по заслугам накажет моих обидчиков.

Не успел я присесть за свободный столик, как ко мне подпорхнула Надюха:

– Обедать или поправляться?

– Обедать.

– Борщ сегодня хороший.

Я взглянул на Надюху – глаза у нее были нежные и заплаканные. Вероятно, под влиянием подлой «амораловки» со мной произошло

что-то странное: я посмотрел на Надюху совсем не так, как обычно, не как на знакомую официантку, которая если и вызывает у тебя нежные чувства, то обычно ты уже находишься в том состоянии, когда объятия становятся единственным способом передвижения в направлении дома и уже абсолютно равнозначно, кого обнимать для устойчивости – женщину, фонарный столб или милиционера. Я же взглянул на Надюху иначе, впервые обратив внимание, что под ее платьем прерывисто дышит грудь, что талия у нее тонкая, а бедра, напротив, многообещающе тяжелые; накрашенные губы – призывно трепещут, а напудренные ноздри – раздуваются. И все это на фоне больших заплаканных глаз! Кустодиев – и никак не меньше! Я вдруг со сладким предчувствием остро осознал себя всесокрушающим орудием мести, каковым эта брошенная женщина должна воспользоваться. И воспользоваться сегодня, прямо сейчас! А что? В шахматах это называется «размен фигур». Я еще раз оценивающе посмотрел на Надюху: фигура у нее недурственная!

– Скучаешь? – сочувственно спросил я.

– С чего это?

– Улетел твой Витек. «Прощайте, Виктор Семенович! Фьюить!»

– Вот еще... Я и думать о нем забыла!

– Тогда я записку порву.

– Какую записку?

– Он просил передать. Перед отлетом.

– Давай! – потребовала она с напряженным равнодушием.

– Дома оставил...

– Врешь!

– Писатели, Надюха, не врут, а сочиняют, но я в данном конкретном случае говорю правду: дома забыл.

– Принеси!

– Завтра!

– Сегодня!

– Что я тебе, почтальон, что ли? Это мне надо домой ехать, потом сюда возвращаться. Потом опять домой. У меня без этого дел по горло! – умело нагнетал я.

– Я поеду с тобой!

– Ты же на работе.

– Я отпрошусь. На час...

– Отпрашивайся на два. Час будешь над запиской рыдать. Если б какая-нибудь женщина ко мне относилась так, как ты к Акашину, я бы ее на руках носил – из ванной в постель... – вполне искренне сказал я.

– Ты серьезно? – Надюха вдруг посмотрела на меня с особенностью.

Наверное, я тоже в этот миг предстал перед нею не как заурядный ресторанный жмот, вместо чаевых дающий официантке поощрительный шлепок по тому месту, куда свисают завязки форменного передничка, но как вполне определенный мужчина.

– Конечно, серьезно! – воодушевился я. – Небось, этот чальщик-лауреат никогда и не говорил, что из-за такой шеи, как у тебя, в девятнадцатом веке мужчины стрелялись?!

Надюха зарделась и поправила цепочку с сердечком на груди, заходившей вдруг под платьем, как просыпающийся вулкан.

– Не говорил...

– А то, что у тебя глаза, как у Ники Самофракийской, он тебе говорил?

– Не-ет! Он вообще в этом деле неразговорчивый... был...

– Вот! А ты из-за него плачешь! Одна твоя слеза стоит дороже, чем карат якутских алмазов...

Понятно, что такую засахарившуюся, но безотказно действующую на женщин лесть можно гнать, только будучи в состоянии неуправляемой целеустремленности, но как раз в таком состоянии под влиянием «амораловки» я и находился...

– Я сейчас! – хрипло сказала Надюха и убежала отпрашиваться.

– Ну что ж, Витек, – очень тихо и все-таки вслух проговорил я, глядя ей вслед, – сплетемся рогами, сиамский мой друг!

Я набросился на Надюху прямо в прихожей. От нее пахло общепитовскими пережаренными котлетами и дешевыми восьмимартовскими духами, но именно это меня сегодня и возбуждало.

– Подожди! Дай мне раздеться... – неуверенно отбивалась она, стараясь снять плащик.

– Я тебя сам раздену! – задыхался я.

– Ты что? Я не это хотела...

– А я хочу это!

– Где записка? – допытывалась она, выворачиваясь из моих объятий. – Я сейчас уйду...

– Ах, записка! Вот она! – Я достал мелко сложенную бумажку из кармана пиджака.

– Значит, врал, что она у тебя дома! – нахмурилась Надюха.

– Конечно, врал! Конечно, врал, но чтобы остаться с тобой наедине.

– Ну, мудрец!.. С хреном сушеным ты наедине останешься, а не со мной! Думаешь, если я подносы таскаю, так с каждым-всяким? Я без любви не могу... Давай записку, мудрило!

Обычно любая ненормативная лексика в женских устах повергает меня в совершенно беспомощное разочарование, но только не сегодня. Надюхина грубость взбудрила меня до мелкой вибрации.

– Поцелуй! – приказал я.

– Кого?

– Меня!

– Не будет этого!

– Тогда рву! – И я сделал движение, будто хочу разорвать бумажку в клочки.

– Ладно, – поколебавшись, кивнула Надюха и тыльной стороной ладони стерла помаду с губ.

Ее поцелуй, поначалу невинно-сестринский, затягивался... Кроме того, Надюха, очевидно, предпочитала острую пищу с большим количеством чеснока, и это просто разбудило во мне зверя, хотя обычно малейший чесночный фактор мгновенно превращает меня из плотоядника в жалкого вегетарианца. Прервав лобзание, Надюха нащупала мою руку и попыталась перехватить записку, при этом, стараясь как бы вырваться, она повернулась ко мне спиной. Тогда я поцеловал ее в шею, в то место, где начинаются волосы, она охнула и чуть приослабла. А я, наращивая инициативу, просунул руки под ее блузку и наивно попытался уместить в горстях ее груди с холодными, как собачьи носы, сосками. Надюха сопротивлялась, слабая буквально на глазах от вампирского поцелуя в шею и оттого, что зажатая в моих пальцах бумажка нежно царапала ей кожу...

– Что ты делаешь? Что-о ты делаешь?! – все беззащитнее бормотала она, все поощрительнее отталкивая мои руки.

За тысячи лет общения с мужчинами женщины выработали особый тайный язык, в котором обычные слова приобрели совершенно иной смысл, помимо прочего подсказывающий нападающему последовательность действий и сигнализирующий, что пора от предварительных ласк (их на военный манер можно сравнить с артподготовкой) переходить к глубоким рейдам в расположение противника. По моим многолетним наблюдениям, словосочетание «Что ты делаешь?» означает: приготовиться к броску на бруствер. А сказанные следом слова типа «глупый», «глупенький», «дурачок» и т. д. я, не задумываясь, смело уподоблю сигналу к атаке.

– Что ты делаешь, глупый?..

И я бросил свой полк правой руки на вражий дзот, не встретив никакого сопротивления, потому что противник сосредоточил все свои усилия на моей левой руке, обладавшей гораздо меньшими оперативными возможностями по причине зажатой в ней записки. В результате важнейшие штабные документы, содержавшие, как выяснилось впоследствии, стратегическую информацию, оказались у почти уже капитулировавшей Надюхи. Но я даже не обратил внимания на этот факт, прикидывая, как ловчее перенести дальнейшие боевые действия из прихожей на диван: твердой уверенности, что у меня хватит сил перетащить Надюху в комнату на руках, как я ей самонадеянно пообещал, не было...

Я на всякий случай стал нежно подталкивать податливую гостью в сторону дивана, но вдруг ее трепещущее тело заоченело, и мне показалось, что я обнимаю гипсовую пловчиху. Я прервал поцелуй, глянул через ее плечо и увидел развернутую записку. В ней была всего одна строка:

СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ. ВИТЕК

– Порви! – приказал я, энергично прочесывая окрестности захваченного дзота.

– Отпусти! – низким ненавидящим голосом потребовала Надюха.

– Не отпущу!

– Отпусти, сволочь!

– Не отпущу!

– Отпу-устишь!

Надюха резким движением вырвалась из моего захвата, а когда я попытался удержать ее за плечи, мощной дланью, привыкшей таскать

установленные тарелками подносы, бухнула мне в ухо так, что я отлетел к стене.

– За что?

– За все! Еще хочешь? – спросила она, оправляя юбку.

– Вполне достаточно! – ответил я, держась за щеку.

Когда она удалилась, хлопнув дверью так, что где-нибудь в несчастной сейсмической Японии могло начаться землетрясение, я осознал свое полное поражение: любые военные действия бессмысленны, если противник обладает ядерным оружием. Я потер рукой зашибленное место и почувствовал исходящий от ладони запах упущенной победы... И тут раздался звонок в дверь.

«Интересно, – подумал я, – неужели она меня еще и мазохистом считает?»

На всякий случай не отпирая, я спросил через дверь:

– Ну, что тебе еще?

– А вы разве гостей не ждете? – донесся голос Софи Лорен.

Господи, я и забыл про телефонистку! Впрочем, все правильно: мужской порыв – это слишком редкий и ценный вид энергии, чтобы Мировой разум дал ему так вот попусту улетучиться в пространство. Я отдернул щеколду.

– Вот и я! – проворковала она, заполняя прихожую.

Боже праведный! Конечно, я догадывался, что за все мои грехи, грешки и прегрешения однажды буду строго наказан. Но даже в самых кошмарных видениях я и не чаял, что возмездие выльется в такие чудовищные формы... (Забывать!)

30. Почему я отказался от премии

30. Почему я отказался от премии

Утром, одиноко лежа в постели, напоминающей артиллерийскую воронку, я поймал себя на том, что теперь-то понимаю, почему женщины, подвергшиеся сексуальной агрессии, требуют для насильников исключительно высшей меры наказания, причем некоторые даже предлагают возродить такие средневековые способы умерщвления, как: четвертование, колесование и поджаривание на медленном огне. Зазвонил телефон.

– Ты жив, пузик? – спросил голос Софи Лорен.

– Пока еще не понял. Лежу...

– Поспи! Ты должен хорошенько отдохнуть, мой могучий мышонок! А мне все сегодня говорят, что я просто свечусь изнутри...

– Смотри не ослепи сотрудников!

– Один линейный мастер уже подкатывался! – кокетливо сообщил голос. – Не волнуйся – я отшила. До вечера! Целую сам знаешь куда...

Она повесила трубку.

Страх и трепет перед неизбежным можно притупить только работой. У меня была еще слабая надежда, что такое одностороннее воздействие «амораловки» связано с моими переживаниями последних дней. Я решил выбросить из головы все лишнее, полностью сосредоточившись на «главненьком». Вместо утреннего кофе я выпил «амораловки», вместо двенадцатичасового чая – еще, вместо обеденного компота – опять... От постоянно задерживаемого дыхания у меня заломило в груди, но в голову ничего, кроме убогих, как эротический сон агрария, фантазий не лезло. Я даже не смог сочинить первую фразу. Тогда я решил позвонить в Красноярск Арнольду.

Выслушав мои туманные претензии к его продукции, он обиженно спросил:

– Так что тебя не устраивает? Не взводит, что ли?

– Нет, взводит, конечно, но от первой бутылки был еще, как бы это выразиться, побочный эффект...

– Изжога?

– Нет, не изжога, – дальше юлить было бесполезно. – Наоборот, очень хорошо писалось!

– Значит, ты тоже заметил! А я-то голову ломал: случайное совпадение или на самом деле? Понимаешь, я как раз кооператив регистрировал, документацию оформлял, думал, неделя уйдет... Махнул рюмочку, и, представляешь, все бумажки за одну ночь нашарашил: устав, протоколы – целый ворох... А ты?

– То же самое! – сознался я. – Всю халтуру за несколько дней раскидал...

– Значит, так и есть! – посерьезнел Арнольд. – То-то я смотрю: послал пузырек братишке в армию... Ему скоро домой, а там, сам знаешь, ребятам бром, чтоб не дичали, дают. Думал, пусть паренек восстановится, а то еще осрамится на «гражданке»! Что ж ты думаешь? Бугаина за два года матери трех писем не прислал, а тут ну буквально завалил, по два в день, да по десять страниц в каждом... Знаешь, описывает, как в карауле стоит, звездочки считает! А мы все с мамашей головы ломали, с чего бы это! Теперь ясно...

– А не осталось больше той «амораловки»? – заискивающе спросил я.

– Не-ет... Кончилась. Мы ведь тогда еще неопытные были, по старинке из одних рогов литра три делали, а теперь – усовершенствовались: литров двадцать у нас выходит... Автоматика! А главное, те рога особенные, списанные из краеведческого музея. Они там лет сорок провисели... Я так думаю – в этом весь секрет, как у скрипок Страдивари! Знаешь, из какой доски самые лучшие скрипки выходят?

– Из какой?

– Из гробовой...

Я вздрогнул.

– Так что пиши уж в натуральную! А то вы в Москве сами не знаете, чего бы вам уж и придумать! – не без ехидства сказанул Арнольд. – Как там наш Витек-то?

– В Нью-Йорк улетел – премию получать.

– Говорят, еще и на горынинской дочке же-нился?

– Не без этого...

– Эх, надо было вам со Жгутом на меня спорить... как я сразу не допер!

– Это точно. Ты бы так, как он, со мной не поступил...

Тут в трубке зашелестело, и в наш разговор вторгся голос Софи Лорен:

– Пузик, ты извини... А чего на ужин купить – рыбки или мяска?

– Я на ночь не ем.

– Нет, ты должен есть! Иначе – ослабнешь! – настаивала она.

– Хорошо, купи что хочешь.

Шелест прекратился.

– Кто это? – спросил Арнольд.

– Эриния.

– Странное имя. Но ты все равно не теряйся! Если что, я тебе еще «амораловки» подошлю!

А ночью, затаившись в отрогах моей новой подруги, которую мысленно стал именовать Ужасной Дамой, я слушал признания о том, что ее голос часто привлекал мужчин, но, как правило, при визуальном знакомстве соискатели терялись и оказывались абсолютно ни на что не годны, а я – единственный, кто оказался настоящим мужчиной не только по телефону! Правда, у нее оставались сомнения, ибо истосковавшийся представитель сильного пола иногда способен на одноразовый подвиг. Так было с одним хозяйственником, освобожденным по амнистии... («Ты не ревнуешь, пузик?» – «Как можно!») И вот теперь, при повторном свидании, она убедилась, что я именно тот мужчина, какого она ждала всю жизнь. И она никому меня не отдаст, пусть даже ей придется передушить всех соперниц, как куриц! Об «амораловке» я рассказывать ей не стал. Зачем? В конце концов каждая женщина хотя бы раз в жизни имеет право на счастливое заблуждение.

Я уснул, и мне снился голос Софи Лорен, который по-садистски жестоко душил хриплый, предсмертно захлебывающийся голос Анки...

Рано утром, часов в пять, меня разбудили длинные телефонные звонки.

– Алло, – слабосильно отозвался я.

На том конце провода слышались звуки борьбы, сопровождаемые криками: «Дай я ему скажу!» – «Нет, я...» Наконец мембрана содрогнулась от гневного рыка Николая Николаевича:

– Ты что же, гад, делаешь?! Да мы тебя за это...

Ответить я не успел, потому что трубка перешла к идеологу Журавленко. Его бешенство было отлито в холодную аппаратную бронзу:

– Вы, надеюсь, любезный, понимаете, чем грозит вам эта мистификация?

Но и ему я ответить не смог, потому что трубка оказалась у Сергея Леонидовича:

– Ты знаешь, что содержание порносалона на суде могут приравнять к содержанию притона? А если еще найдут наркоту... А ее обязательно найдут! Я тебе обещаю!

– А мне все равно! – равнодушно сказал я.

– Как это все равно? Ты знаешь, что в зоне тебя в первую же ночь зеки «петухом» заделают? Будешь кукарекать, предатель!

Я посмотрел на эсхатологически зашевелившуюся во сне телефонистку и ответил:

– Мне теперь уже все равно...

– Как это все равно?

– А вот так, – отозвался я, почти исчезая под ее сонно шарящей лаской.

– А что же нам делать? – растерялся Сергей Леонидович.

– Не знаю... Вы же сами сказали, что я вам больше не нужен. Выпутывайтесь...

– Но это же международный скандал! Издатель рукопись требует. Мы пока сказали, что по ошибке в папку чистые листы положили... Где роман?

– У меня больше ни одного экземпляра не осталось. Я вам с Горыниным все отдал.

– Мой экземпляр уже с диппочтой прислали – там тоже чистые листы! – клопоча возмущением, сообщил Сергей Леонидович.

– А горынинский?

– Он позвонил в Москву. Мария Павловна смотрела – там тоже чистая бумага...

– Значит, вы с ним чистую бумагу читали и нахваливали?

– Что ты, бляхопрядильная фабрика, к частностям цепляешься, тут надо престиж державы спасать! В Бейкеровском комитете все тоже на ушах стоят, говорят: если мы не объяснимся, они отменят свое решение и присудят премию этому венгру!..

– Они ему тоже не читая присудят? – желчно спросил я.

Тут трубка снова перешла в руки Журавленко.

– Я бы на вашем месте не задерживал внимание на тактических мелочах, а сосредоточился на стратегических проблемах.

– Например?

– Далеко за примером ходить не надо. Вы поймите, Венгрия – самое слабое звено социалистического лагеря! Может произойти катастрофа. Венгерская интеллигенция и так уже мелко обуржуазилась! Присуждение этой премии венгерскому диссиденту может полностью разбалансировать ситуацию...

В мембране вдруг опять забился Николай Николаевич:

– Я тебя удавлю! Что ж ты, гад, мне резаную бумагу подсунул?! Ты же знаешь, мне читать некогда, я с вашими матпомощами и автомобилями с утра до ночи, как белка в колесе... Придешь еще ко мне за матпомощью – я тебе выпишу!

И снова мне был голос Сергея Леонидовича:

– Где роман?

– А вы у лауреата спросите! – ехидно посоветовал я.

– Запил твой лауреат! Прямо в Диснейленде. С Микки-Маусом. И потом, он ничего объяснить не может – повторяет, как попугай: «Трансцендентально» – и ржет! А чуть нажмешь на него, хамит: «Не варите козла!» Где роман спрятал, я тебя спрашиваю именем закона?!

– А не было никакого романа! Я все это придумал...

– Зачем?

– На спор... Я поспорил с одним мужиком, что могу из любого лимитчика всемирно известного писателя сделать. Видишь – сделал!

– С каким мужиком?

– Неважно. Я отвечаю за все.

– Ответишь! – растерянно пригрозил Сергей Леонидович.

Воцарилось молчание. Это была победа. Я наказал их всех. Это была моя премия, настоящая, громадная, неизбывная, по сравнению с которой все эти нобелевско-бейкеровские цацки – хлопушки с искусственной елки.

И вдруг в трубке возник нежный живой голос Анки:

– Ты это сделал, чтобы отомстить мне?

– Скорее да, чем нет...

– У тебя очень хорошо получилось. Талантливо. Я себя никогда еще такой душой не чувствовала! Это лучшее твоё произведение! Главненькое. Умри – лучше не сочинишь...

– Не сочиню, – вздохнул я и покосился на темневшую в серванте бутылку бесплодной «амораловки».

– А знаешь, я на вручение такое платье себе купила – совершенно белое, с малиновым поясом...

– Тебе идет белое.

– А он и в самом деле просто чальщик?

– Да.

– Неужели ты не мог хотя бы слов тридцать в него запихнуть? С ним же поговорить не о чем. Помнишь, как мы с тобой целыми ночами разговаривали... Ты мне стихи читал!

– Помню.

– А помнишь, какие ты стихи написал, когда еще за мной ухаживал? Помнишь?

– Конечно... – ответил я. – Я все помню.

– А помнишь, как ты мне звонил и дышал в трубку?

– Вестимо. Но это было потом, когда все кончилось...

– Глупенький! Кто тебе сказал, что все кончилось? Все только начинается... Я возвращаюсь с войны! Хватит. Штык – в землю!

– Правда?

– Я тебя когда-нибудь обманывала?

– Всегда.

– Да, в самом деле... Но я не тебя обманывала, я обманывала себя! А ты тоже меня обманул. Мы квиты. Давай теперь начнем с чистого листа...

Трубка неожиданно перешла к Николаю Николаевичу.

– С какого, на хрен, чистого листа? – заголосил он. – У нас тут целая папка чистых листов! Сколько можно?!

Потом я снова услышал ласкающий голос Анки:

– Папа нервничает – его можно понять! Если его выгонят с работы, это – катастрофа: книги писать он давно разучился... Нам просто будет не на что жить! Я буду голодать... Ты хочешь, чтоб я голодала?

– Хорошо! – внезапно согласился я. – С чистого так с чистого... Сколько у вас валюты осталось?

– Сейчас узнаю...

В трубке слышались сквалыжные разборки, шелест купюр, звон мелочи.

– Триста двадцать пять долларов... Акашинская премия не в счет. Ее, оказывается, наше государство забирает. Даже Журавленко ничего сделать не может, – объяснила Анка.

– Думаю, хватит. Возьми из папки чистую бумагу и ручку!

– Взяла!

– Теперь пиши заголовок: Автандил Гургенов. «Табулизм, или Конец литературы». Написала?

В трубке раздался заинтересованный голос Сергея Леонидовича:

– Это какой еще Гургенов? Любин-Любченко, что ли?

– Не твое дело!

– Как это не мое! Как раз мое.

– Я сейчас передумаю! – пообещал я.

Ситуацию смягчила Анка.

– А знаешь, – вздохнув, сказала она, – я тут все время тебя вспоминаю...

– Как?

– Неужели забыл – как...

– Нет, не забыл...

На глазах у меня навернулись теплые слезы.

– Пузик, а с кем ты так рано разговариваешь? – голосом сонной Софи Лорен спросила Ужасная Дама и, нежно вминая в матрац, погладила меня по голове.

– Сам с собой. Спи!

– Кто это там у тебя? – ревниво поинтересовалась Анка.

– Радио... Записывай! С абзаца: «По справедливому замечанию Готфрида Бенну, написание поэтической строки – это перенесение вещей в мир непостижимого. Но если от неведомого образа мы продвинемся дальше, в область невидимого, то несомненно должны вспомнить знаменитую „черную соль“ алхимиков! Хотя, по мнению Юнга...» Написала? Хорошо, буду диктовать медленнее...

Когда я закончил диктовку, рыжее утреннее солнце уже просунуло свои щекочущие тараканьи усики в мое окно.

– Спасибо! – сказала Анка. – Ты – друг. Я тебя целую. Пока!

Это был ее последний поцелуй. Даже не воздушный – телефонный... (Запомнить навсегда!)

31. Эпилог на небесах

31. Эпилог на небесах 1

Я тоскливо глянул в иллюминатор: мы неслись сквозь рваный молочный туман. Самолетное крыло, точно гусиной кожей, было покрыто бесчисленными стальными заклепками и такими же бесчисленными крупными каплями воды, отличавшимися от заклепок только чуть заметным дрожанием. Внизу, под накренившимся и трепещущим крылом, виднелась бурая, с желтыми отмелями лужа Химкинского водохранилища: там, как спички, плавали лодки. Дело шло к развязке: самолет круто заходил на посадку. Я ощутил над собой душное парфюмерное облако и поднял глаза.

– Вам передавали привет! – сказала стюардесса, одаривая меня своей вставной улыбкой.

– Кто?

– Ваш друг, рыжий такой... Он к вам уже подходил! Да вон же он!

Я оглянулся: из-за портьеры, отделяющей бизнес-класс от экономического, выглядывал Акашин. Глумливо улыбаясь, Витек показывал мне два больших пальца, поднятых вверх. Вдруг улыбка исчезла с его лица, уступив место выражению изощренной жестокости, переходящей в садизм. И он медленно повернул оттопыренные большие пальцы вниз – так римляне приказывали гладиатору добить жертву. Затем, хохотнув, Акашин театрально исчез за портьерой.

Мое сердце сжалось до размеров куриного.

– Шутник, – улыбнулась стюардесса. – А он и в самом деле писатель?

– Кто вам об этом сказал?

– Он сам. А в библиотеке его книги есть?

– Скорее нет, чем да...

– А вы тоже писатель?

– Почему вы так решили?

– Говорите вы с ним как-то одинаково.

– Нет, я уже не писатель...

– Значит, вы друзья?

- Сиамские...
- Как это?
- Скоро узнаете... Он пил?
- Да. Четыре раза заказывал. Даже жена стала ругаться...
- Какая жена?
- Он с женой летит. А вы не знали? Очень интересная дама...
- Но ведь они разошлись! – невольно вскричал я.
- Сегодня разошлись, завтра сошлись... Я сама с мужем два раза разводилась. Сейчас опять вместе живем, нерасписанные...
- Возможно, и так, – кивнул я. – Мы идем на посадку?
- Да. Пристегнитесь! А он мне даст автограф?
- Не знаю, наверное, если писать не научился... Мы с ним давно не виделись...
- А вы тоже шутник!

Я и в самом деле не видел Витька с того самого момента, как простился с ним в Шереметьево-2. Все дело в том, что еще до его возвращения из Нью-Йорка мне пришлось бежать из Москвы, ибо мою судьбу неодолимой поступью тираннозавра перешла Ужасная Дама. Каждый вечер с сумкой, набитой продуктами, она вторгалась в мою квартиру, ставила кастрюли и сковородки сразу на четыре конфорки, а потом, на сытый желудок, начинались ночные кошмары. Я предпринял робкую попытку расстаться, но она предупредила, что будет бороться за нашу любовь: убьет сначала меня, а потом и себя. Сперва я хотел согласиться даже на это, но изменил решение, вообразив, что могут подумать милиция и понятые, когда обнаружат мой вполне достойный мужской труп рядом с ее обескураживающим телом. Но надо было что-то делать: одна бутылка «амораловки» уже кончилась, и в скором времени мне предстояло просто испепелиться в kloкочущем кратере ее термоядерной женской нежности.

Спасение пришло, как это часто случается, неожиданно: за готовым переводом поэмы «Весенние ручьи созидания» ко мне заехал Эчигельдыев, его как раз вызывали в Москву на всесоюзное совещание заведующих отделами агитации и пропаганды райкомов партии, чтобы разъяснить, зачем это вдруг в центральной печати появилось сразу несколько открытых писательских писем и что такое «плюрализм». Он приехал ко мне прямо с совещания, прочитал перевод, похвалил, а потом сказал, что в связи с грядущими

внезапными революционными переменами, о чем их строго предупредили на совещании, поэму нужно полностью переписать. Что он и сделал еще до конца совещания:

Весело бегут ручьи перестройки по дружным просторам великой страны. Спешат и впадают они в реки обновления, которые соответственно несут свои воды в океан Общечеловеческих Ценностей...

Я начал было отказываться, но он вдруг пригласил меня в Семиюртинск – погостить и поработать. Я согласился при одном условии: выезд сегодня же.

Затем я дозвонился Жгутовичу и объяснил, что уезжаю на месячишко-другой, а в целях укрепления его семейного счастья оставляю ему ключи от квартиры, которую он, регулярно оплачивая коммунальные услуги, может использовать по прямому назначению. Однако, к моему несказанному удивлению, Стас отказался, сообщив, что у него теперь совсем нет времени, он готовится к таинству посвящения, а сверх того, мастер стула дал ему одно очень ответственное вступительное поручение!

– Значит, ты их нашел? – воскликнул я. – Ну и скрытная же ты свинья!

– Кого нашел? – спросил он омерзительно таинственным голосом.

– Не придуривайся! Тех, про кого в энциклопедии написано! – иносказательно молвил я, ибо моя Ужасная Дама взяла моду, пользуясь служебным положением, подключаться к телефонным разговорам и прослушивать их на предмет обнаружения соперниц.

– В какой энциклопедии? – девственно изумился Жгутович.

– Может, ты и про Витька Акашина ничего не знаешь?

– Акашин? Акаша... Это, кажется, что-то эзотерическое?

– Здорово! И спора, конечно, никакого у нас с тобой не было? – ехидно поинтересовался я.

– Странности ты все какие-то сегодня говоришь...

– Ладно, свинья партизанская, желаю, чтоб у твоего мастера всегда был хороший стул! – рявкнул я и швырнул трубку.

Морда масонская! Делай после этого людям добро...

Ключи я оставил соседям, пообещав регулярно переводить деньги, и предупредил, чтобы они никому не говорили, куда я уехал. Забегая вперед, скажу, что соседи время от времени сообщали мне в

Семиюртинск про какую-то неопишемую женщину, которая каждый вечер после работы приходит с полными сумками, сидит на ступеньках перед моей дверью и рыдает так, что в доме осыпается штукатурка. Боже, почему у постоянства такое неженское лицо?

В Семиюртинске я поселился в садовом домике. По утрам в мое окно заглядывал цветущий урюк, я садился в служебную машину и ехал на работу – Эчигельдыев оформил меня руководителем кружка бальных танцев в районный Дворец культуры, но занимался я исключительно литературной деятельностью, а танцы возглавлял спившийся солист балета, оформленный истопником. Со временем мы с классиком кумырской словесности вышли на совершенно новые формы творческого содружества: он между заседаниями рассказывал мне про то, о чем хотел бы написать стихи, а я сразу делал высокохудожественный перевод, минуя стадии оригинала и подстрочника. Эчигельдыев был моей работой доволен и, чтобы я не отвлекался попусту, прикрепил ко мне одну из своих исполнительных секретарш по имени Эчигедель. Будучи девушкой местной, она все делала исключительно на корточках, но особенно ей удавались душистые пресные лепешки.

Сначала московские новости мне рассказывал по телефону Сергей Леонидович – он разыскал меня по просьбе Журавленко. Но потом связь оборвалась. О происходивших в столице событиях я узнавал в основном из газет и по телевизору. Однажды по радио «Свобода», которое в Семиюртинске ловилось даже лучше, чем в Москве, я выяснил, что Бейкеровский комитет все-таки издал роман «В чашу» с предисловием Автандила Гургенова и книга имела просто немислимый успех. По результатам всеамериканского анкетирования, девяносто восемь процентов школьников и восемьдесят четыре процента студентов на вопрос, какую книгу они прочитали в текущем году, назвали роман о перестройке Виктора Акашина «В чашу». Внезапно к роману пришел и грандиозный коммерческий успех: знаменитая рок-певица Авемария в нашумевшем телевизионном интервью, которое она давала, лежа в постели и не прекращая заниматься любовью с ударником своего ансамбля, сообщила, что записывает новые кулинарные рецепты на чистых страницах нашумевшего акашинского романа. Американцы – сущие дети рекламы, и на следующий день тысячи домохозяек стали вести

летопись своей кухонной деятельности исключительно в роскошно изданных томиках романа-лауреата. «Бейкеровцам» пришлось срочно выбрасывать на рынок дополнительный тираж с красочными надпечатками на суперобложках: «Для мясных рецептов», «Для рыбных рецептов», «Для вегетарианских рецептов»... Витек мог бы стать миллионером, но в те времена все гонорары, причитающиеся советским авторам, издающимся за рубежом, прикарманивало Агентство по охране авторских прав, выдавая самим писателям только на карманные расходы. Говорят, прибыль от романа была столь велика, что на эти средства Советское правительство построило академику Фиордову знаменитый Научный центр протезирования вестибулярных аппаратов, впоследствии приватизированный трудовым коллективом, состоявшим из самого академика, его шести заместителей – докторов наук и его любовницы-аспирантки.

Еще дошли слухи, что из Нью-Йорка Акашин воротился один-одинешенек: Анка его бросила, заключила контракт с «Плейбоем» на цикл фотографий и осталась в Америке. Я сначала не поверил, но потом Эчигельдыев привез из Москвы свежий номер «Плейбоя», купленный в спецкиоске в ЦК партии, где теперь, оказывается, продавалось и такое: из Москвы буквально сквозило новизной. На обложке красовалась яркая фотография обнаженной Анки, полузавернувшейся в красный флаг. В руках у нее был автомат Калашникова, а на запястье – до боли знакомые «командирские» часы. И броская надпись: «Miss Perestroika». О снимках, помещенных внутри журнала, мне просто больно вспоминать...

Кстати, Эчигельдыев вернулся из Москвы радостно-озабоченный, сообщил, что готовятся просто революционные подвижки и, значит, поэма требует коренной переработки. Я засопровтивлялся, сослался на тоску по дому, но он поцокал языком, хитро улыбнулся и прикрепил ко мне еще одну секретаршу, помоложе... Вскоре его назначили первым секретарем Кумырского райкома партии, времени у него совсем не стало, и творческие инструкции я теперь получал от его младших братьев – второго и третьего секретарей райкома.

Между тем из Москвы продолжали приходить разнообразные вести. Соседи сообщали, что странная женщина продолжает являться каждый вечер, и на той ступеньке, где она сидит, обливаясь слезами, вытесалось уже приличное углубление. Удивительные события

произошли с Чурменяевым – об этом писали все газеты. Дважды не получив премию Бейкера, он пошел на крайность: ночью, вооружившись заступом, автор романа «Женщина в кресле» отправился на перепискинское кладбище, чтобы выкопать из могилы останки своего рубаки-деда и торжественно сжечь их в дачном мангале, таким вот диким образом демонстрируя всему цивилизованному миру и Бейкеровскому комитету окончательный разрыв с тоталитарным прошлым своего рода! Его поймали уже волокущим кости на дачу, смирили и отправили в психиатрическую больницу.

Еще более невероятная история приключилась с Медноструевым и Ирискиным. Воспользовавшись гласностью, они наконец-то смогли опубликовать каждый свой труд: первый – «Тьму», второй – «Темноту». И тут разразился жуткий скандал. Дело в том, что в последний момент Ирискин вставил в книгу список русских писателей еврейского происхождения. Причем фамилии талантливых литераторов, внесших наибольший вклад в российскую словесность, он обозначил жирным шрифтом, менее талантливых – полужирным, а тех, кто так себе, – обыкновенным. Медноструев, у которого, если помните, тоже в книге был список, тут же подал на него в суд за плагиат, ибо, как это ни странно, оба списка до смешного совпадали не только пофамильно, но и даже в шрифтовом отношении. Был громкий процесс, освещавшийся всеми средствами массовой информации, плагиат у Ирискина был доказан, и на этом основании суд дал Медноструеву три года принудработ за разжигание межнациональной розни.

Однако этим дело не кончилось: непредвиденные неприятности начались у Ирискина. Писатели, набранные жирным шрифтом, правда, отнеслись к его выходке вполне терпеливо. Но полужирные перестали с ним здороваться, те же, которые так себе, несколько раз неблагодарно били несчастного Ивана Давидовича по цэдээловским закуткам. А Перельгин, чью фамилию он включил в список ошибочно, да еще к тому же набрал обыкновенным шрифтом, просто разломал о его многострадальную голову свою виолончель. Оскорбленный Ирискин заявил, что в этой стране жить больше не может, и эмигрировал на историческую родину, в Израиль, где поначалу у него складывалось все очень неплохо: ему дали хорошую пенсию, квартиру. Но вот

однажды, листая в тель-авивской публичке свежий «Огонек», он наткнулся на статью «Тайна гибели командарма Тятина», где доказывалось, что секретного агента НКВД, внедренного в охрану командарма, звали не Давыд и тем более не Давид, а Давит и что, по некоторым сведениям, происходил он из семьи бедного-пребедного мусульманина. Как только советская власть пришла на берег его родного арыка, пытливый и статный юноша создал одну из первых комсомольских ячеек и возглавил движение срывателей паранджи. После того как хваткий черноволосый красавец Давит неудачно сорвал паранджу с молоденькой жены одного бая и чудом ушел от погони, его, заботясь о кадрах, забрали в «центр» и по комсомольской путевке направили на работу в органы. Там он успешно трудился, пока не принял участие в роковой операции, закончившейся падением с моста автомобиля, в котором сидели командарм Тятин и нарком Первомайский, возвращавшиеся с секретного совещания на даче маршала Тухачевского. Ситуация тем более туманная, что в секретном архиве НКВД обнаружено два письма. В первом нарком Первомайский обвинял командарма Тятина в тайных связях с Японией. Во втором командарм Тятин обвинял в том же самого наркома Первомайского. И в обоих письмах Давит изобличался как турецкий шпион. Если к этому добавить, что нарком и командарм были женаты на сестрах Труа и являлись свояками, а обе сестры оказались любовницами последовательно Ягоды, Ежова и Берии, а также состояли в интимной связи с Давитом, то голова окончательно пойдет кругом...

Пошла кругом голова и у Ирискина: статья его попросту перепахала! Внезапно он выступил с гневными разоблачениями антиарабской политики Тель-Авива, сочинил монографию «Халдейская правда», где подло доказывал, будто арабы имеют гораздо больше исторических прав на Святую землю, нежели сами евреи, и в конце концов даже записался в подпольную фундаменталистскую организацию, подговаривавшую неуравновешенных палестинских мальчишек швырять камни в израильских солдат. Организацию разоблачили, и Ирискин получил приличный срок. Это обстоятельство внезапно примирило двух старых антиподов. Ирискин и Медноструев стали дружить тюрьмами, обмениваться длинными письмами и в конце концов сошлись на евразийской идее...

Проскочила и небольшая информация о Костожогове: Горбачев хотел призвать его под знамена нового мышления и даже послал в Цаплино представительную делегацию во главе с Журавленко, но строптивый учитель спустил на них собаку. С тех пор Костожогова оставили в покое.

Отчудил и Одуев. В разгар гласности он шумно раскололся, издав знаменитую книгу «Вербное воскресенье» – ее тоже привез из Москвы Эчигельдыев. Одуев писал, как его вербовали, как он закладывал своих друзей, а те тоже, в свою очередь будучи сексотами, закладывали его, как все они делали вид, будто ничего этого не знают, и, сойдясь на маленьких московских кухнях, от души ругали проклятых коммунист, а потом, разъехавшись по домам, строчили друг на друга доносы – каждый своему куратору, лично он – улыбчивому майору КГБ, постоянно стрелявшему у своих осведомителей деньги до зарплаты. Вскоре Одуев стал сопредседателем Всероссийского фонда интеллектуальных жертв тоталитаризма.

Но совершенно уже невообразимо попал в историю Жгутович. Об этом с удивлением рассказывал даже привыкший к восходящим потокам судьбы Эчигельдыев. После подавления знаменитого путча в августе девяносто первого года к магазину «Книжная находка» подъехала черная «Волга» со шторками. Стаса вызвали из-за прилавка, и на свое рабочее место он больше не вернулся, ибо буквально на следующий день возглавил Министерство книжной торговли. Однажды он во главе представительной делегации прилетел в Семиюртинск на торжественную презентацию первого кумырско-английского словаря, в составлении которого я тоже принимал посильное участие, и тепло кивнул мне из президиума. На банкете же охрана меня к нему даже не подпустила, а потом его куда-то увезли срывать паранджу.

В Семиюртинске я провел несколько лет, готовя шестнадцатитомное собрание сочинений Эчигельдыева. После того как был завершен десятый том, классик, ставший между делом уже единственным кандидатом в президенты Кумырской Республики, подарил мне третью секретаршу. К тому времени у меня было уже четверо детей и свой большой дом прямо на берегу арыка имени Тамерлана, но жить становилось все труднее. Национальное самосознание местного населения окрепло настолько, что на базаре

меня стали называть русской свиньей и не давали сдачи... А еще под Семиюртинском просверлили первую нефтяную скважину (кто же знал, что она окажется последней), и кумырский министр иностранных дел, средний сын Эчигельдыева от старшей жены, позволил себе мерзкую расистскую выходку в отношении министра иностранных дел России. Запахло вооруженным конфликтом. Мои секретарши, которых родственники обещали побить камнями за то, что они живут с гяуром, убежали от меня, забрав детей. Творческие указания от патрона тоже перестали поступать. Более того, на митинге в центре Семиюртинска он поклялся народу, что до тех пор, пока Ельцин не пришлет ему голову российского министра иностранных дел в шелковом мешке, ни одна его стихотворная строка не будет переведена на русский язык. Я понял, что нужно сматываться. К счастью, от соседей поступили обнадеживающие сведения: Ужасная Дама впервые за несколько лет не появилась с сумками перед дверью моей квартиры, и они беспокоятся, не случилось ли с ней что-нибудь недоброе. И тогда я решил вернуться в Москву.

Опять-таки забегаю вперед, сообщу, что сегодня Эчигельдыев – президент, премьер-министр, министр культуры, генеральный прокурор, председатель парламента и Верховный главнокомандующий вооруженными силами суверенной Кумырской Республики. Однако среди государственных забот и бесконечных встреч на высшем уровне с президентами США, Франции, Великобритании и т. д. он не забрасывает поэзию и даже написал поэму «Весенние ручьи суверенитета», где гневно бичует жестокость и подлость русских людей, которые, прожив бок о бок с кумырами триста лет, только в середине двадцатого века под давлением мирового сообщества были вынуждены наконец-то придумать для них письменность... Со временем отношения Москвы и Семиюртинска наладились, был подписан договор о дружбе и ненападении. Перед самым моим вылетом на Сицилию Эчигельдыев, будучи в Москве и хлопоча о поставках в Кумырскую Республику истребителей МиГ-29, заезжал ко мне и просил по старой дружбе перевести поэму за хорошее вознаграждение. Но я, несмотря на то что был, как вы помните, в трудном материальном положении, прочитав подстрочник, ответил: всего золотого запаса Кумырской Республики не хватит, чтобы

выплатить мне гонорар. Он обиделся, обозвал меня русским фашистом и уехал на своем черном бронированном «Линкольне»...

2

Дождливой ночью, нелегально перейдя кумырско-российскую границу с узелком и пишущей машинкой, я сел на поезд, шедший в Москву, и среди прочего газетного хлама купил у проводника популярный эротический еженедельник «Взасос», где обнаружил фотографию моей Ужасной Дамы и узнал, что она стала абсолютной победительницей международного конкурса «Дюймовочка»: потрясенное жюри под председательством известного поэта Неонилина присудило ей первое место, а менеджер знаменитого американского «Monster show» заключил с ней двухлетний контракт на мировое турне... «И эта тоже секс-звезда!» – удивился я.

Столица в самое сердце поразила меня обилием нищих и иномарок. В моей квартире лежал толстый слой пыли, напоминающей тополиный пух. Стоявшая в кухонном шкафу непочатая бутылка «амораловки», из тех двух, что мне прислал когда-то Арнольд, походила на древний сосуд из погребка. Я бросил свои скудные пожитки и первым делом заспешил в Дом литераторов, как блудный сынишка, припасть к милосердным коленам родной словесности... Однако в ресторане сидели какие-то мордатые ребята в красных кашемировых пиджаках и радужных спортивных костюмах. К литературе они имели такое же отношение, как саперная лопатка к демократии. На вокзале я поменял всю имевшуюся у меня кумырскую валюту – эчигелы – на рубли, денег хватило как раз на чашечку кофе с бутербродом. Наливая мне кофе, сильно постаревшая буфетчица долго вглядывалась в мое лицо, наконец вспомнила меня и заплакала: оказывается, она не видела живого писателя уже несколько месяцев...

Чтоб раздобыть хоть немного денег, я пошел в правление. В приемной ничего не изменилось. Строгая Мария Павловна поначалу тоже меня не узнала, потом, узнав, долго не хотела допускать к начальнику, ссылаясь на его крутой нрав и нелюбовь к посетителям, но в конце концов сжалась и по старой памяти пустила в кабинет, как только оттуда вышел поэт Шерстяной: на его лице была все та же гримаса человека, безвинно погибающего на колу.

В горынинском кабинете за знаменитым столом-«саркофагом» сидел обходчик Гера, одетый в умопомрачительно дорогой костюм. На

стене висела большая фотография: на башне танка стоит президент Ельцин, а чуть ниже, преданно поддерживая его за ноги, – сам Гера и идеолог Журавленко.

– Что вам угодно? – спросил он, глядя мне в лоб.

Я представился, что не возымело никакого действия, и вкратце обрисовал свою безрадостную финансовую ситуацию, тонко намекая на его собственный жизненный опыт, позволяющий понять, как глубоко страдает человек в минуты абсолютного безденежья. Гера посмотрел на меня с недоумением энтомолога, поймавшего восьминогого таракана. Потом молча достал из стола какие-то бумаги и стал неторопливо листать.

– В списках споспешествовавших одолению тоталитаризма на баррикадах Белого дома не значитесь! – наконец молвил он. – Вспомоществования оказать не можем.

– Как же не споспешествовал! – взмолился я. – А скандал в прямом эфире?

– Какой скандал?

– Ну как же? С него же все и началось! Вспомните: Виктор Акашин. Роман «В чашу»!

– Действительно, что-то такое было... – кивнул он. – Но ежели, милостивый государь, мы станем мирволить каждому, кто скандалил в прямом эфире, нам на два дня денег не хватит! Ничем не могу помочь, – сказав это, он икнул, дотянулся до холодильника и достал покрытую инеем банку пива «Туборг».

– А где Маяковский? – растерянно спросил я.

– Какой такой Маяковский?

– Там в холодильнике раньше голова была...

– Да, наличествовал... Теперь нет. На коктейли пустили...

В это время зазвонила «вертушка», у которой теперь на диске был не серпасто-снопастый герб, а двуглавый орел.

– Внимаю! – сказал Гера, сняв трубку. – Покорнейше благодарю... Сочувствую... Лучше из пушек... Конечно, поддержим! Всенепременно! Нет, треволения те же: шляется разная бездарь – христардничает...

Я выскочил из кабинета, как ошпаренный, и столкнулся с большой делегацией писателей во главе с Перелыгиным, державшим в руках страницу машинописного текста, как я потом понял, это было

знаменитое письмо «Раздавить гадину!», в котором литераторы, ссылаясь на вековые гуманистические традиции российской словесности, требовали от президента во имя укрепления демократии разбомбить к чертовой матери парламент, а самых строптивых парламентариев развешать на фонарях вдоль Москвы-реки...

– Ну что? – спросила Мария Павловна.

Я только пожал плечами. Она задумалась и посоветовала мне зайти к Гериному заместителю, занимающемуся распределением гуманитарной помощи. Я заглянул в соседний кабинет и обнаружил там Свиридонова-старшего. Он встретил меня с ледяным радушием опытного бюрократа, а потом долго и безрезультатно нажимал клавиши компьютера, затем для верности листал свои гроссбухи и наконец открыл толстенную учетную книгу с надписью «Писатели, пропавшие без вести». Там-то он все-таки обнаружил мою фамилию. «А мы вас чуть в покойники не записали!» – без тени улыбки пошутил он и протянул талончик с гербовой печатью.

Место распределения гуманитарной помощи располагалось в просторном подвале за железной дверью, на которой висела табличка на двух языках – английском и русском:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО ПРИЗРЕНИЯ
ПИСАТЕЛЕЙ INTERNATIONAL CENTER OF HUMANITARIAN
HELP FOR WRITERS

Раздавала гостинцы свиридоновская дочка, заметно повзрослевшая, но от подростковых прыщей так и не избавившаяся. За несколько лет моего отсутствия гуманитарной помощи набрался целый мешок: в основном это были просроченные консервы и галеты из запасов Пентагона с красочными наклейками «FOR HEROES OF STORM IN DESERT»[16] и хлопчатобумажная майка с эмблемой Армии спасения... Этим я и жил первое время.

Через несколько дней в поисках заработка я попытался выйти на тех, кто некогда заказывал мне пионерские приветствия, но в бывшем Дворце пионеров располагался валютный бар со стриптизом и рулеткой, а приветствие бойскаутов очередному съезду партии «Демократическая Россия» писали совсем другие люди – молодые и нахальные. Об истории фабрик и заводов даже говорить не приходилось: там рабочие месяцами не получали зарплату, а мой любимый шинный завод уже стал собственностью некоего Гогаладзе,

получившего это предприятие вместе с его славным прошлым в обмен на вагон мелких, как фасоль, грузинских мандаринов.

На всякий случай я позвонил Одуеву. Но он рассказал мне, что Настя сбежала от него к какому-то итальянскому коммивояжеру и ему самому, чтобы прокормить двоих ребятишек, приходится писать всякую гадость, поэтому поддержать меня материально он никак не сможет, а в данную минуту очень торопится: нужно забрать младшенького из яслей...

Тогда, одолев собственную гордость, я решил заявиться в министерство к Жгутовичу, в знак нашей старинной дружбы преподнести ему в дар некогда выигранную у него «Масонскую энциклопедию» и попросить займы. Но оказалось, он уже не министр, а посол на Мальте и в Москве его нет. Оставалось одно – продать энциклопедию за хорошие деньги, но неожиданно выяснилось, что с тех пор она несколько раз переиздавалась и теперь пылилась в каждом газетном киоске. И тут, подобрав брошенный в урну номер «Литежа», я узнал, что возглавляет его теперь мой старый бодливый друг Закусонский. Я сел в автобус и, по пути в редакцию листая еженедельник, наткнулся на стихотворение неувядаемой Ольги Эммануэлевны Кипятковой «Насельникам Белого дома»:

Предателям народовластья, Красно-коричневым скотам, Я гневно говорю: вылазьте Из дома Белого! А там...

Редакция «Литежа» располагалась все в том же здании на Сухаревке, но была теперь сильно потеснена какими-то конторами, офисами, тур-агентствами, а в конференц-зале обосновалась выставка-продажа сантехники. Как я понял, весь штат еженедельника теперь умещался в кабинете главного редактора, приемной и двух прилегающих к ним комнатках. Я даже заготовил забавную эпиграммушечку про пользу тесноты, но к Закусонскому меня не пустили, сказав, что идет редколлегия. Когда секретарша вносила в кабинет поднос, уставленный чашками и рюмками, я заглянул в приоткрывшуюся дверь и увидел в кабинете троих – самого Закусонского, растолстевшего до невероятных размеров, и Свиридоновых – маму и сыночка. Мне стало ясно, что ждать бессмысленно.

«Неужели, – думал я по дороге домой, – весь этот кошмар случился в Отечестве исключительно для того, чтобы процветали

обходчики, вроде Геры, закусонские и свиридоновы? Неужели все остальные – лишние на этом празднике передовой экономической мысли? Неужели литература так же нужна рынку, как оральные контрацептивы египетской мумии?! Не может быть! Есть ведь еще и Костожогов...»

Поразмышляв над сложившейся ситуацией, я решил возвратиться к моей первоначальной специальности учителя истории. Лучше, рассуждал я, умереть от инфаркта, лаясь у доски с дебильным учеником, чем летально обессилеть на хлебно-картофельном рационе. Я уже и школу присмотрел – через дорогу от моего дома. Директрисой там оказалась интересная крашеная блондинка с бюстом, напоминающим стенобитную машину. Но она мне прямо объяснила: жалованье теперь такое ничтожное, что молоденькие учительницы вынуждены прирабатывать по ночным барам и только неизбывная любовь к педагогике удерживает их в школе. Прибегают к первому уроку измызганные, невыспавшиеся – страшно смотреть! Обескураженный этими сведениями и понимая, что вряд ли смогу подработать в ночном баре, я на всякий случай оставил директрисе заявление о приеме на работу и продолжил поиски.

Я, кстати, совершенно забыл сказать, что воротился в Москву в сентябре девяносто третьего, накануне знаменитой танковой атаки на Белый дом. И хотя отовсюду доносились споры о «нулевом варианте», о том, кто гарант демократии – президент или парламент, о том, что лучше – ширяющийся чеченец во главе законодательной власти или пьющий секретарь обкома во главе исполнительной, меня все это мало трогало: я был озабочен тем, где достать деньги. Для начала я решил продать часть полученных в качестве гуманитарной помощи консервов и по совету соседей отправился в Лужники на стадион имени Ленина, превращенный в огромный продуктово-вещевой рынок. Там-то я совершенно неожиданно встретил Николая Николаевича Горынина. Он стоял, обвешанный гроздьями шерстяных перчаток, и кричал хорошо поставленным трибунным голосом: «Корейская ангорка! Все цвета и размеры!» Я пристроился со своими банками рядом, и мы разговорились.

Дела у него шли неплохо. Если конъюнктура не изменится, он планировал через полгода открыть собственную палатку и даже присмотрел местечко – около «Баррикадной», недалеко от Союза

писателей. А еще Горынин радостно сообщил, что, стоя тут на воздухе, уже полностью обдумал роман «Прогрессивка-2», где, согласно новым историческим обстоятельствам, возмущенные рабочие выбрасывают ретрограда-директора в окно и объявляют завод акционерным обществом. Последнюю сцену он рассказал мне особенно живо, видимо исходя из собственного печального опыта падения с руководящих высот в клумбу гладиолусов.

Я спросил об Анке. Он помрачнел и сознался, что и сам ничего толком о ней не знает: служит она в каком-то стриптиз-балете, деньги, правда, изредка присылает. Последний раз оказией из Эмиратов... Когда она осталась в Америке и заключила контракт с «Плейбоем», у Горынина были крупные неприятности, хотели даже снять с работы, но потом вдруг выяснилось, что журнал с полузавернутой в знамя Анкой попался на глаза Горбачеву и тот очень смеялся. Николая Николаевича не только оставили на посту, но и без всякой юбилейной причины дали ему вдруг орден Ленина.

– Кому сейчас нужны эти побрякушки? – вздохнул Николай Николаевич. – Вот если б я документы догадался припрятать – жил бы сейчас как кум королю! Простить себе не могу... Так мне, старому дураку, и надо – мордой в газон!

О Витьке ничего определенного он сказать тоже не мог. Вернувшись из Америки, Акашин сначала форсил, раздавал автографы, сорил деньгами и, разумеется, как положено триумфатору, каждый божий вечер надирался в ЦДЛ. Сначала пил на свои, поил всякую шуштуру, безобразничал, орал на весь ресторан: «Не варите, волки поганые, козленка в молоке такой-то матери!» Норовил отвалтузить любого, кто сомневался в гениальности романа «В чашу», а такие, учитывая профессиональную ехидность литераторов, попадались часто. Встречая Горынина, Витек обязательно хватал его за лацканы пиджака, называл «тестюшкой» и выпрашивал деньги на выпивку, так как свои очень быстро кончились.

– Тебя часто вспоминал! – многозначительно отметил Николай Николаевич. – Говорил, за все, что ты с ним сделал, он тебя удавит! Еще жаловался: вот, мол, был чальщиком – уважали! Усмирить его в моменты алкогольного правдоискательства, – продолжал свой рассказ Горынин, – могла только официантка Надюха («Ну, помнишь, такая упругая у нас в ресторане была?»). Она утаскивала его на мойку и там

охлаживала мокрой тряпкой по личине, приговаривая: «Посмотрела бы на тебя твоя жена!» («Это она Анку в виду имела».) Поначалу Витькины художества терпели: все-таки лауреат Бейкеровской премии. А потом, когда в Москве на каждом углу бейкеровских булочных понаоткрывали, писатели начали роптать и жаловаться на акашинские безобразия, к Горынину делегации с письмами косяками шли! А тут еще Акашин с обходчиком Герой стал конкурировать. («Видел, какой теперь пузырь? То-то!») Ну, Гера ему и подстроил. Как раз на побывку из Принстона приехал Любин-Любченко – он после своего знаменитого предисловия прославился, и его забрали жить и работать на Запад. Увидев Витька, он полез, как всегда, обниматься и облизываться. Ну, Витек со словами: «Ненавижу Фромма и Кафку!» – врезал ему. («По-нашему, по-рабоче-крестьянски!») А подлец Гера только этого и ждал: вызвал милицию и сдал Акашина на пятнадцать суток. С тех пор Витек и пропал... А следом исчезла и Надюха: ее уволили. Какой-то денежный мерзавец шлепнул ее по заду, вероятно переняв эту своеобразную жестикуляцию у кого-то из литераторов, но она была так возмущена этим чуждым прикосновением, что вылила ему на голову горячий бульон.

Больше об их судьбе Николай Николаевич ничего не знал.

– А Анка? – снова спросил я.

– А что Анка... – огорчился он. – Ноги перед бедуинами задирает. Пишет: устает... Промашка с дочкой вышла. Такая вот у нас со старухой пулеметчица получилась! Так без внуков и помру. Специально полдачи многодетной семье сдал. Хоть и чужие мальцы, а все-таки бегают, иной раз по ошибке «дедой» назовут...

Рынок стал закрываться, продавцы торопливо засовывали в свои сумки на колесиках нераспространенные товары. Милиционеры торопливо заталкивали в автобус пойманных карманников. Горынин купил у меня банку консервов – побаловать дачных кошек. Пожал мне руку и ушел. Это была единственная банка, которую удалось продать за целый день!

Безденежье приобрело характер хронической болезни, каковую постепенно начинаешь считать даже не болезнью, а просто деликатной особенностью своего организма. Я попытался мыть машины возле отделения «Мост-банка», но уже облюбовавшая это местечко учащаяся молодежь предупредительно меня поколотила. Охранять же

автомобильную стоянку меня не взяли: там из полковников ГРУ была очередь желающих. Наконец, когда я уже начал мечтать о каком-нибудь физическом дефекте, чтобы поучаствовать в конкурсе типа «Крошка Цахес», мне повезло: я устроился торговать в палатку. Несколько дней проработал нормально, даже научился обсчитывать пьяных и влюбленных покупателей. Но однажды к палатке подкатил новенький «Рено», откуда вылез роскошный мужик невнятной национальности и заявил:

– Слушай, парень, мы тут с Самедом в рулетку продулись. Он за деньгами прислал. Давай!

Самедом звали моего хозяина, и поэтому, не раздумывая, я выгреб из кассы все деньги и отдал. А к вечеру за выручкой приехал сам Самед, и выяснилось, что никого, конечно, он за деньгами не посылал, а был это уже надоевший всей торговой Москве кидала, специализирующийся на новеньких, неопытных продавцах. Выслушав меня, Самед задумчиво почмокал, достал из кармана радиотелефон и распорядился:

– Давай сюда – есть дело!

Через пять минут у палатки, визжа тормозами, остановилась «девятка», из которой выскочили трое здоровенных парней. Двое были в джинсах, черных кожаных куртках и белых кроссовках, а третий, видимо старший, – в кремовом, туго перетянута в талии плаще и больших, закрывающих пол-лица очках.

– Разбэритесь! Но нэ насмэртъ! – приказал Самед и уехал.

Мужик в кремовом плаще подошел ко мне страшным шагом и смертоносным движением Абадонны снял темные очки.

– Ты? – обалдел я.

– Я... – обалдел он.

Это был Сергей Леонидович. Мы обнялись. Потом прямо в палатке выпили сначала водки. Поговорили. Из органов, оказывается, его уволили еще в девяносто первом, когда вышла знаменитая книжка Одуева «Вербное воскресенье», где Сергей Леонидович был выведен под именем Леонида Сергеевича. Вообще сначала посадить хотели, но спас Тер-Иванов: все-таки не забыл, кому обязан своим сегодняшним положением! Оставшись без работы, Серый тоже долго мыкался, бедовал, пока не устроился начальником службы безопасности к Самеду. Теперь вроде ничего – дети растут. С женой все в порядке.

Заезжал, между прочим, как-то из Италии художник («Ну, помнишь?»), очень благодарил за помощь в трудную минуту, написал даже в знак признательности их семейный портрет – сметаной, перемешанной с мелко порубленными пионерскими галстуками. Большая, между прочим, ценность!

– Ты, Серега, не продавай! – посоветовал я.

– Скажешь тоже! Что ж я, с культурой, что ли, не работал? Понимаю! Даже кошку пришлось теще отдать. Ну а ты? – спросил он.

Я тоже рассказал свою историю.

– Эк тебя крутануло! – посочувствовал он.

И, роняя невольные мужские слезы в «Наполеон», изготовленный на Краковском химзаводе, мы стали вспоминать золотое время. Посмеялись. Особенно над тем, как они тогда в Нью-Йорке ошалели, выяснив, что никакого романа нет и не будет.

– Ну и голова у тебя была – целый бляхопрядильный комбинат! – восхищался Серый. – Ты бы у нас в органах до генерала дослужился!

– Ага, и стерег бы «Мерседесы» возле Краснопресненских бань!

– У бань не надо! У бань стреляют... Куда катимся? Куда?!

Запивая неприятные впечатления от коньяка пивом, Сергей пообещал мне дело с пропажей выручки замять, ведь обычно за такие промашки продавцов бьют, пока растрату не покроют, – один тут даже почку продал, чтоб отвязались... Рассудил: мол, все равно отобьют! Но уговорить Самеда не выгнать меня с работы Сергей Леонидович даже и обещать не стал. Сознался, что не в его компетенции. Уже настойчиво влекомый помощниками в машину, он одолжил мне тысяч двадцать – в переводе на старые деньги примерно четвертной... И тут я вспомнил то, о чем хотел спросить Леонидыча:

– Послушай, ты помнишь Костожогова?

Его лицо профессионально затрезвело:

– Был такой...

– Адрес помнишь?

– Адреса, явки, пароли... Конечно, помню. У него еще собака серди-итая была.

3

Автобус от станции трясся по колдобистой дороге минут тридцать до села Цаплино. Нужная мне остановка так и называется «Школа», но школы не было, был дом, одноэтажный, деревянный, очень старый, и

располагалась там теперь не школа, а какой-то оптовый склад, из которого два подвыпивших мужика вытаскивали и кидали в крытую машину коробки со «сникерсами», сигаретами «Bond» и ароматизированными презервативами «Sweet love».

– А где школа? – спросил я.

– А нету теперь школы... Закрыли теперь, знамо дело, школу, – ответил тот, что потрезвей.

– На хрен! – уточнил второй, тот, что попьаней.

– Почему закрыли? – поинтересовался я.

– А ребятишек нет. Не настрогали. Штук семь осталось. На станцию, знамо дело, в школу их теперь возят.

– А вяз? – спросил я. – Тут дерево большое было. К нему французы лошадей привязывали...

– Так то французы... Спилили вяз твой!

– На хрен! – уточнил тот, что попьаней.

– Вишь, машине к складу подъезжать мешал. Бензопилой – фыр-р-к – и нету!

– А учитель? Учитель тут был – Костожогов?

– Застрелился твой учитель!

– Как застрелился?

– На хрен...

– Ладно, помолчи, – цыкнул на своего напарника тот, что потрезвей. – Из «тулки» застрелился. Знамо дело, в сердце приставил, ботинок снял и ногой курок нажал...

– А отчего застрелился?

– А отчего стреляются? От души... Хороший человек был. Детишек, знамо дело, доучил, на каникулы отправил, чтоб не беспокоить, потом уж и стрельнулся. А в письме так и написал: в моей смерти прошу никого не винить, знамо дело, подмастерье ушел к своему мастеру... Мне участковый письмо показывал, он от него полколяски разных бумаг увез. Грамотный был учитель!

– Я слесарь четвертого разряда, понял?! – вдруг сообщил тот, что попьаней.

– А давно это случилось? – спросил я.

– Да уж два года, как похоронили.

– А где похоронили?

– А где хоронят-то? На кладбище, знамо дело...

На заросшем холмике не было никакого памятника, а лишь воткнутая в землю фанерная дощечка с размытой чернильной надписью, да еще уцелели измочаленные ветром и обесцвеченные непогодой остатки бумажного венка. И только вплетенные в венок аляповатые пластмассовые розы полностью сохранили свой синий цвет – яркий-преяркий. Я дал мужикам на водку и вернулся в Москву.

На следующий день, безработно сидя дома и тупо созерцая бесконечную телерекламу женских гигиенических прокладок, я вдруг наткнулся на передачу «Бизнесмены круглого стола», которую вела знаменитая Стелла Шлапоберская, родоначальница гласности на телевидении. А среди сидящих за круглым столом богачей (мир тесен, как туалетная комната в блочном доме) я неожиданно увидел одного моего давнего приятеля, точнее, мужа моей еще более давней приятельницы. Она нежно уважала меня за то, что после окончания нашего бурного романа я, в отличие от моих многочисленных предшественников, не стал делать вид, будто однажды мы вместе с ней стояли в магазинной очереди, а выдал ее замуж за хорошего парня, своего знакомца, сочинявшего сказки, – тогда все что-нибудь сочиняли. Между делом, за пивом в Доме литераторов, я пожаловался ему, что впервые встретил женщину, от которой не смог добиться взаимности без соответствующей отметки в паспорте. Пораженный таким реликтовым целомудрием, он немедленно на ней женился. Но что самое интересное, этот лох вытянул счастливый билет: она оказалась верной, заботливой и трудолюбивой женой. И когда я, оказавшись во временном сексуальном промежутке после очередной подлой Анкиной измены, заявился к ней домой в отсутствие мужа, чтобы, так сказать, возобновить знакомство, она, оторвавшись от стирки, отхлестала меня по лицу мокрым полотенцем. Мы расхохотались и стали друзьями. А начинающий сказочник, вишь ты, стал миллионщиком! Решение, как пишут в детективных романах, созрело мгновенно. Я нашел номер ее телефона, позвонил – и внезапно был приглашен на юбилей их свадьбы, который они отмечали через два дня в «Праге».

Это было 4 октября 1993 года, я очень хорошо запомнил этот день, потому что именно тогда сочинил первую эпиграммушечку и таким образом снова обрел свое место в полноценной жизни. Я шел с купленным на последние деньги букетом по взбудораженной Москве, мне не было дела до солдат в касках и с автоматами, до растерянных

милиционеров и плохо одетых людей, волокущих куда-то потрепанные красные флаги. Букет вышел отличный: я по дешевке набрал целую охапку белоснежных гвоздик с поломанными ножками, а завернули мне их так, что этот извинительный в моем положении дефект почти не был замечен.

За огромным столом, ломившимся от улыбчивых жареных поросят и утопающих в черной икре долготелых осетров, было много известных бизнесменов и популярных политиков. Я узнал знаменитого правозащитника Тер-Иванова и даже постарался поймать его взгляд, но он сделал вид, что мы с ним незнакомы. А может, и в самом деле забыл о моем существовании. Сначала говорили витиеватые тосты, а потом кто-то остроумный предложил не тратить время на разговоры, а поднимать бокалы после каждого залпа: с Краснопресненской набережной доносилась глухая канонада – танки как раз начали обстреливать Белый дом... Идея понравилась. И когда между залпами образовывалась слишком пространный пауза, гости сердились, нервничали и роптали на нерасторопность танкистов... Наконец канонада вовсе прекратилась. Как потом выяснилось, именно в это время депутатов с поднятыми руками выводили из парламента и пинками заталкивали в автобусы. А рядовых оборонцев утаскивали на Краснопресненский стадион – истязать и приканчивать...

Возникла какая-то неюбилейная пауза. Кто-то пьяным голосом заорал: «Горько!», призывая десятилетнюю пару слиться в супружеском лобзании. Но предложение не прошло, видно, за десять лет брачные ласки юбилярам приелись, как икра одному из гостей, специально для себя заказавшему у официантов порцию гречневой каши с котлетами – главную пищу его прежнего инженерного существования... Тогда, воспользовавшись заминкой, я встал и попросил внимания, решив прочитать первую эпиграммушечку, сочиненную прямо тут же и записанную на салфетке. Показывая рукой на счастливую пару, я громко и с чувством продекламировал:

Семейного союза узы Прочней Советского Союза!

Застолье взорвалось аплодисментами, счастливый муж все-таки сорвал поцелуй у своей уворачивающейся жены, а из-за стола резко вскочил Недвижимец и крикнул:

– Еще!

Приободренный, я стал вспоминать разные эпиграммы и прочие рифмованные глупости, которыми балуются любые литераторы в своем незамысловатом быту, и только отдельные проходимцы выдают их за шедевры контекстуальной поэзии. Весь остаток юбилейного вечера я выступал «на бис». Женщинам особенно понравилось мое «Предостережение старому холостяку»:

Но час придет – кондрашка хватит, Посмотрит: кудри в седине.
Решит: теперь жены мне хватит... А хватит ли теперь жене?

При этом жены толкали своих обленившихся спутников жизни в бока и бросали на них взгляды, полные лукавой тоски по неостребованным супружеским объятиям. Мужчины же высоко оценили другое мое четверостишие, называвшееся «За что?»:

Женщины любят мужчин — Не за высокий чин И не за
банковский счет, А кое за что еще...

Теперь уже мужчины поглядывали на своих дам с тем чувством превосходства, которое неизменно заставляет женщину страдать от комплекса кастрации, открытого Фрейдом, и остро ощущать драму своей природной незавершенности. Но моим настоящим триумфом стало двустишие «К смерти» – о его существовании я вспомнил лишь после восьмой рюмки. Вероятно, это случилось потому, что ближе к десерту гостями овладело чувство экзистенциального тупика, испокон сопутствующее перееданию. Вот эта эпиграммушечка:

«Собирайся!» – прошамкает, скрипнув мощами. Улыбнусь и
спрошу ее тихо: «С вещами?»

Недвижимец даже заплакал, называя себя душегубом и подлым убийцей, обнял меня и заявил, что ничего более глубокого о жизни и смерти он слыхом не слыхивал. Честно говоря, я не придал этой похвале никакого значения: в нашем литературном мире принято спьяну давать самые неожиданные оценки товарищам по перу, а наутро даже не помнить об этом, но вдруг мне стали позванивать и приглашать на разные вечеринки – почитать эпиграммушечки. Конечно, я не отказывался, имея возможность наесться на несколько дней вперед и даже перехватить немного денег. Жизнь стала сносной, и я не пошел работать в школу, тем более что при непосредственном знакомстве директриса, несмотря на свою стенобитную грудь, напомнила мне разоренную неприятелем крепость. (Запомнить!)

Постепенно у меня сложился круг благодетелей. Я стал откладывать деньги на черный или, как любят выражаться англичане, на дождливый день. И тогда я, как вы уже поняли, совершил непростительную глупость: вложил все свои сбережения в акции АО ДДД по совету того хренова подражателя, с которым познакомился во время кризиса «Москва – Астрахань». Это знаменитое акционерное общество называлось ДДД потому, что его создателя, кандидата физико-математических наук, звали Дима, жену – Дина, а любимую собачку – Дуня. Поначалу акции стоили копейки, но к концу года были обещаны грандиозные дивиденды, и я клюнул... Увы, жизнь всегда ухудшается, как только начинаешь ее целенаправленно улучшать! Но справедливости ради нужно сказать: несколько месяцев я действительно чувствовал себя благополучным рантье. Но потом пришел этот самый дождливый, точнее, грозовой день. Началось с пустяка: на выходе из бани застрелили одного моего благодетеля – банкира. Потом взорвали вместе с роскошным «Ягуаром» другого – владельца сети закусовых, где из-под прилавка можно было купить хорошую маковую соломку. Наконец из гранатомета угодили в праздничный стол, за которым сидели сразу несколько моих клиентов. В довершение всего тяжело занемог Недвижимец... Мой телефон замолк. Снова замаячило безденежье, по-приятельски подмигнув мне своим оранжевым глазом. И я решил продать акции. Дело в том, что у меня еще со времен моего брака обозначилась дурацкая привычка прятать деньги и ценные бумаги в книги – а их у меня больше двух тысяч. Роясь на полках, я острее, чем обычно, ощутил скоротечность бытия: ведь большинство из этих книг я уже не прочитаю никогда, даже если брошу пить, встречаться с женщинами и сочинять, что, собственно, и нужно бросать в первую очередь, а буду только читать, читать, читать... Но даже в таком случае смерть настигнет меня лишь на подходе к первой тысяче! Перетряхивая восьмитомник Шекспира, я обнаружил, что Отелло не задушил Дездемону, как мне всегда казалось, а зарезал, точнее, недодушив, доколол кинжалом. Это меня внезапно очень растревожило, и я вспомнил, как хотел убить Анку... Акции обнаружились в «Масонской энциклопедии». Жизнь полна глумливыми символами и подлыми совпадениями!

Предвкушая плотный ужин, я отправился к ближайшему пункту покупки и продажи акций АО ДДД и обнаружил там гигантскую

толпу, скандирующую: «Свободу Диме!» Над толпой реяли портреты самого Димы, его жены Дины и их любимой собаки Дуни, вызывающе беспородной и оттого особенно любимой простыми акционерами. Поговорив с людьми, я выяснил некоторые обстоятельства, возникшие в период моих суицидальных исканий и потому мне неизвестные. Тем более что мой телевизор тихо угас два месяца назад, а денег на ремонт не было. Газет же я не покупал, экономя на пельмень насыщенный.

Случилось же вот что. Наш президент, как общеизвестно, человек употребляющий – за что, собственно, его и выбрали. А выпив, он может снять последнюю рубашку, как с себя, так и с рядового российского налогоплательщика. Президент как раз вернулся в Москву из Пакистана, где он здорово загулял на самом высшем уровне и даже, как рассказывали западные средства информации, во время циркового представления выскочил на арену и стал отбирать у обалдевшего факира дрессированного питона. Так вот, воротившись, он давал пресс-конференцию в таком усталом состоянии, что не мог говорить, а только вяло кивал. Этим-то и воспользовались недоброжелатели АО ДДД, подкупив одного журналиста, до этого слывшего неподкупным, ибо заламывал он уж очень высокие цены. Этот журналист спросил у уставшего президента, правда ли, что Дима, возглавляющий знаменитое ДДД, – жулик и негодяй. Президент, разумеется, кивнул. Наутро все газеты вышли с шапками «ДДД – деньги для дураков!», «Афера века», «Подлый бизнес» и т. д. По телевидению выступил видный финансовый эксперт, сказавший, что крах ДДД неизбежен и если он еще вчера говорил совершенно противоположное, то это только потому, что сегодня он говорил правду.

Началась паника. ОМОН оцепил пункты продажи акций и никого туда не пускал, чтобы сами омовцы успели обменять собственные ценные бумаги. Сдав свои, они за хорошую плату стали пускать внутрь других запаниковавших акционеров, которые выходили оттуда с набитыми рублями сумками – огромными, в таких хоккеисты носят спортивную амуницию. Через два дня деньги у Димы кончились, и он не нашел ничего лучшего, как призвать народ к восстанию против кивающего президента, за что был арестован и препровожден в Матросскую тишину, где, наверное, ему и в самом деле было спокойнее. Его жена Дина успела вылететь в Америку и затворилась в своем небольшом замке на окраине Санта-Барбары. А оставшаяся в

опустевшей московской квартире беспородная Дуня ничем не могла помочь потрясенным акционерам. Они, осадив штаб-квартиру АО ДДД, вели списки, устраивали переключки и митинги, слали телеграммы кивающему президенту, патриарху всея Руси, генеральному секретарю ООН, ходили демонстрациями до Кремля и обратно, но даже такому акционерному младенцу, как я, стало понятно: денег не будет. Я подошел к группе акционеров, которые, дико прыгая вокруг огромного костра, ритуально жгли груды акций. Подумав, я швырнул в огонь и свои бумажки. Позже, читая в газете репортаж из зала суда, я узнал, что, помимо всего прочего, Дима, оказывается, еще внедрил в народ группу своих агентов влияния, спровоцировавших массовое сжигание акций...

Но это было потом. А тогда, голодный и обескураженный, я возвратился домой, с интересом поглядывая на многочисленных нищих в переходах и понимая, что такая же судьба ждет меня в ближайшем будущем. У подъезда моего дома я с таким отчаянием посмотрел на знакомую старушку-пенсионерку, кормившую голубей, что она отломила и протянула мне кусочек горбушки, сообщив при этом, что ко мне заходила какая-то женщина и ждала меня, сидя на ступеньках у двери. «Она что-нибудь сказала?» – мертвея, спросил я. «Сказала, еще придет!» – был ответ.

«Если это Ужасная Дама, – думал я, стоя в лифте, – нужно бежать как можно дальше, хоть назад в Семиюртинск, а денег нет, даже чтобы доехать до Мытищ!» В дверях я услышал телефонный звонок, но долго не решался снять трубку, потому что некогда именно с телефонных звонков и начался весь кошмар! Наконец я отозвался. Это был всего-навсего выздоровевший Недвижимец. Он звал на Сицилию. Замирая от счастья, я выдержал приличествующую паузу и тут же согласился. Впрочем, кажется, я повторяюсь...

32

Самолет ткнулся колесами в посадочную полосу, промчался, трясясь на бетонных стыках, остановился, а потом, как огромная акула, ведомая рыбкой-лоцманом, пополз за автомобилем с надписью «Следуйте за мной». Я дотерпел, пока откроют бортовой люк, подхватил чемоданчик и рванул на волю сразу же за деловито покидавшим самолет командиром экипажа. Протестующую стюардессу я просто оттолкнул в сторону, и она плюхнулась в свободное кресло, беззащитно обнажив полные ноги в узорных, как змеиная шкурка, колготках. Как я прошел паспортный контроль и таможенный досмотр – не помню. Умолял пропустить меня без очереди и ссылаясь на утюг, который якобы забыл выключить, улетаю за границу. Когда я выбежал в зал прилета, на меня набросилась с предложениями услуг целая орава таксистов. Не торгуясь, я вскочил в первую же машину.

– Черти гонятся? – резко взяв с места, спросил шофер с академической, как у Курчатова, бородой.

– Скорее да, чем нет!

– Тогда закройте глаза – перехожу на сверхсветовую скорость!

Старенький «Москвич» задребезжал, а в щелях засвистел ветер. Километровые указатели на обочине слились в танец маленьких лебедей. (Запомнить!)

– Откуда? – спросил водитель, убавляя звук магнитофона, из которого неслось что-то печально-классическое.

– С Сицилии...

– Как же, знаю. Хороший островок. Я был там на международной конференции по сверхпроводимости. Лет семь назад... Спагетти с осьминогами под соусом из каракатицы ели?

– Ел...

– Жуткая дрянь!

– Вестимо.

– Платить будете лирами или рублями?

– Лирами.

– А где живете?

– Улица Командарма Тятина.

– А-а... Вторая Взыбленская теперь. Тогда – пятьдесят тысяч. И за скорость – двадцать процентов... – подумав, прибавил таксист.

– Не обижу! – пообещал я.

И вдруг сзади послышались бешеные сигналы. С нами поравнялась «Волга» цвета заветрившегося майонеза, а из окна чуть не по пояс высунулся Витек – он что-то орал, размахивая руками.

– За вами? – спросил водитель.

– За мной...

– Чего хотят?

– Ничего хорошего! Уйдем?

– Если уйдем, это будет «чудо Джинса»! Движок больше не тянет.

Останавливаюсь...

– Я заплачу в два раза больше!

– Да хоть в десять! Коллега одного такого повез. Догнали. Пассажир начал отстреливаться. Ему-то ничего, а коллеге ухо отстрелили... Очки носить теперь не может – тоже кандидат наук, между прочим!

– Умоляю! Отдам все!

– Всего не надо! Положите деньги в бардачок. Так. Хорошо. Сейчас я резко съеду на обочину. Выскакивайте и бегите через поле к лесу... У меня таким методом двое ушли, чтоб не платить. Приготовьтесь!

Я кубарем скатился в кювет, потерял чемоданчик, но, не обращая на это внимания, вскочил и дернул к видневшейся на горизонте березовой роще. За спиной раздался скрежет тормозов и крик Акашина:

– Стой, козел! Все равно не уйдешь!

Я бежал, рассекая грудью высокую зацепистую пшеницу, проваливаясь ногами в невидимые борозды, и с ужасом понимал, что далеко не уйду... Вдруг, споткнувшись, я кувырком полетел на землю. И подниматься уже не стал. Лежал, уткнувшись лицом в прощально пахнущую землю, и, закрыв голову руками, зажмурившись, ждал конца. Вскоре послышался жуткий треск сминаемых колосьев, потом приближающийся топот и наконец тяжелое, прерывистое дыхание нависло надо мной.

– Говорил тебе – не уйдешь! – констатировал Акашин, ткнув меня в бок ботинком. – Вставай!

– Не встану! Бей так!

– За что же мне тебя бить?

– Сам знаешь.

– Ага, значит, все-таки было!

Снова послышался шелест растревоженных хлебов – к Витьку подошел еще кто-то. «Может, таксист?» – с отчаянной надеждой подумал я и приоткрыл глаз: рядом с акашинскими башмачищами виднелись женские лаковые туфли, запорошенные седой пылью и еще какими-то мельчайшими семенами.

– Говори, гад, что было?! – страшным голосом приказал Витек.

– Да говорю же тебе – ничего не было! – возразила женщина.

Этот голос я хорошо знал.

– Врешь! – заревел Акашин.

– Лучше молчи, гулявый, – визгливо крикнула женщина, – а то я сейчас тебе все вспомню!

– Ладно, заткнись! – примирительно молвил Витек. – Пусть немного помандражирует, чтоб над живыми людьми больше опытов не ставил! Лысенко долбаный... Я из-за него чуть не спился!

– Да ну тебя! Если б не он – мы бы с тобой вообще не познакомились!

– Это верно! Ты посмотри: может, он от страха коньки откинул!

Ласковая женская рука нашла мое ухо и потянула вверх:

– Вставай, не бойся!

Я поднялся. Рядом с Витькой стояла улыбающаяся Надюха. Она чуть пополнела и была одета в самое дорогое платье, какое только можно купить в самом дешевом итальянском магазине. Мне показалось, что от нее веет все тем же неистребимым запахом пережаренных котлет, слегка облагороженным дуновением французского парфюма.

– Ты извини! – сказала она. – Я когда тебя в самолете увидела, то сдуру рассказала ему, как ты меня тогда с запиской хотел охмурить... Для смеху рассказала, а он вскобенился! Ревнивый как не знаю что...

– Так ничего же не было! – встрепенулся я.

– И я ему говорила: не было. А он завелся. Характер в свекровь – сволочужный! А вообще-то он по тебе скучал!

– Извини, – улыбнулся Акашин. – Погорячился... Я по тебе точно скучал!

– Врешь! – отозвался я, постепенно приходя в себя.

– Отнюдь! – возразил он.

– Обоюдно, – сознался я.

– Амбивалентно-о-о! – заржал Акашин и крепко обнял меня.

В Москву мы въехали на их машине, а по пути они, перебивая друг друга, рассказали о том, что с ними произошло за эти годы. Оказывается, когда Витек совсем уж бессмысленно запил и связался со своими мытищинскими пивными дружками, Надюха его пожалела, простила и приняла к себе: бабка-то ее к тому времени уже померла. Сначала просто так жили, по старой памяти, но когда наметился ребенок, потребовала: женись! Надюха списалась с Анкой через московскую редакцию «Плейбоя», разыскала ее где-то на гастролях в Аргентине, и та по факсу прислала согласие на развод, очень при этом удивившись самому факту своего замужества, о чем она давно уже и забыла.

– Адрес у тебя остался? – живо спросил я.

– Какой там адрес!.. «Хотэл» вроде «Бабилона»...

Потом случилось вот что: когда стали в квартире ремонт делать, нашли бабкин узелок, а там фотокарточки старинные и документы. Бабулька-то из купчих происходила, но даже перед смертью, когда просила внучку обязательно ее отпеть, не призналась в этом. Вот ведь поколение! А когда разглядывали пожелтевшие, наклеенные на тисненый картон снимки, нашли фотографию многолюдной купеческой семьи на фоне двухэтажного дома с геранями в окнах. Дом выглядел знакомо. Еще бы! Это был тот самый особнячок с почтой и сберегательной кассой, что находился в двух минутах ходьбы от писательского Клуба. И купчая на дом, приобретенный купцом Несмолкаевым в 1907 году у дворянской вдовы Бекатовой, тоже была в том бабкином узелке – целехонька. А тут как раз в газетах стали писать про то, что, мол, в семнадцатом у людей собственность несправедливо отбирали – произвол царил чудовищный и незаконный.

Энергичная Надюха отправилась в Моссовет, а там какой-то бородатый неряха в джинсах и свитере с заплатами на локтях над ней только посмеялся. Сказал, что надо было в семнадцатом с большевиками как следует бороться, в «ледяные походы» ходить, а не

на печках развратничать. Мол, раз профукали Ленина с его опломбированным вагоном, то нечего теперь и собственность назад требовать. Иначе тогда и Зимний дворец Романовым возвращать надо – у них тоже, между прочим, наследники имеются! Но Надюха не отступилась, пошла на прием к обходчику Гере, а от него к самому Журавленко. Он и помог...

Так Акашины внезапно стали домовладельцами. Для начала они сдали несколько комнат в правом крыле под пункт обмена валюты и туристическое бюро «Нильс», рассчитывая скопить денег, отремонтировать дом и открыть в нем что-нибудь изысканно общепитовское. Надюха хотела пиццерию с кондитерской «Сластена», а Витек – пивной бар с рулеткой «Счастливая фишка». В Италию же они летали, во-первых, повидаться со своими родственниками, размножившимися там от младшей бабушкиной сестры, еще до революции вышедшей замуж за графа Кьянтивелли, правнучатого племянника легендарного Гарибальди, а во-вторых, присмотреть мебель и оборудование для будущего семейного предприятия. Но так ничего и не выбрали, ибо консенсуса в их семье не было...

Собственно, весь остаток дороги они ругались, доказывая друг другу выгоды каждый своего плана. За спорами и доехали.

Дом, где раньше располагались почта и сберегательная касса, а второй этаж был жилым, стоял теперь пустым. Еще остались следы от прежних вывесок, из-под осыпавшейся штукатурки торчала дранка, и только правый угол здания, свежеставрированный, выкрашенный в заморскую лазурь, напоминал яркую шелковую заплату на ветхом рубище. Мы прошли по пустым помещениям. Наборный паркет выглядел так, будто на нем разворачивался бульдозер. Жильцы, съезжая, увезли с собой все, кроме ободранных стен и чугунных батарей.

– Внизу хотим сделать торговые площади, а наверху сами будем жить, – объяснил Витек.

– Налогами замучают, – покачал головой я.

– Так пиво ж. И рулетка...

– Тем более – игорный бизнес. Рэкет достанет!

– А сладости детишкам? – жалобно спрашивала Надюха.

– На сладостях разоритесь... У людей на хлеб нет, а дети, которые машины моют, водку пьют. Я знаю – сталкивался!..

– Что же делать? Придумай что-нибудь! – взмолилась Надюха. – Если даже из моего дурака писателя сделал, неужели ничего не придумаешь?

– Если придумаю – позвоню! – пообещал я.

И пошел домой. Москва, как это бывает, когда возвращаешься издалека, была похожа на жену после командировки – родную и чуть незнакомую... Дорогой, по своему обыкновению, я останавливался у всех книжных лотков и на одном вдруг увидел толстую книгу в мягкой обложке: «Н. Костожогов. Посмертная проза». Книга была издана фондом интеллектуальных жертв тоталитаризма на серой газетной бумаге малюсеньким тиражом. В предисловии, написанном Одуевым, говорилось, что сборник составлен на основе рукописей, обнаруженных в письменном столе Костожогова после его самоубийства. Я расплатился и сунул книгу в чемоданчик.

У подъезда моего дома пенсионерки, сидевшие на скамеечке и обстоятельно обсуждавшие упадок дворовых нравов, завидя меня, хором зашептали, что ко мне все время ходит какая-то женщина и в настоящий момент она сидит на ступеньках возле моей двери.

Приехали! Сначала я хотел удрать. Куда угодно: в суверенный Семиюртинск – переводить поэму Эчигельдыева «Весенние ручьи суверенитета» или назад на Сицилию – мыть тарелки вместе со знатоком Габриэля Д’Аннунцио. Но потом, поколебавшись, решил, что навсегда от моей Ужасной Дамы с голосом Софи Лорен не спрячешься, она ведь со своим «Monster show» и в Италии на меня может набрести, поэтому надо наконец объясниться, а там будь что будет! И я решительно вошел в подъезд, хранящий запахи седой кошачьей истории.

На лестничной площадке, прислонившись к перилам, стояла Анка. Она была одета в длинное черное платье с глухим воротом, а волосы были гладко зачесаны назад и собраны в сиротливый пучок. И ни следа косметики, что сообщало ее лицу нежно-беззащитное выражение.

– Здравствуй! – тихо сказала она, даже не вздрогнув от моего появления.

– Здравствуй! – ответил я, почувствовав в сердце теплое неудобство.

– Я вернулась...

- Вижу...
- Я устала.
- Надолго?
- Навсегда.

Мы вошли в квартиру, пахнущую хлебом, забытым перед отъездом на столе. Было полутемно, я включил свет, и первое, что бросилось мне в глаза, – пятно на обоях, по форме похожее на Апеннинский полуостров.

– Иди ко мне! – попросила она. – У меня есть для тебя подарок.

Я подошел:

– Какой?

Она достала из сумочки часы, все те же «командирские», некогда очень модные, а теперь выглядевшие трогательно устаревшими, новым был только блестящий металлический браслет. Она застегнула его на моем запястье, потом, порывшись в сумочке, извлекла оттуда крошечный ключик, вставила его в скважину на браслете и повернула.

– Это и есть твой подарок?

– Нет.

Она подошла к окну, распахнула форточку и выбросила ключик:

– Вот!

– Мне никто никогда в жизни не делал таких дорогих подарков! Даже не знаю, чем тебя отдарить!

– Чем может мужчина отдарить женщину? Только любовью. Отвернись, пожалуйста, я разденусь...

Я отвернулся, услышал нежное потрескивание снимаемого платья и пошел на кухню. Там я открыл шкафчик и достал запылившуюся бутылку «амораловки», которую так и не вскрывал. Ну в самом деле, чем такой идиотский мужчина, как я, может отдарить такую замечательную женщину, как она? «Амораловка» от многолетнего хранения загустела, стала похожа на сироп, но по вкусу напоминала водку, куда уронили кусочек селедки и васаи... Когда я вернулся, Анка уже успела застелить диван индийским бельем и лежала, до горла укрывшись одеялом. Глаза у нее были крепко зажмурены, как у отличницы, целующейся на перемене с хулиганом-старшеклассником... (Хорошее сравнение. Запомнить!)

А под утро мне приснился сон. Удивительный. Двухэтажный дом Акашиных – это уже не дом, а огромный светящийся огнями ресторан со странным названием «У застоя». Причем вывеска украшена электролампочками – так в пятидесятые годы оформляли транспаранты к Седьмому ноября. К ресторану подкатывают машины, в основном почему-то рыдванистые «Чайки» с розовыми шторками на окнах. У подъезда их встречают швейцары, одетые в военную форму с голубыми гэбэшными петлицами, а распоряжается всем Сергей Леонидович – у него генеральские погоны и звезда Героя Советского Союза – только очень большая, как маятник от напольных часов. Внутри ресторан оформлен темно-малиновыми бархатными портьерами, державно-золоченой лепниной, праздничными кумачовыми лозунгами. Играет, сияя медью, военный духовой оркестр. Тут же стоят, похожие на мойдодыров, пивные автоматы времен моей студенческой юности. На светящихся стеклышках надписи: «Ячменный колос. 165 граммов – 15 копеек». Одета в шерстяной, с люрексовой отделкой костюм Надюха, строгая, как смотрительница женской тюрьмы, проводит гостей в зал мимо киоска «Союзпечать», где Николай Николаевич, нацепив все свои правительственные награды и лауреатские значки, продает пожелтевшие газеты, бюстики вождей, ордена и значки со щемящей советской символикой. Слева – игорный зал, где крупье, точно массовики-затейники из профсоюзного дома отдыха, внимательно следят за тем, как гости режутся в огромные, величиной с кегли, шахматы, набрасывают обручи на штыри и бегают наперегонки в мешках... Руководит всем этим радостный Витек.

Зал ресторана полон, но официанты ходят неторопливо, изобретательно хамя посетителям. Столы сервированы общепитовскими щербатыми тарелками, алюминиевыми вилками, гранеными стаканами, на бутылках криво наклеены этикетки с изображением рогов. Это «амораловка». Официант, повторяя вслух, записывает заказ в блокнот: «Фирменное блюдо „Козленок в молоке“ – раз. Что еще? Думайте быстрее – я по десять раз на кухню бегать не буду!» Гости радостно хохочут от редкого удовольствия. В конце зала – небольшая клубная сцена с задником, изображающим стреляющую «Аврору». На сцене, по-оперному прижав руки к груди, читает стихи Ольга Эммануэлевна Кипяткова:

Мы делили с тобой наслаждения, Сообща упивались борьбой...

Потом оркестр разражается чем-то бравурно-советским, и на сцене появляется Анка. Она полузавернута в красное шелковое полотнище. Публика, затаив дыхание, следит за тем, как в танце сквозь трепещущий кумач мелькает, словно саламандра в огне, ее нагое, гибкое, бессовестное тело. Наконец резким движением она сбрасывает с себя красный шелк и швыряет полотнище в зал. Несколько мгновений Анка стоит совершенно обнаженная, холодная и недоступная, как мраморная весталка. Потом, опустив голову, медленно уходит за кулисы. Обезумевшие гости рвут красный флаг в клочки – на сувениры...

И тогда на сцену поднимаюсь я. Останавливаюсь, внимательно вглядываясь в зал. Там много знакомых лиц: многозначительный Гера, толстый Закусонский, облизывающийся Любин-Любченко, бдительная семья Свиридоновых в полном составе, Жгутович со своей чопорной, как все послыхи, женой, чинный Эчигельдыев, Чурменяев с безумным блеском в очах, пьяно обнявшиеся Медноструев и Ирискин, хмурый Тер-Иванов, знаменитая Шлапоберская, жизнерадостный Арнольд в шапке из рыси. Настя рассказывает что-то обо мне своему новому мужу – щуплому итальянчику. Одуева нет – видимо, сидит дома с детьми. Но Журавленко здесь, он сквозь бухгалтерские очки поощрительно смотрит на меня из правительственной ложи...

– Эпиграммушечку! – кричат они. – Даешь эпиграммушечку!!

Я успокаивающе киваю, набираю в легкие воздух и вдруг с ужасом чувствую, что не помню ни одной. Только что помнил и вдруг забыл. Напрочь! Я пытаюсь сочинить что-нибудь с ходу: раньше ведь получалось. Я даже сочиняю: «Унесенный свежим ветром, стал я ресторанным мэтром...» Конечно, не бог весть что, но для экспромта сгодится. Я воодушевляюсь, хочу прочесть вслух, но тут же забываю и эту эпиграммушечку. Не помню ничего... На лбу выступает холодный пот, я беспомощно озираюсь. Прикрываясь портьерным плюшем, из-за кулис выглядывает обнаженная Анка и, беззвучно шевеля губами, пытается мне что-то подсказать, но я ничего не могу разобрать. Витек, прибежавший из игорного зала, тоже начинает мне делать знаки – сначала показывает «рожки», а потом сокрушенно два больших пальца... Бесполезно: я ничего не понимаю и от бессилия начинаю плакать. Навзрыд. Я плачу, размазывая едкие, как купорос,

слезы по лицу... Я хочу уснуть, умереть, исчезнуть, чтобы не видеть своего позора...

Я просыпаюсь.

Подушка под моей щекой совершенно мокрая. Но жалкого слезливого беспамятства уже нет – есть веселое всесилие, которое не посещало меня с тех самых пор, как закончилась та, первая, вдохновенная бутылка «амораловки». Осторожно, чтоб не потревожить свернувшуюся калачиком Анку, я встаю с дивана и бегу на кухню... Дрожащими от нетерпения руками хватаю со стола бумагу – это страницы моей дурацкой повести о вампире-партократе. Ничего, можно писать на обратной стороне... Потом начинаю судорожно искать «Эрику», но тут соображаю, что она разбита. Ерунда! Ищу что-нибудь, чем можно записать. Роняю на пол том Костожогова, который хотел почитать перед сном. У меня появляется чувство, будто роман я уже когда-то написал, я потом сжег рукопись и сейчас мне просто нужно его вспомнить... Я вспомню! Сегодня надо только начать, а потом махнуть в Перепискино, к Горынину на дачу, и работать, работать, пока не кончится «амораловка». Думаю, ее хватит. Должно хватить.

– Ты что? – вскидывается спросонья Анка.

– Ничего. Все хорошо. Спи!

Нахожу обмусоленный огрызок карандаша. Бегу на кухню. Сажусь перед чистым листом бумаги, глубоко, по-йоговски вдыхаю и сразу же узнаю ее – первую фразу моего долгожданного «главненького». Да, главненького, главного... Женщина, которую любишь, и книга, которую пишешь, – что может быть главней? И я начинаю писать, нет, не писать, а какими-то только мне понятными каракулями прищипливать к бумаге выпорхнувшую из тьмы памяти на огонек лучезарного вдохновения живую, трепещущую, как пойманная бабочка, первую фразу романа:

Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, волокущий свое мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке... «Разнотравье» – плохо. В траве... Да, просто в траве!

КОНЕЦ Перепискино, 1994 г.

Найдена рукопись! (Послесловие издателя)

Найдена рукопись! (Послесловие издателя)

Эта рукопись попала ко мне совершенно случайно. Как-то раз, возвращаясь из Дома литераторов, я заинтересовался пепелищем, оставшимся от знаменитого ресторана «У застоя», где до пожара собирался весь столичный бомонд. Я и прежде с любопытством хаживал мимо этого шумного заведения. Поговаривали, будто за одну ночь там запросто можно прокутить или просадить в игорном зале целое состояние. Располагался ресторан в отлично отреставрированном двухэтажном особняке на Поварской улице. По фронтону дома тянулся кумачовый транспарант «Коммунизм – это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Возле ресторана неизменно теснилась вереница новеньких иномарок, у входа по обеим сторонам выстеленного на тротуар министерского ковра стояли гипсовые барабанчики и трубаچی, привезенные, должно быть, из какого-нибудь подмосковного пионерского лагеря. Вместо швейцаров при дверях обретались люди, одетые в парадную форму войск КГБ. С веселыми шутками они обыскивали улыбающихся гостей – ставили мужчин лицом к стене, а дамам заглядывали под норковые шубки. Это у них юмор такой...

Однажды я подобрал брошенный кем-то ресторанный проспектик, оформленный в виде ордера на обыск, и выяснил, что внутри у них тоже все, как в лучшие застойные времена: пиво «Ячменный колос» из старинного автомата, фирменное блюдо «Козленок в молоке» после 18.00 и водка «Амораловка» – не более двухсот граммов на человека. Игорный зал также предлагал давно забытые удовольствия: пневматический тир и бег в мешках. В концертной программе значились попури на темы советских композиторов и «Краснознаменный танец» (на фотографии была изображена обнаженная женщина, роняющая к ногам кумачовое полотнище с серпом и молотом). Кроме того, проспектик гарантировал «россыпи юмора, эпиграмм и стихотворных экспромтов в течение всего вечера». Образец прилагался:

Жизнь – это золотое Галерное весло. И только «У застоя» Легко и веселó!

Разумеется, зайти в ресторан я даже не помышлял – с моими-то заработками! И вдруг в телевизионных «Новостях» сообщили, что знаменитое заведение сгорело. Сперва случилась заурядная пистолетная стрельба, и ничто не предвещало трагедию, но потом подоспели с огнеметом друзья одной из конфликтующих сторон, а пожарные, как водится, замешкались. Были и человеческие жертвы...

Озирая обугленный хлам, я заметил полуобгоревший кейс, уже вскрытый, поэтому ничего ценного внутри не оказалось, а только – красная папка с развязанными тесемками. Видимо, кто-то успел заглянуть в нее, поворошил страницы и бросил. Титульного листа не было, но беглого взгляда хватило, чтобы понять: передо мной литературное произведение, скорее всего роман. Я принес рукопись домой и прочитал, прямо скажу, с интересом и сочувствием, хотя мой собственный путь в литературу был не таким пикантным и затейливым...

Конечно, первым делом надо было отыскать автора, и я дал объявление в газете: «Найдена рукопись!» Ждал, но тщетно. Тогда я решил вычислить создателя этого произведения самостоятельно. Наверняка нам доводилось встречаться – ведь роман посвящен нашей литературной среде и в нем действуют под своими настоящими именами многие видные писатели, даже ваш покорный слуга! Помните, там описывается пузатый комсорг, робко семенящий следом за секретарем парткома? Так вот, автор имеет в виду непосредственно меня, ибо в те времена комсомольскую писательскую организацию возглавлял именно я. Стыдно признаться, но это правда: от сидячего образа жизни и неразумного питания я тогда в самом деле обзавелся совершенно неприличным животом. Но теперь я занимаюсь спортом, умерен в еде и выгляжу нормально...

Однако сколько я ни ломал голову, соображая, кто бы мог быть автором романа, сколько ни советовался с коллегами – безрезультатно. По крайней мере, десяток, а то и два десятка известных мне литераторов могли написать это сочинение. Но никто не сознавался. А один коллега даже воскликнул: «Какой же дурак подпишется под этим пасквилем!» – «Ну почему же пасквилем? Это скорее эпиграмма», – возразил я.

В конце концов я решил опубликовать роман под своим именем, рассчитывая, что, обнаружив такое самоуправство, автор, если с ним все в порядке, возмутится и объявится. Но, не желая ссориться со всей литературной Москвой, я заменил подлинные фамилии на вымышленные. Еще, поскольку титульного листа в папке не было, я придумал название и определил жанр – «роман-эпиграмма». Вот, собственно, и все. Теперь остается только ждать результатов...

Как я варил «Козленка в молоке»

Как я варил «Козленка в молоке»

Когда моя книга «Козленок в молоке» увидела свет, я получил множество писем, в которых было немало разных вопросов. Но, по сути, всех читателей интересовало примерно одно и то же. А именно:

Как я решился сочинить «литературный роман»?

Что я имел в виду, давая роману такое странное название – «Козленок в молоке»?

Каких реальных литераторов я «спрятал» под фамилиями персонажей романа?

И правда ли, что я был избит в Доме литераторов группой взбешенных персонажей романа?

Поскольку на письма всех читателей я, к сожалению, ответить не в состоянии, мне и пришла в голову идея написать это пояснение к очередному переизданию романа, который, к моему немалому удивлению, стал бестселлером, хотя в нем никого не убивают, а эротические сцены хоть и имеются, но всего-навсего в количестве, необходимом для раскрытия внутреннего мира героев. Кстати, некоторые эротические сцены, изъятые в прежних изданиях, я, конечно, восстановил...

Прежде всего отвечу на последний вопрос. Нет, никакому насилию со стороны прототипов я не подвергался ни в стенах писательского клуба, ни в каком-либо ином месте. И объясняется это отнюдь не смягчением литературных нравов (они жестоки как никогда), а тем, что в творчестве я исповедую принцип «придуманной правды». Все мои герои вполне могли существовать, они даже порой напоминают существующих деятелей отечественной словесности, более того, история, с ними приключившаяся, вполне могла произойти, но на самом деле таких людей никогда не было и подобные события никогда не имели места в истории российской литературы.

Всеми силами я старался удержать будущих читателей романа от ложных идентификаций. Например, менестрель-шестидесятник Перельгин, исполняющий свои стихи под виолончель, в первоначальном варианте носил фамилию «Пыльношлемов», но

поскольку это сразу ассоциировалось у вдумчивого читателя со знаменитой песенкой Б. Окуджавы про «комиссаров в пыльных шлемах» (слова для которой, как оказалось, написал Евгений Евтушенко), я избежал недоразумения, отдав эту фамилию эпизодическому персонажу. И проблема ошибочного узнавания была исчерпана, ведь каждый знает, что сам Окуджава исполнял свои стихи под гитару, а не под виолончель, каковая хоть и стала мощным оружием демократии, но в руках совершенно иного мастера культуры.

Попадается в письмах и такой вопрос: имеют ли встречающиеся на страницах романа поэты-контекстуалисты отношение к реальным поэтам-концептуалистам? Но ведь достаточно сравнить приведенные мной в тексте образчики контекстуальной поэзии с образцами широко публикуемой ныне концептуальной поэзии, чтобы самим без труда на этот вопрос и ответить. Но раз уж зашла речь о стихах, могу сообщить, что первоначально все события романа должны были происходить в чисто поэтической среде, а называться он должен был так: «Мастер лирической концовки». Впрочем, когда десять лет назад этот сюжет пришел мне в голову, он тянул максимум на большой рассказ, работу над которым я все откладывал и откладывал.

Честно говоря, каждый писатель чем-то похож на огуречную лиану, покрытую множеством цветков, большинство из которых так никогда и не будут оплодотворены пчелиным трудолюбием литератора и не вырастут до размеров полноценного художественного зеленца. Возможно, именно такая участь ждала и сюжет про мастера лирической концовки, если б не одно обстоятельство. Много лет назад во время вечерних прогулок вдоль знаменитого Орехово-Борисовского оврага я рассказал этот сюжет своему другу Геннадию Игнатову. И всякий раз после этого, когда я начинал томиться в рассуждении, чего бы написать, он мне с пневматическим упорством указывал на этот полузабытый сюжет. «А что?!» – однажды подумал я, и через полтора года сюжет для большого рассказа превратился в роман, по нашим ленивым временам тоже довольно большой. Так что, пользуясь случаем, хочу поблагодарить своего давнего товарища за плодотворную настойчивость!

Но, по большому счету, писатель – всего лишь карандаш, которым эпоха выводит необходимые ей слова. Ты можешь ощущать себя охрентельным демиургом, замыкаться в замок из слоновой и даже

мамонтной кости, но именно эпоха «затачивает» тебя, условно говоря, с красного или синего конца и, помусолив, утыкает в чистый лист бумаги. Твоя задача – не сломаться под ее нажимом.

Позвольте, можете спросить вы, при чем же здесь описанная в романе нереальная ситуация, когда человек, не сочинивший ни единой строчки, человек, весь литературный багаж которого заключается в папке с чистыми листами бумаги, при помощи откровенно плутовских ухищрений становится всемирно известным писателем? А вы оглянитесь вокруг, отвечу я. Разве мало в советской и постсоветской литературе писателей, чьи имена известны всем, но чьи книги, или, как теперь принято выражаться, тексты, мы с вами никогда не читали, а если и пытались, то очень быстро упирались в дилемму: или это – галиматья, или мы с вами ни черта не смыслим в литературе.

Существует два основополагающих принципа взаимоотношений между (употребляя птичий язык современного литературоведения) отправителем коммуниката и реципиентом, то есть, попросту говоря, между автором и читателем. Первый принцип: «Читатель всегда прав». Доведенный до крайности, он оборачивается так называемым бульварным чтивом: «Тихо застонав, она ослабла в его крепких загорелых руках и через мгновение почувствовала внутри себя что-то большое и твердое...» Второй принцип: «Писатель всегда прав». Доведенный до крайности, он оборачивается этой самой папкой с чистой бумагой. Ибо писатель, которого невозможно прочесть, в сущности, мало чем отличается от писателя, которого нельзя прочесть вследствие «ненаписанности» текста. Мы живем в эпоху литературных репутаций, нахально пытающихся заместить собой собственно литературу.

Впрочем, эта постмодернистская реальность легко распространяется и на другие сферы нашей жизни. Мы слушаем певцов, лишенных голоса и даже слуха. Нашу жизнь определяют политики, за всю свою деятельность не принявшие ни одного верного решения. А консультируют их ученые, не замеченные ни в одном сколько-нибудь серьезном исследовании. Мы с вами страдаем от реформ, даже не понимая, в чем они заключаются, а не понимаем мы этого в основном благодаря подробным телевизионным политкомментариям.

Современное телевидение, как справедливо сказано, – это изобретение, позволяющее заходить к нам в спальню тем людям, которых мы не пустили б даже на порог своего дома. А как вам нравятся «властители дум», утонченная творческая интеллигенция, старательно выполняющая функции козла-провокатора, ведущего покорное стадо на заклятие?

И так ли уж в этой ситуации фантастична история выгнанного со стройки Витька Акашина, которого два приятеля во исполнение заключенного в нетрезвом виде пари «заделали» всемирно известным писателем? Кстати, в некоторых письмах меня упрекали в неоригинальности этого сюжета, ссылаясь, в частности, на известную повесть А. Аверченко. Но, конечно, правильнее всего сослаться на пресловутую интертекстуальность, которую задолго до постструктуралистов открыл русский народ, обмолвившись поговоркой: «Плоха песня, непохожая ни на какую другую песню!» Действительно, оригинальные сюжеты, как известно, можно по пальцам сосчитать, а избранная мной коллизия вообще бродит по мировой литературе давным-давно. Собственно, даже «Ревизор» о том же: «Есть другой “Юрий Милославский”. Так тот уж мой...» Но с гоголевских времен ситуация значительно переменилась как в жизни, так и в литературе. Что я имею в виду? А вот что. Представьте себе, будто «приехавшим по именному повелению чиновником из Петербурга», настоящим ревизором, оказывается все тот же Иван Александрович Хлестаков! Представили? Не правда ли, очень современно?

Мы преступили в нашей жизни какую-то крайне опасную границу. Собственно, отсюда и название романа. Запрещение варить козленка в молоке матери его – табу из древнего Моисеева кодекса. Существует множество исторических и этнографических объяснений этой заповеди, но всякая старая мудрость имеет особенность трактоваться расширительно. А что, разве, вступив в борьбу с природой, мы не варим козленка в молоке матери его? Что, разве швырнуть русский народ сначала в палочный социализм, а потом, когда он смягчил и приспособил этот уклад под себя, погнать его той же палкой в дикий капитализм не значит сварить козленка в молоке матери его? А деятель культуры, который, вместо того чтобы «милость к падшим приывать», призывает «раздавить гадину», имея в виду

обездоленную реформами часть населения, – разве он не варит козленка в молоке матери его?

Многие авторы писем замечают, что читать роман очень весело, но по окончании чтения становится очень грустно. Увы, это стойкая традиция российской сатиры, восходящая скорее не к «пародийному модусу повествования», а к невеселой отечественной реальности, в чем все мы, каждый по-своему, виноваты. Потому-то я и не стал совсем уж скрываться за столь модной сейчас «авторской маской», а вывел самого себя на страницах романа в качестве эпизодического лица, и без особого, как вы заметите, снисхождения. Что же касается главного организатора всей этой литературной аферы, от имени которого и ведется повествование, то мало-мальски внимательный читатель увидит, что нигде на всем пространстве романа он ни разу не назван ни по имени, ни по фамилии, полностью отсутствуют и описания его внешности. Полагаю, смысл этого незамысловатого авторского ухищрения понятен. Мы живем в эпоху, когда антигероем может стать каждый.

Вот и все, о чем я хотел уведомить читателей. Остальное, надеюсь, понятно из книги. Ведь, как заметил один из моих героев, критик-табулист Любин-Любченко: «Каков текст – таков контекст!»

Юрий Поляков, Переделкино-Перепискино, март 1997 года